

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

---

ВОПРОСЫ  
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

3

МАЙ — ИЮНЬ

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА — 1986

## СОДЕРЖАНИЕ

Будагов Р. А. (Москва). А. А. Потебня как языковед-мыслитель (К 150-летию со дня рождения) . . . . .	3
Смирницкая С. В. (Ленинград). Якоб Гримм и германское языкознание . . . . .	16

### ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Серебрянников Б. А. (Москва). Почему трудно верить сторонникам постратической гипотезы? . . . . .	36
Бернштейн С. Б. (Москва). Несколько слов о постратической гипотезе . . . . .	38
Андрющенко В. М. (Москва). Вычислительная лексикография, ее возможности и перспективы . . . . .	42
Мыркин В. Я. (Архангельск). В какой мере язык (языковая система) является отражением действительности . . . . .	54
Савченко А. Н. (Ростов-на-Дону). Лингвистика речи . . . . .	62
Миронов С. А. (Москва). Стилистическое расслоение в языке нидерландских писателей XVII в. . . . .	75

### МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Денисов П. Н. (Москва). О понятии синхронного среза и синхронного состояния языка в лексике и лексикографии . . . . .	80
Коготкова Т. С. (Москва). Современные областные словари в их ретроспекции и перспективе для лексикологических исследований . . . . .	96
Василевич А. П., Скокан Ю. Н. (Москва). К методике сопоставительного исследования (На примере лексики цветообозначений) . . . . .	103
Табаченко Л. В. (Ростов-на-Дону). Об одной из тенденций развития обстоятельственных конструкций в русском языке XI — XVII вв. . . . .	111
Кузьменков Е. А. (Ленинград). Лабиальная ассимиляция в среднемонгольском . . . . .	118

### НАПРАВЛЕНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Коновов А. Н. (Ленинград). Об академических грамматиках и словарях языков Зарубежного Востока . . . . .	124
---	-----

### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

#### Рецензии

Панько Т. И. (Львов). Проблемы лексикографического анализа языка произведений В. И. Ленина . . . . .	128
Мусаев К. М. (Москва). Русса-башкортса, башкортса-русса ижтимагиполитик терминдар һүзүге . . . . .	131
Маковский М. М. (Москва). Филичева Н. И. Диалектология современного немецкого языка. . . . .	135
Швейцер А. Д. (Москва). Куниш А. В. Англо-русский фразеологический словарь . . . . .	137
Журковский Б. В. (Москва). Lexikon der Afrikanistik. Afrikanische Sprachen und ihre Erforschung . . . . .	140
Макушева Ю. М. (Алма-Ата). Кубрякова Е. С., Панкрац Ю. Г. Морфология в описании языков . . . . .	142

### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки . . . . .	145
--------------------------------	-----

### РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В. Г. Гак, А. В. Цесницкая, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев,  
Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь), А. Н. Коновов,  
В. З. Панфилов (зам. главного редактора), Б. А. Серебрянников, Н. А. Слюсарева,  
В. М. Солнцев (зам. главного редактора), Г. В. Степанов (главный редактор),  
О. Н. Трубочев, Д. Н. Шмелев

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,  
редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 202-99-97

Зав. редакцией И. В. Соболева

БУДАГОВ Р. А.

А. А. ПОТЕБНЯ КАК ЯЗЫКОВЕД-МЫСЛИТЕЛЬ

(К 150-летию со дня рождения)\*

1

Название этой статьи я заимствую у Д. Н. Овсяннико-Куликовского, который через два года после смерти А. А. Потебни опубликовал о нем статью, имевшую такой же заголовок. Статья появилась в журнале «Киевская старина» [1], и, несмотря на большую более позднюю литературу о Потебне, эта статья до сих пор остается едва ли не лучшим исследованием творчества великого русского и украинского филолога. Уже в названии публикации Овсяннико-Куликовского («языковед-мыслитель») хорошо был определен пафос всего творчества Потебни. Он действительно был «языковедом-мыслителем»<sup>1</sup>.

Оценка наследия А. А. Потебни осложняется, однако, тем, что при наличии множества замечательных идей и глубоких суждений эти идеи и суждения иногда оказываются у него непоследовательно выраженными, противоречиво изложенными. В результате «своим» Потебню считали и представители из группы «Общества по изучению поэтического языка» в начале двадцатых годов нашего столетия, и представители социальной лингвистики тридцатых-сороковых годов, и Андрей Белый, видевший в Потебне предтечу русских символистов, и многие другие, имевшие весьма различные философские и филологические взгляды. К сожалению, в советском языкознании 60—80-х годов Потебню стали вспоминать все реже и реже: слишком плохо согласовывалась яркая, глубоко семантическая концепция языка у Потебни с формалистически истолкованной структурой языка. В наиболее популярном и подробном вузовском учебнике А. А. Реформатского «Введение в языковедение», учебнике, который выдержал много изданий, имя А. А. Потебни в рекомендуемой основной литературе не фигурирует.

Между тем творчеством Потебни интересовались многие выдающиеся писатели и филологи. В 1912 г. М. Горький писал В. И. Харциеву: «Примите искреннюю мою благодарность за драгоценную книгу Потебни (речь идет о книге Потебни „Мысль и язык“, присланной писателю. — Б. Р.). Вы и представить себе не можете, как я обрадован, как тронут Вашей любезностью! Я искал эту книгу четыре года...» [3]. «Потебня, — считал Ю. Н. Тынянов, — имя огромного значения как в области лингвистики, так и в области теории литературы» [4].

Об этом же писали и многие другие известные филологи. Ранее уже упомянутый Д. Н. Овсяннико-Куликовский вспоминал, как книги и лекции Потебни «открыли ему новый мир» [5], а В. И. Харциев, обобщая работы Потебни, называл их «историей русской мысли под освещением русского слова» [6, с. 18]. На это же обращал внимание А. Л. Погодин: стремясь резюмировать смысл исследований Потебни, он утверждал, что

\* Эта статья — глава из подготовленной к печати книги автора — «Портреты отечественных и зарубежных лингвистов».

<sup>1</sup> Показательно, что и другой ученик и последователь Потебни В. И. Харциев, излагая содержание посмертно опубликованного третьего тома основного исследования Потебни! (Из записок по русской грамматике), назвал свой обзор так: «Новый труд по истории языка и мысли А. А. Потебни» [2]. Весьма характерно и справедливо: «по истории языка и мысли».

они посвящены отношениям «между мыслью и словом» [7]. Высокую оценку разысканиям Потебни неоднократно давал и В. В. Виноградов [8]. В последующих строках я попытаюсь осветить вопрос о том, как Потебня исследовал взаимоотношения между языком и мышлением, между словом и понятием, или, как он сам любил говорить и писать, между языком и мыслью.

## 2.

Александр Афанасьевич Потебня (1835—1891) прожил 56 лет и был профессором Харьковского университета. Диапазон его интересов был весьма широким: помимо лингвистики, он занимался историей литературы, фольклором, поэтикой, этнографией, историей культуры в самом широком смысле. «Нельзя сказать, — писал Потебня, — какого рода знания *не нужны* при объяснении состава, действия и происхождения поэтического произведения... Художественное произведение, как и человек, есть микрокосм» [9, с. 110]. Так же широко понимал ученый и подготовку лингвистов. Сама постановка вопроса типична для Потебни: ненужных знаний *не может быть*. Ученый размышляет по способу «от противного»: не «все нужно» (слишком категорично и практически невыполнимо), а «все знания могут оказаться полезными» филологу, который не боится размышлять над сложными вопросами о природе языка и его развитии, о его функциях, национальных и интернациональных особенностях. Потебня был убежден, что история языка невозможна без истории литературы, точно так же, как и история литературы невозможна без учета состояния и особенностей языка [10, с. 169; в дальнейшем — «Мысль»]. Так выступает перед нами ученый-филолог.

А. А. Потебня успел написать много. Однако при его жизни была опубликована лишь небольшая часть его исследований. В 1862 г. двадцатисемилетний автор выступил с книгой «Мысль и язык», а в 1874 — с двумя первыми томами основного своего сочинения — «Из записок по русской грамматике». Третий том этого же исследования увидел свет лишь в 1899 году, а две части четвертого тома стали достоянием читателей только в советское время (1941 и 1977 гг.). Такова же была судьба и литературоведческих работ Потебни: они стали известными лишь после кончины их автора (см., в частности, «Из записок по теории словесности», «Эстетика и поэтика» [11]). Излагая лингвистическую концепцию автора, я буду опираться прежде всего на его основную капитальную четырехтомную монографию — «Из записок по русской грамматике»<sup>2</sup>.

Обычно считается, что свои теоретические взгляды А. А. Потебня изложил в книге «Мысль и язык», тогда как в книге «Из записок по русской грамматике» он лишь иллюстрировал эти взгляды на конкретном материале русского и других индоевропейских языков. Но это не так, или, во всяком случае, не совсем так. Читателей здесь вводят в заблуждение названия обеих книг: весьма общее название первой книги и предельно скромное наименование второй книги (всего лишь «Из записок», где уж там теория!). Между тем именно эти «записки» являются исследованием остро теоретическим, смелым и во многом новаторским. Сила Потебни обнаруживается в том, что теория языка здесь вырастает из самого анализа материала и на него опирается. У Потебни нет теории самой по себе и материала самого по себе, а есть е д и н с т в о теории и языкового материала, теории, как бы вырастающей из самого материала и им же обусловленной.

<sup>2</sup> В дальнейшем цифры в скобках — ссылки на «Из записок по русской грамматике», изд. 2 (первые два тома в одной книге — Харьков, 1888; третий том — 1899 г., указываются том и страница), четвертый том (в двух частях; М. — Л., 1941) — приводятся том, часть и страница. Имеются еще следующие издания: «Из записок по русской грамматике» (М., 1958) и первый выпуск четвертого тома: он появился только в наши дни (Потебня А. А. Из записок по русской грамматике, т. 4, вып. 1. М., 1985; второй выпуск четвертого тома вышел раньше первого — в 1977 г.). О литературоведческих работах Потебни см. статью А. П. Чудакова [12] и отличную книгу О. П. Преснякова [13]. Изучением наследия Потебни занимается Институт языковедения им. А. А. Потебни АН УССР в Киеве.

Все это весьма важно для лингвистики, особенно для лингвистики нашего времени, которая располагает немалым количеством либо «чистых теоретиков», либо «чистых практиков». От Потебни же русская, а затем и советская филология в лице лучших своих представителей восприняла эту тенденцию — тенденцию к единству теории и практики, практики и теории. Что же касается двух основных лингвистических книг Потебни, то надо помнить и о другом: «Мысль и язык», ранняя работа автора, еще не вполне самостоятельная, тогда как «Из записок» — глубоко продуманное исследование зрелого автора.

Хотя по своим философским убеждениям А. А. Потебня был идеалистом, но идеалистом-диалектиком, глубоко понимавшим диалектическую природу языка. Позволю себе провести здесь такое сравнение. Подобно тому, как классики марксизма относились к Гегелю, рассматривая его идеалистическую диалектику как один из теоретических источников диалектики материалистической, так и советские лингвисты нашего времени имеют все основания относиться к концепции Потебни как к одному из важных источников лингвистики, стремящейся стать наукой, основанной на принципах диалектического материализма.

Придется еще вернуться к этому, сейчас же отмечу еще одно общее положение: как и всякого другого большого ученого, Потебню надо рассматривать в контексте истории, в контексте его времени, его эпохи. Основные сочинения Потебни создавались в шестидесятые-восьмидесятые годы минувшего столетия, когда, во-первых, были еще живы прямолинейно-логические построения теории языка (отсюда полемика Потебни с Буслаевым), во-вторых, развивались различные пестрые виды психологических концепций языка (Штейнталь и его последователи), и, в-третьих, уже начали давать о себе знать формалистические построения некоторых ранних младограмматиков, объявивших формы языка его душой. Между тем формы языка, при всей их огромной роли в грамматике, только тогда, по убеждению Потебни, могут действительно стать душой языка, когда они рассматриваются во взаимодействии с их же значениями, а не интерпретируются вне подобного взаимодействия, как формы будто бы автономные. У противников Потебни намечалось опасное отождествление двух, совершенно различных философских понятий — понятия формального и понятия формалистического. Без первого наука о языке вообще существовать не может, что же касается второго понятия, то оно характеризует лишь теоретически определенное направление в лингвистике.

Заслуга Потебни в том, что он сумел не только критически отнестись к этому второму направлению, но и увидеть в грамматике прежде всего сложное, далеко не всегда прямое и не всегда очевидное, но всегда глубокое и несомненное взаимодействие форм (в самом широком смысле) и их значений. При этом подобное взаимодействие, как доказывал Потебня, оказывается исторически изменчивым, развивающимся, динамичным. Выдающийся филолог видел в истории сложения грамматики этапы развития человеческой мысли.

Этот же исторический принцип Потебня переносил и на лексику. «В истории языка, — отмечал он, — общего внимания заслуживает, конечно, исследование не звуковой<sup>у</sup> наружности слов, которое при всей своей важности имеет лишь служебное значение, а мысленного содержания слов, невозможного, не существующего без языка, создаваемого и воспроизводимого вместе с звуковой внешностью слов» («Из записок», т. 3, с. 1). Несмотря на архаичность выражений («наружность слов») этот тезис исследователя сохраняет всю свою силу и в наши дни. Потебня прекрасно понимал роль звуков и в истории языка, и в современном его состоянии, о чем свидетельствует также и его специальная монография на эту же тему [14]. Но в истории слов исследователь стремился обнаружить и проанализировать прежде всего их «мысленное содержание». Выражаясь языком нашего времени, Потебня хотел показать диалектику формы и значения не только в грамматике, но и в лексике — «мысленное содержание слова».

В этом же плане весьма показательна резкая полемика Потебни с ши-

роко известным его современником, английским социологом Гербертом Спенсером. Poleмика начинается с первых же страниц третьего тома «Из записок». Г. Спенсер считал, что историю языка нельзя соотносить с историей мышления, ибо подобное соотношение идет «навстречу двойному риску, двойному ряду вводящих в заблуждение причин»: в развитии идей свои трудности и особенности, в развитии слов — другие трудности. Потебня резко возражал Спенсеру. При этом смысл его возражений можно свести к положению: волков бояться — в лес не ходить (ср. «Из записок», т. 3, с. 2).

Эта полемика весьма актуальна и для нашего времени. Разумеется, в истории идей есть свои особенности, которые непосредственно не могут быть объяснены историей соответствующих слов, но есть и различные, многообразные формы взаимодействия между историей идей и историей слов, выражающих эти идеи. На подобное взаимодействие и обращает внимание Потебня в полемике со своими противниками. Нельзя не отметить важности изучения проблемы взаимодействия слов и понятий и для нашего времени. Сама ее сложность не может служить основанием ни для ее отмены, ни для пронических суждений о ее мнимой «старомодности»<sup>3</sup>.

### 3

Стремясь глубже осмыслить взаимодействие между языком и мышлением (у Потебни в подобных случаях обычно говорится о языке и мысли), ученый был склонен рассматривать подобное взаимодействие в субъективно-идеалистическом плане. Для Потебни язык — это прежде всего акт индивидуального творчества. «Язык есть средство понимать самого себя» («Мысль», с. 110). Коммуникативная функция языка неправомерно отодвигалась тем самым как бы на второй план. Следовало и другое: «Всякое понимание есть вместе непонимание, всякое согласие в мыслях вместе разногласие» («Мысль», с. 28). Подобная диалектика категорий толковалась в пользу их субъективных «начал». Желая показать силу всякого развитого языка, Потебня отмечал его неповторимость, подобно тому как в его же концепции оказывается неповторимым всякий «акт творчества».

Понимание потому и оказывается одновременно непониманием, что выступает как «акт творчества». Индивидуальный же «акт творчества» не может быть абсолютно одинаковым даже у двух людей. Если «язык есть средство понимать самого себя», то — логический вывод! — он не может быть настолько коммуникативным, чтобы понимание у разных людей было одинаковым. Так диалектика языка и мышления рассматривалась у Потебни не в объективном, а в субъективном плане. Вместе с тем это была диалектика, хотя и истолкованная идеалистически. Язык без выражения мысли (или чувства), как и слово без значения, оказывались у Потебни невозможными, никому не нужными.

Необходимо отметить, что тезис Потебни о «понимании—непонимании» не имеет ничего общего с тезисом многих современных лингвистов о «двузначности языка» — тезисом, который пропагандируется в наше время во многих книгах и статьях [16—19]. Его сторонники видят эту «двузначность» в сакой многоаспектности языка, в наличии синонимов и омонимов, в разнообразных стилистических ресурсах языка, позволяющих людям разными способами выражать свои мысли и чувства. Такие ученые объявляют естественные языки человечества несовершенными «орудиями», которые будто бы необходимо прежде всего упростить, сблизить с искусственными кодовыми построениями.

Разумеется, ничего подобного у Потебни не было. Богатство и разнообразие языковых ресурсов не только в лексике, но и в грамматике великий филолог всегда рассматривал со знаком плюс, как достижения человеческой цивилизации. Вместе с тем на язык, «на слово нельзя смотреть как на выражение готовой мысли» («Мысль», с. 142). Живые языки

<sup>3</sup> См. об этом, в частности, первую главу моей книги: «История слов в истории общества» [15].

всегда находятся в состоянии развития и движения. Они настолько активны, что и сами способствуют прогрессу человеческих знаний.

Но как же понимал Потебня процесс развития языка? Необходимо отметить, что по этому важнейшему вопросу ученый высказал и обосновал множество интересных и плодотворных мыслей, сохраняющих все свое значение. Эти мысли и суждения особенно актуальны в наши дни, когда многие лингвисты-позитивисты вообще отказываются от понятия *р а з в и т и я* применительно к языкам, предпочитая говорить лишь об изменениях, перестановках, передвижках и т. д., но не о развитии языка и о закономерностях подобного развития <sup>4</sup>.

А. А. Потебня критикует широко распространенное мнение (его разделяют многие лингвисты и в наше время), согласно которому, уж если и говорить о развитии языков, то следует свести его к движению от конкретных представлений к абстрактным. «Вообще...,— пишет по этому поводу Потебня,— во многих случаях от применения этих двух понятий конкретности и абстрактности нельзя ожидать большой пользы в истории языка. Нельзя охарактеризовать развитие языка его стремлением к отвлеченности, не прибавив, что вместе с тем развивается и его способность изображать конкретные явления» («Из записок», 2, с. 355). И это глубоко справедливо. Трудно себе представить, чтобы тот или иной язык, исторически совершенствуя свои ресурсы для обозначения и выражения абстрактных категорий с помощью грамматики и лексики, вместе с тем утрачивал бы способность обозначать и выражать самые конкретные понятия и самые конкретные категории. А многие историки «первобытного мышления» на протяжении долгого времени именно так ставили вопрос: от конкретного к абстрактному <sup>5</sup>.

Между тем, следует уметь обнаружить, какими ресурсами располагает один и тот же язык в одну и ту же эпоху для выражения и конкретного, и абстрактного. А на другом этапе развития языка такие ресурсы могут обогатиться, а иногда, наоборот, прийти в упадок, сделаться шаблонными. Здесь, как показал Потебня, имеются различия между новыми и старыми языками Европы и Азии.†

Один из самых элементарных примеров: не располагая абстрактной грамматической категорией числа, тот или иной язык в состоянии передать ее лексически, с помощью простого повторения определяющего слова — *много-много, большой-большой* и т. д. И хотя подобное сравнение опирается на качественно различные категории, оно представляет интерес и для истории языка.

Еще важнее другое: сами понятия конкретного и абстрактного — это исторические понятия. Если не выходить за пределы европейских языков, то можно сказать, например, что неизвестные нам авторы «Песни о Роланде» или «Песни о Сиде» понимали подобные категории во многом иначе, чем их понимают современные авторы. Создатель «Песни о Роланде» не мог, в частности, представить себе красивого, но одновременно несчастного человека, не мог соединить понятие труда и понятие радости, но сравнительно легко объединял труд и наказание. Все это не могло не отразиться на самих категориях абстрактного и конкретного, в частности, в том виде, в каком эти категории выражались в языке (труд вообще, радость вообще, человек вообще). И нельзя не сожалеть, что подобные вопросы и в наше время все еще недостаточно исследованы (ср. [25]) <sup>6</sup>.

<sup>4</sup> См. об этом мою книгу «Что такое развитие и совершенствование языка?» [19].

<sup>5</sup> Из новых работ см. об этом, в частности [20]. Сохраняют свои значения и старые капитальные исследования Л. Леви-Брюля [21] и, особенно, Ф. Боаса [22]. Не так давно советский историк Б. Ф. Поршнев справедливо заметил: «К сожалению, в последнее время наши ученые, пуще огня опасаясь влияния Леви-Брюля и Н. Я. Марра, не ставят вопроса о качественных модификациях второй сигнальной системы» (цитирую по книге [23]). В последние годы ряд статей об «архаическом мышлении» был опубликован в международном журнале «Semiotica» (The Hague—Paris—New York за 1980—1982 годы). См., в частности [24].

<sup>6</sup> В своем «Завещании» великий скульптор Огюст Роден писал: «Вы, скульпторы, развивайте в себе понимание глубины. Ведь наш разум лишь с трудом воспринимает ее. Он представляет себе явственно только поверхности. Вообразить себе формы в их объемности он не в состоянии. Но именно в этом и заключается ваша задача» [26].

А. А. Потебня был глубоко убежден, что развитие языка — это не его коловращение, не его механическое передвижение от одного состояния к другому с тем, чтобы затем вновь вернуться к старому состоянию, как утверждают и в наше время многие лингвисты-позитивисты. Для Потебни развитие языка — это постоянное, хотя нередко и противоречивое движение вперед, к дальнейшему совершенствованию ресурсов и возможностей каждого языка, прежде всего в его синтаксисе, лексике, фразеологии и стилистике. Потебня был ярким и последовательным сторонником принципа исторического совершенствования языка. Этим обусловлена и его резкая критика работ Шлейхера, согласно которым языки развивались лишь в доисторическое время, после чего они будто бы стали деградировать и разрушаться.

Потебня был убежден, что языки исторически совершенствуются во всех сферах их функционирования. «Прогресс в языке есть явление... несомненное» («Мысль», с. 8). Перефразируя одну из любимых мыслей Потебни, можно сказать, что пресловутая живописность древних языков — это детская игрушка грубого изделия сравнительно с неисчерпаемыми средствами поэтической живописи, какие предлагаются новыми языками поэту и прозаику. Та же картина и в синтаксисе.

Анализируя одно предложение из «Ригведы», которое в буквальном переводе на русский язык строится так — «раздавлены ногами слонами», Потебня проникновенно замечает, что подобное предложение отнюдь «...не бессмысленно: действительно „слонами“ (т. е. их) „ногами“. Только здесь отношение между 2-мя вещами никак не выражено, и они изображены... на одной плоскости, без перспективы. И насколько отсутствие перспективы в живописи древнее ее присутствия, настолько эти паратактические обороты по типу древнее таких, конечно, тоже восходящих в глубокую древность... как „ногами слонов“» («Из записок», 3, с. 209).

К этой мысли Потебня возвращался много раз: сравнение перспективы в синтаксисе с перспективой в живописи при всем различии подобных перспектив вместе с тем интересно и поучительно. Очень тонким оказывается замечание исследователя и о том, что древнее предложение отнюдь не бессмысленно. Речь идет здесь о другом: ресурсы древних языков были иными, чем ресурсы новых языков. При этом ресурсы новых языков оказываются, как правило, многообразнее и тем самым совершеннее сравнительно с ресурсами языков старых. Первые в состоянии точнее передавать синтаксические отношения между словами и мыслями (по Потебне именно так — «словами и мыслями»), чем это имели возможность совершать языки в их более архаическом состоянии.

Эта концепция Потебни уязвима лишь в одном отношении: автор не уточнял хронологических рамок «нового» сравнительно со «старым», новых языков сравнительно со старыми языками. В результате в обширном материале, проанализированном исследователем, оказались примеры из текстов весьма различных эпох. Синтаксическое противопоставление «нового» и «старого» предстает перед читателями в недостаточно расчлененном виде.

И все же сама попытка Потебни обосновать принцип совершенствования языков, прежде всего в сфере их синтаксических ресурсов, должна быть признана выдающейся и весьма актуальной для нашего времени, для исторического языкознания вообще. Дело в том, что даже те исследователи, которым дорога мысль об историческом совершенствовании языков, обычно усматривают подобное совершенствование главным образом в лексике (расширение и обогащение словарного состава языка). При всем значении лексики — это бесспорно! — Потебня ставил проблему шире и глубже; он стремился обосновать законное, отнюдь не случайное, развитие самой системы языка.

Широко распространено мнение, что «системный характер языка» был впервые обнаружен и обоснован Ф. де Соссюром в 1916 г. в его «Курсе общей лингвистики». Нисколько не умаляя заслуг Соссюра в этом отношении, вместе с тем хотелось бы не забывать здесь и А. А. Потебню, уже в семидесятых годах минувшего столетия, почти за пятьдесят лет до

появления «Курса» Соссюра, анализировавшего язык как систему, предназначенную не только для самовыражения, как ему казалось в молодые годы, но и для выражения мыслей и чувств всех людей, живущих в обществе.

Потебня обычно не употреблял слово *система* в его терминологическом значении, но вот его мысли по поводу «системного характера» языка: «Прежде созданное в языке двойко служит основанием новому: частью оно перестраивается заново... частью же изменяет свой вид и значение в целом единственно от присутствия нового» («Из записок», 2, с. 125). «Новое» не только и не столько прибавляется к языку (количественный подход), сколько присоединяясь, изменяет «старое» и в конце концов даже в состоянии «перестроить» это «старое» (учет качественных изменений в языке). К этой мысли Потебня возвращался неоднократно: «В живых языках разрушение старого есть вместе создание нового» (там же, с. 534). Зависимость одних категорий в грамматике от других ее же категорий прекрасно понимал Потебня. Он иллюстрировал подобную зависимость, в частности, с помощью анализа взаимодействия падежей и их значений в истории славянских имен существительных, особенно в истории различных значений творительного падежа (там же, с. 443—533).

Проблема не сводится к тому, какие лингвисты в прошлом употребляли слово *система* или слово *структура*, а какие их не употребляли. Проблема в другом: как лингвисты определенного теоретического направления понимали грамматику языка, его грамматические ресурсы. Лишь на этой основе можно заключить, какова была общая теоретическая концепция того или иного ученого, кредо того или иного научного направления. Как утверждают специалисты, слово *система* было «ключевым словом» (*mot-clé*) у французских грамматистов уже в XVIII столетии [27] <sup>7</sup>. Разумеется, однако, они понимали это слово совсем не так, как его истолковывал в нашем веке, например, тот же Соссюр. В свою очередь между Соссюром и Ельмслевом оказывается целая пропасть в интерпретации *системы* и т. д.

Потебня избегал деклараций на тему о «системном характере» языка, но выводил и обосновывал систему самым анализом конкретного грамматического материала русского и других индоевропейских языков.

#### 4.

Вернемся, однако, к грамматическим идеям и грамматическим анализам А. А. Потебни. Ученый был убежден, что историческая грамматика русского и других индоевропейских языков в значительной степени определяется общим «движением языков» от субстанции к глагольности, от номинативных к предикативным конструкциям. Принцип «роста глагольности» не был доказан исследователем и неоднократно критиковался многими грамматистами, в том числе А. А. Шахматовым и В. В. Виноградовым. Дело в том, что грамматика на любом этапе развития языка так или иначе опирается на понятие субстанции, как она же опирается на понятие глагольности и предикативности. Здесь развитие приводит не к вытеснению одной из этих категорий, а к изменению форм и средств выражения обеих категорий. Вместе с тем приемы и методы анализа грамматических категорий, предложенные Потебней, весьма интересны и весьма поучительны <sup>8</sup>.

Что наиболее характерно для них?

Вот Потебня анализирует грамматическую категорию, известную под названием бахуврихи (санскр. bahuvrīhi) — сложное слово со значением

<sup>7</sup> Как тут не вспомнить старую рекомендацию философа И. Фихте, относящуюся к 1794 году: «Ученый должен быть знаком в своей науке с тем, что уже было сделано до него» [28]

<sup>8</sup> О возникновении самого понятия субстанции см.: Кассирер Э. Познание и действительность. Понятие о субстанции и понятие о функции (СПб., 1912), где читаем: «Логическая идея субстанции стоит вообще во главе научного рассмотрения мира» (с. 199).

принадлежности, обладания, типа *круторогий*, т. е. имеющий крутые рога (ср. *синеглазый, широкоплечий* и т. д.). Исследователь стремится проникнуть в существо подобных образований, известных в разных индоевропейских языках (старых и новых), определить их отличие от «обычных» определений, выраженных, в частности, с помощью «обычных» прилагательных (*синие глаза, широкие плечи*). Потебня сравнивает *золоторог* и *суходол*. Первое допускает такое толкование: «тур с золотыми рогами», тогда как второе — *суходол* — подобного толкования не допускает (невозможно «бор с суходолом»). Второе означает: *бар*, который вместе с тем и *суходол*. Таковы же отношения в «дуб *стародуб*» (исключается «дуб *со стародубом*»), «утка *водоплавка*» (исключается конструкция «утка *с водоплавкой*»). Потебню не устраивает простая констатация различий. Он всегда стремится к интерпретации, к объяснению, к осмыслению.

В данном случае устанавливается, что бахуврихи не тождественно простому определению. Это особая разновидность определения. Бахуврихи обычно относятся лишь к части определяемого предмета или понятия: «золоторог» — это тур, у которого золотые рога (следовательно, часть тура), тогда как «утка водоплавка» — это сама утка, а не ее часть («Из записок», 3, с. 202). Так, в казалось бы сходных построениях Потебня устанавливает важные различия, формирующие «душу» грамматики не только в разных языках, но и на разных этапах развития одного и того же языка.

В другой связи следует общее важное заключение «Изучать язык — значит различать сходные явления, а не сваливать их в кучу» («Из записок», 4, с. 189). Позднее это важное для естественных языков человечества положение любил отмечать и А. М. Пешковский: «Все дело в этих „почти“ и „как бы“, на которых зиждется вся грамматика» (обратим внимания на в с я) [29].

Потебня проникновенно анализировал соотношение грамматики и лексики в грамматических категориях прежде всего русского языка. Сосредоточим внимание на разделе о творительном падеже, внутри которого исследователь выделял такие его разновидности, как творительный орудия, времени, места, образа действия, причины и некоторые другие («Из записок», 2, с. 443—533). Здесь возникал, однако, и нелегкий вопрос о том, до какого предела допустимо дробить, казалось бы, одну и ту же категорию (в данном случае — категорию творительного падежа) на ее «подкатегории» или разновидности. Не получится ли так, что бесконечное дробление приведет здесь к уничтожению грамматики с ее обобщающими возможностями, приведет к тому, что в каждом отдельном употреблении окажется особая категория? Но тогда чем же грамматика должна отличаться от лексики? Что и как должна обобщать грамматика уже на ранних этапах развития того или иного языка?

Потебня стремится ответить на эти вопросы в том же разделе о творительном падеже. Если сравнить такие два предложения, как, например, «Он известил меня *письмом*» и «*Доблестью* солдат отечество спасено», то нельзя не заметить, что один и тот же творительный падеж в двух предложениях выступает в двух из ряда возможных своих разновидностях: в орудийном (п о с р е д с т в о м, с помощью письма) и причинном (п о п р и ч и н е, вследствие доблести солдат). Так лексика взаимодействует с грамматикой или, точнее, — лексическая семантика взаимодействует с семантикой грамматической. Но проблема не решается всегда так просто. Когда, например, в «Слове о полку Игореве» сообщается, что Всеслав «скакнул *волком*», то определить разновидность подобного творительного падежа уже гораздо труднее: это может быть и творительный сравнения («скакнул *как* волк») и творительный превращения, если автор этого памятника двенадцатого века допускал возможность превращения человека в волка.

На примерах такого рода Потебня иллюстрировал возможность воздействия мировоззрения людей определенной эпохи на грамматику их языка: в одних случаях разграничение творительного сравнения и творительного превращения

тельного превращения оказывается как бы на поверхности языка, в других — подобное разграничение может быть осмыслено только исторически, с учетом референции, с учетом отношений людей к действительности. И недаром Потебня в полемике с Буслаевым защищал принцип взаимодействия языка и культуры: «...мы думаем, — писал он, — что нет противоположности в развитии культуры и языка» («Из записок», 1, с. 53).

Возвращаясь к проблеме дробления той или иной грамматической категории на ее «подкатегории» или разновидности, следует отметить, что Потебня отлично понимал пределы подобного дробления: они обусловлены не только характером данной категории и уровнем ее исторического развития, но и степенью ее же обобщающей силы — в одних случаях большей, в других — меньшей<sup>9</sup>. К сожалению, А. А. Потебня еще не проводил строгого разграничения между грамматическим и лексическим значениями. Между тем подобное разграничение имеет первостепенное значение для теории языка вообще, для понимания взаимодействия лексики и грамматики — в частности и в особенности.

Стремясь показать неповторимость каждого национального языка, Потебня резко критиковал логическое направление в изучении грамматики, которое, как ему казалось, совсем не считается с подобной неповторимостью. Проблема взаимодействия грамматики и логики относится, как известно, к вечным проблемам науки о языке. Она возникла и продолжает возникать на всех этапах развития лингвистики. Острые дебаты вокруг этой проблемы велись и в эпоху Потебни. В первых двух томах своих «Из записок» исследователь был склонен отрицать самый факт подобного взаимодействия на том основании, что «вообще ни один язык не может быть указанием, где другому языку нужно два приема мысли, а где один» («Из записок», 2, с. 141). Увлекаясь тонким анализом подобных различий между языками, Потебня как бы не замечал, что он сам начинает признавать наличие постоянного взаимодействия грамматики и логики: ведь само различие между языками во многом определяется, по его же словам, несходством «приемов мысли». А «приемы мысли» имеют, как известно, определенное логическое построение. И хотя взаимодействие языка и мышления шире взаимодействия языка и логики, постоянный интерес Потебни к первому из этих типов взаимодействия невольно предполагал и даже опирался и на второй тип взаимодействия.

Не случайно поэтому в последующих томах своих «Из записок» Потебня все больше и больше начинает учитывать оба эти типа взаимодействия.

Вот один из примеров. Автор анализирует предложение русской народной речи типа «А зовут его *Власком, Иванов сын*» («Из записок», 3, с. 262) и комментирует: «Первоначальное возникновение этого несогласования можно представить себе как сделку между двумя актами мысли: мыслью „заднюю“, предыдущую, с согласованием в именительн.: „Михайло Казарянин“, и мыслью последующую, которая преобразует определяемое, согласно с новыми своими требованиями, но не в силах подчинить тому же плану определительное: „зовут меня *Михайлою Казарянин*“... Для нас... возможно только: „зовут Михайло К-а-н“ или зовут Михайлою Козном» («Из записок», 3, с. 263). Здесь, как видим, тонкий грамматико-семантический анализ предложений несколько не мешает учету логического фона этих же предложений. Потебня был убежден, что согласование или несогласование внутри структуры предложения непосредственно обусловлено оттенками выражаемых человеком мыслей и чувств.

Справедливо отмечая национальное своеобразие каждого языка, Потебня, однако, несколько односторонне толковал подобное своеобразие. Тезис о неповторимости каждого языка приводил исследователя к ошибочному утверждению о невозможности перевода с одного языка на другой, к нежеланию видеть в языках мира немало интернациональных тенденций, сближающих языки. В 1895 г. посмертно была опубликована статья Потебни «Язык и народность», в которой наряду с яркой защитой

<sup>9</sup> Собранные позднее материалы о творительном падеже см. в сборнике [30] Обзор самых различных «падежных теорий» дан в книгах [31—32].

роли языка в культуре народа «общечеловеческие свойства языков» сводились лишь к принципу их «членораздельности». Все остальное в «общечеловеческом языке» неправомерно рассматривалось как процесс «понижения мысли» [33].

Хотя в освещении вопроса о соотношении общих национальных и интернациональных тенденций в языках мира Потебня был не совсем точен, однако его призыв изучать все тонкости и все многообразие каждого национального языка имел и имеет в наши дни большое прогрессивное значение. Об этом призыве следует помнить прежде всего тем современным лингвистам, которые стремятся «подогнать» национальные языки к искусственным кодовым построениям. Между тем понятие национального языка и понятие искусственного языка — это принципиально, качественно разные понятия. И Потебня был прав, видя в каждом национальном языке прежде всего выражение духовного богатства данного народа<sup>10</sup>.

## 5.

Как мы знаем, в центре основного большого исследования Потебни («Из записок») оказался вопрос о соотношении между словом и предложением, шире — между лексикой и грамматикой, а точнее — между лексикой и синтаксисом. Уже было замечено, что третий том «Из записок» — это скорее история слов, чем история предложений [34]. На мой взгляд, это не столько история слов, сколько история взаимоотношений между словами и предложениями, стремление в процессе исследования материала показать, в какой мере семантика слов влияет на конструкции предложений, а конструкции в свою очередь воздействуют на семантические возможности и ресурсы тех или иных слов.

Но здесь Потебня, показав образцы тонких анализов, вместе с тем столкнулся с серьезными теоретическими трудностями, преодолеть которые до конца он так и не сумел. Этому помешала его концепция, согласно которой язык — это прежде всего «акт творчества». Таким же творчеством является и слово. Поэтому всякий раз, когда оно произносится или пишется, оно должно быть однозначным. По мнению Потебни, разные значения одного и того же слова в действительности являются разными словами («Из записок», 1, с. 3).

Потебне казалось, что он решил проблему полисемии, объявив каждое из значений многозначного слова особым, самостоятельным словом. Но здесь возникала лишь видимость решения вопроса. В действительности подобное решение стало противоречить другим идеям Потебни, согласно которым слова в процессе развития языка стремятся ко все большему и большему обобщению, одновременно сохраняя свою способность обозначать самые конкретные предметы и явления. Исследователь был убежден, что слова, как и язык в целом, не просто выражают мысли и чувства, но в процессе подобного выражения сами способствуют их же формированию и уточнению («Мысль», с. 130). «На слово, — настаивает Потебня, — нельзя смотреть как на выражение готовой мысли» («Мысль», с. 142). Оно непрерывно развивается и совершенствуется. Поэтому, противореча первому своему утверждению (отрицанию полисемии), Потебня заявляет: «...одно слово, совершенно согласно с требованиями языка, может обозначать предметы разнородные» («Мысль», с. 78). И действительно весь третий том «Из записок» посвящен истории сложения многозначных слов в разных индоевропейских языках.

Чем объяснить противоречивость позиций Потебни в истолковании полисемии?

На мой взгляд, эту противоречивость можно истолковать так. С одной стороны, исследователь считал, что в каждом контексте слово неповторимо, оно выступает как «акт творчества», а с другой — он же усматривал непрерывное развитие языка во всех его сферах. Первое положение («акт

<sup>10</sup> Сказанное несколько не умаляет значения (для определенных целей) кодовых языков. Сам принцип их построения заслуживает дальнейшего обсуждения.

творчества») приводило Потебню к отрицанию полисемии, а второе положение («непрерывное развитие» всякого живого языка) как бы убеждало ученого в противоположном: развиваясь, слова «обрастают» все новыми и новыми значениями и оттенками значений, они становятся тем самым полисемантическими. К тому же занятия поэтикой убеждали ученого в том, какую громадную роль играет лексическая и грамматическая полисемия в самом процессе формирования метафор, метонимий, сравнений, пословиц и т. д.<sup>11</sup>

Потебня считал, что образность многих слов первичнее, древнее их же безобразности. Образность обусловлена чувственным происхождением языка, его связью с окружающим людей миром, тогда как безобразность — это, по словам исследователя, «временный покой мысли»: слова теряют свою внутреннюю форму, свою первоначальную мотивировку [9, с. 203 — 204]. Вместе с тем, став безобразным, слово на новом этапе развития языка вновь может приобрести образность, в особенности в языке поэзии. Но подобная вторичная образность будет уже к а ч е с т в е н н о и н о й по сравнению с образностью первичной. Умение рассматривать состояние покоя в языке как явление временное, а состояние развития как явление постоянное, самое существенное, говорит о том, как близко подходил Потебня к диалектике гегелевского типа, хотя никогда и не цитировал самого Гегеля.

По совсем другому поводу в «Диалектике природы» Ф. Энгельс отмечал, что он высоко ценит Гегеля, в частности и за то, что немецкий философ умел рассматривать явление притяжения как вторичный момент сравнительно с явлением отталкивания как моментом первичным<sup>12</sup>. Движение и развитие абсолютны, покой относителен. Потебня переносил это положение и на язык, и на науку о языке, которой следует заниматься языком в его непрерывном движении и развитии.

В отечественном языкознании минувшего века Потебня больше всего сделал для разработки проблемы взаимоотношения между языком и мышлением. Чем бы ни занимался Потебня — а круг его интересов был весьма широк — проблема значения всегда была в центре его научных интересов. Уже в двадцатые годы нашего века стало ясно, что Потебня и его последователи прокладывали иные пути в науке о языке сравнительно с теми, которые стремились заложить Фортунатов и его сторонники. Они считали, что А. А. Потебня занимается изучением мышления, а не языка, тогда как он, Фортунатов, исследует язык, а не мышление<sup>13</sup>. Последующая история советского языкознания подтвердила, что те ученые, которым были дороги в первую очередь проблемы языка и мышления, языка и общества, языка и культуры, искали опору прежде всего в сочинениях классиков марксистско-ленинской мысли, а затем и у Потебни, те же ученые, которые стремились лишь к описанию формальных свойств разных языков, пытались найти опору прежде всего у Ф. Ф. Фортунатова и у его единомышленников. Вместе тем, сам Фортунатов остается значительной фигурой в истории языкознания.

К сожалению, исследования А. А. Потебни сравнительно мало известны за пределами нашей страны, хотя библиография его работ и литературы о нем уже к 1974 году составила свыше 600 наименований [36]. У этого замечательного филолога и мыслителя есть чему поучиться и в наше время. Потебня строил свою теорию на основе тщательно изученного большого материала. Как я уже отметил, у него нет теории, с одной стороны, и материала — с другой. Он предстает перед своими читателями в единстве теории и материала. Исследователь как бы говорит читателям: «Не верите мне, так вот я докажу вам свою правоту с помощью анализа материала». И подобный анализ обычно бывает у Потебни тонким, а нередко и проникновенным.

<sup>11</sup> См. посмертно опубликованную книгу А. А. Потебни [9].

<sup>12</sup> «Гегель гениален даже в том, что он выводит притяжение как вторичный момент от отталкивания как первичного...» [35].

<sup>13</sup> Об этом писал, в частности, Т. Райнов уже в 1924 г. (см. [6, с. 101]).

А. А. Потебня стремился обнаружить причинную связь явлений в развитии каждого языка, которым он занимался. Исследователь никогда не согласился бы с будущим автором «Логико-философского трактата» Л. Витгенштейном, заявившим, что «вера в причинную связь» явлений — это предрассудок [37]. Потебня же не представлял себе лингвистики, в которой по и с к и п р и ч и н н о й с в я з и между разными процессами, происходящими в языке, не находились бы в центре самой науки о языке.

Потебня любил филологию и был ей глубоко предан. Уже было справедливо отмечено: «Для всего стиля Потебни характерна какая-то особая, пронизанная моральным чувством, серьезность» [38]<sup>14</sup>. Потебня отличался большой скромностью. Достаточно еще раз напомнить, что его основное капитальное четырехтомное исследование именуется «Из записок по русской грамматике». Вместе с тем, когда брались под сомнение идеи, дорогие ему как исследователю, Потебня умел резко и прямо отвечать своим оппонентам.

В книгах А. А. Потебни современные читатели находят: 1) широкое понимание филологии и попытку сблизить науку о языке с наукой о культуре; 2) умение глубоко анализировать различные языковые категории во взаимодействии с их же значениями; 3) стремление обосновать процесс исторического развития и совершенствования живых языков человечества с учетом сложности и непрямолинейности самого этого процесса; 4) понимание моральной ответственности ученого за идеи, которые он обосновывает и пропагандирует.

А. А. Потебня — яркая и самобытная фигура в истории отечественной и мировой филологии.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Овсяннико-Куликовский Д. Н.* Потебня как языковед-мыслитель. — Киевская старина, 1893, т. 42, июль, с. 30—46; авг., с. 269—289; сент., с. 342—360.
2. *Харцьев В. И.* Новый труд по истории языка и мысли А. А. Потебни. — Труды педагогического отдела Харьковского историко-филологического общества, 1899 вып. 5.
3. *Горький М.* Полн. собр. соч.: В 30-ти т. М., 1955, т. 29, с. 226.
4. *Тынянов Ю. Н.* Поэтика. Историка литературы. Кино. М., 1977, с. 167.
5. *Овсяннико-Куликовский Д. Н.* Воспоминания. Петроград, 1923, с. 171.
6. *Райнов Т. Александр Афанасьевич Потебня.* Петроград, 1924.
7. *Погодин А. Л.* Язык как творчество. Харьков, 1913, с. 2.
8. *Виноградов В. В.* Из истории изучения русского синтаксиса. М., 1958, с. 330—345.
9. *Потебня А. А.* Из записок по теории словесности. Харьков, 1905.
10. *Потебня А. А.* Мысль и язык. 5-е изд. Харьков, 1926.
11. *Потебня А. А.* Эстетика и поэтика. М., 1976.
12. Академические школы в русском литературоведении. Гл. IV. М., 1975, с. 300—354.
13. *Пресняков О. П.* А. А. Потебня и русское литературоведение конца XIX — начала XX века. Саратов, 1978.
14. *Потебня А.* К истории звуков русского языка. Воронеж, 1876.
15. *Будагов Р. А.* История слов в истории общества. М., 1971.
16. *Kooij J.* Ambiguity in natural language. Amsterdam, 1971.
17. *Scheffler J.* A philosophical inquiry into ambiguity. London, 1980.
18. *Kess J., Hoppe R.* Ambiguity in psycholinguistics. Amsterdam, 1981.
19. *Будагов Р. А.* Что такое развитие и совершенствование языка? М., 1977.
20. *Suret-Canale J.* Lewis Morgan et l'anthropologie moderne. — La Pensée, 1973, № 171.
21. *Левин-Брюль Л.* Первобытное мышление. М., 1930.
22. *Боас Ф.* Ум первобытного человека. М. — Л., 1926.
23. *Анисимов А. Ф.* Исторические особенности первобытного мышления. Л., 1971, с. 9.
24. *Kendon A.* Geography of gesture. — Semiotica, 1980, № 1/2.
25. *Гуревич А. Я.* Категория средневековой культуры. М., 1972, с. 192 и сл.
26. *Вейс Д.* Огюст Роден. М., 1969, с. 557.
27. *Arrivé M. et Chevalier J.* La grammaire. Lectures. Paris, 1970, p. 66.
28. *Фихте И.* О назначении ученого. М., 1935, с. 109.

<sup>14</sup> Из новых работ о Потебне можно назвать спорную статью С. Д. Кацнельсона (автор, на мой взгляд, неправомерно оперирует так называемым «речевым мышлением», будто бы отличным от обычного «человеческого мышления») в коллективном сборнике [39]. Но яркой и интересной представляется мне другая, ранняя публикация того же автора [40].

29. *Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном освещении. 6-е изд. М., 1938, с. 132.
30. *Творительный падеж в славянских языках.* М., 1958.
31. *Anderson J.* On case grammar. London, 1977.
32. *Serbat G.* Cas et fonctions. Paris, 1981.
33. *Потебня А. А.* Язык и народность.— Вестник Европы, 1895, т. V, с. 10—11.
34. *Грунский Н. К.* Очерки по истории разработки синтаксиса славянских языков. Вып. 3. Юрьев, 1911, с. 47.
35. *Энгельс Ф.* Диалектика природы.— *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 20, с. 559.
36. *Франчук В. Ю.* Олександр Опанасович Потебня. Київ, 1975, с. 35—39.
37. *Витгенштейн Л.* Логико-философский трактат. М., 1958, с. 101.
38. *Булаховский Л. А.* Александр Афанасьевич Потебня. Киев, 1952, с. 33.
39. *Кацнельсон С. Д.* Теоретико-грамматическая концепция А. А. Потебни.— В кн.: Грамматические концепции в языковедении XIX века. Л., 1985.
40. *Кацнельсон С. Д.* К вопросу о стадильности в учении Потебни.— ИАН ОЛЯ, 1948, вып. 1.

СМИРНИЦКАЯ С. В.

ЯКОБ ГРИММ И ГЕРМАНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Среди первых языковедов-компаративистов начала XIX в. Якоб Гримм занимает почетное место. Творческий вклад ученого в сокровищницу мировой науки необычайно весом: ревностный собиратель произведений устного народного творчества, тонкий исследователь памятников германского письма, литературовед, историк древнего права, языковед — автор первой сравнительной грамматики германских языков, создатель фундаментального словаря немецкого языка — Я. Гримм по праву может быть назван «филологом нации» [1]. Трудно найти такую область германского языкознания, которая осталась бы в стороне от творческих устремлений ученого: сравнительная грамматика германских языков и история немецкого языка, современный немецкий язык и вопросы языковой нормы, становление немецкого литературного языка и его социальная дифференциация, литературный язык и народные говоры, географическое распределение диалектов — основы подлинно научной разработки этих проблем были заложены Гриммом.

Творчество Гримма теснейшим образом связано с именем его брата — Вильгельма Гримма. Братья Гримм вместе учились в лицее и университете, вместе работали в Касселе, Гёттингене и Берлине. В течение ряда лет (1813—1816) они издавали журнал «Altdeutsche Wälder» [2], посвященный немецкой старине, собирали и обрабатывали фольклорные материалы.

Первый этап научной деятельности Гримма характеризуется изысканиями в области средневековой литературы. За книгой «О древнегерманском майстерзанге» (1811) появляется работа «Песни старшей Эдды» (1815), а в период с 1812 по 1815 гг. братья Гримм издают «Детские и семейные сказки» и «Немецкие сказания». С 1816 г. ведущее место в творчестве Гримма занимают работы языковедческой тематики, хотя в кругу научных интересов ученого продолжают оставаться проблемы литературоведения [3], мифологии [4], истории права [5]. С 1819 по 1837 гг. издается четырехтомная «Немецкая грамматика» [6], в 1848 г. появляется двухтомная «История немецкого языка» [7], с 1854 г. начинает выходить «Немецкий словарь» [8], над которым Якоб Гримм работает совместно с Вильгельмом Гриммом.

Филологическая наука в Германии первой четверти XIX в. развивалась под сильным влиянием романтизма. Подобно Гердеру, немецкие романтики обращаются к изучению языка, мифологии, права германских народов, рассматривая их как выражение «народного духа». Требование историзма и народности искусства, верного воссоздания колорита места и времени является важнейшим завоеванием романтической теории искусства.

Ранний этап научной деятельности Гримма охватывает период с 1806 по 1816 гг. и характеризуется отсутствием строгих методологических установок. Историческая концепция Гримма в первое десятилетие его творчества связана с представлением о том, что история находит адекватное отражение в мифе о золотом, серебряном и бронзовом веках. Молодой Гримм противопоставляет святость и чистоту древних «опустившемуся» человечеству современности. Историзм Гримма этого периода можно было бы назвать романтическим [9].

Наука начала XIX в. противопоставляет философское рассмотрение историческому [10]. Противопоставление истории (как эмпирии) философии (как теории) не чуждо Гримму. Ставя перед грамматическим исследованием задачу объяснить отдельные формы языка, Гримм придавал первостепенное значение наблюдению над фактами языка. В предисловии к «Не-

мецкой грамматике» он отмечал свое отрицательное отношение к общим логическим понятиям, которые, по его мнению, мешают наблюдению. Наблюдение, по словам Гримма, — «душа языкознания» [11]. Связь с действительным, фактическим, внимание к объективно данному — понятия, воплотившиеся в начале XIX в. в термине «исторический», глубоко импонируют Гримму, равно как и требование современной ему науки обратиться от общих теорий к источникам, к тщательному, точному и строгому изучению деталей. Тезис главы исторической школы Савиньи, согласно которому настоящее может быть понято только из прошлого, был решающим для Гримма.

Наибольшего успеха исторический подход достигает у Гримма в сочетании со сравнительным. Базой для сравнительных исследований послужило освоение Гриммом европейских языков с учетом их древнейших форм. Занятия филологией в широком смысле, издание древних литературных памятников Европы, прежде всего фольклорных, осуществлявшееся Я. Гриммом совместно с братом В. Гриммом, рано пробудили в Я. Гримме интерес к сопоставлениям, к этимологии, а затем и к чисто языковедческим проблемам. Впервые эти интересы проявились в рецензии Гримма на книгу Раска «Введение в исландский, или древнесеверный язык» [12]. За рецензией последовало сравнительное рассмотрение языковых черт «Песни о Хильдебранде», которое принадлежит к наиболее успешным языковедческим исследованиям Гримма до создания «Немецкой грамматики».

Мысль поставить этимологию на службу историческому изучению саги возникла у Гримма в 1809 г., когда братья Гримм начали систематическое собирание саг. Внимание Гримма к этимологии, и в особенности к этимологии собственных имен, проистекало из свойственного донаучным филологическим исследованиям положения о том, что имя вещи или лица отражает его сущность. Наименования, по мнению Гримма, не изобретаются произвольно, а являют собой некий «природный элемент». Здесь возрождается старое представление о том, что имена связаны с вещами по природе (φύσει). Идентичность имени и сущности, слова и вещи Гримм пытается продемонстрировать на примере собственных имен. Проследившая мотив швейцарской народной легенды о Вильгельме Телле по различным источникам, Гримм ставит в один ряд такие имена собственные, как *Tell*, *Toko*, *Egill*, *Wielands*, *Velents*, *Bell* и т. д. Родство приведенных имен Гримм доказывает на основании содержательной и звуковой близости (формы *Tell*, *Ell*, *Bell* фонетически представляются Гримму вполне сводимыми друг к другу). Нем. *Tell* Гримм возводит к лат. *telum* «стрела», англ. *Bell* — к греч. βέλος «стрела» и дат. *Toko* к греч. τόξον, которое в ед. ч. означает «лук», а во мн. ч. — «стрелы». Исл. *Egill* Гримм связывает с нем. *Igel* «еж». Констатируя функциональное сходство между наконечником стрелы и иглой ежа, Гримм заключает о смысловой близости исл. *Egill* с остальными именами собственными в приведенной цепочке. В одном ряду оказываются бесчисленные образования типа нем. *Pfeil*, др.-англ., ср.-нидерл. *pīl*, греч. βέλος, нем. *Tell*, лат. *telum*, греч. τῆλε, англ. *nail*, нем. *nagel*, *egel*, *igel* и т. д. Гримм не может не видеть, что в его ранних этимологиях царит произвол: любой звук переходит в любой другой звук, в одном ряду оказываются и старые, и новые формы, причем формы, сосуществующие в языке, нередко выстроены так, как будто они происходят друг от друга. Основание для подобного произвола Гримм пытается найти в самой сути языка, где, по его мнению, «всякий и каждый звук связань», а «звуки и формы... указывают на вещи» [13, с. 331]. Предпосылкой ранних гриммовских этимологий является убежденность исследователя в существовании единого и единственного праязыка, который продолжает жить до сего дня в отдельных современных языках. Отсюда — вывод о возможности толковать слова одного языка с помощью слов любого другого языка.

Гримм ставит перед этимологией задачу раскрыть историю слов, а также путем установления связей между словами постигнуть связи сущностей и вещей. Эта цель — вполне научная — не могла быть достигнута до открытия строгих звуковых соответствий, являющихся следствием закономерных звуковых переходов.

Своеобразным рубежом в исследовательской деятельности Гримма является открытие закономерных фонетических чередований, объединенных под термином умлаут (Umlaut). В 1811 г. Р. Раск определяет механизм умлаута как зависимость гласного корня от гласного окончания. На основе своей теории Р. Раск восстанавливает *-i* в конце ряда слов, его утративших (*land*, мн. ч. *lond* < \**landu*). В 1818 г. в книге «Исследование о происхождении древнесеверного, или исландского языка» Р. Раск, наряду с разделом «Морфология», вводит раздел «Фонетика», в котором открывает ряд звуковых законов, в том числе закон германского передвижения согласных. Гримм, который был знаком с работами Раска, поначалу (в частности, в 1812 г.) считает мнение своего предшественника по поводу механизма умлаута «скорее остроумным, нежели истинным» [14, с. 518]. Сам он толкует умлаут весьма широко, включая сюда по сути любое вокалическое или консонантное изменение в корне. В понятие «*Vokalumlaut*» Гримм включает собственно умлаут, а также аблаут и преломление (*Brechung*), желая вывести эти разноплановые явления из одной причины. Последняя, по мнению Гримма, состоит во «внутренней склонности языка, действующей одновременно на окончание и корень» [13, с. 360]. Только в 1816 г. Гримм подошел к решению проблемы. Открытие причин возникновения умлаута сыграло огромную роль, раскрыв перед Гриммом важность звуковой стороны языка, ее относительной независимости и огромной объяснительной значимости.

1816 год можно считать своеобразным итогом в научной деятельности Гримма: закончился так называемый «дограмматический период», период поисков метода научного анализа.

Многие черты исторического подхода к фактам языка проявляются у Гримма задолго до 1816 г. С исторических позиций Гримм отклоняет попытки пуристического «улучшения» языка. При издании древнейших памятников германского письма и произведений народного творчества Гримм решительно отстаивает право каждого источника, каждого живого проявления языка на своеобразие и самобытность против насильственной нормализации и внесения поправок. Несомненной заслугой Гримма является претворение в жизнь идеи Савиньи о связи различных областей знаний: поэзия, язык, обычай, право, принадлежащие одной эпохе и одному народу, «связаны друг с другом тысячью зримых и незримых нитей» [15, с. 546]. Многолетняя работа Гримма в области германской мифологии и эпоса во многом подготовила его научные достижения, ведущие начало от 1816 г. Сравнительно-исторический подход, столь успешно примененный Гриммом в «Немецкой грамматике», задолго до ее создания был намечен в его работах по истории права, а также в области фольклора. По мнению Г. Гиншель, «братья Гримм открыли своеобразную мировую литературу, следы которой уходят в глубокую древность и распространение которой можно проследить среди бесчисленных наций» [13, с. 380]. Путь к строгой научности в области мифологии и языкознания, решительный отход от спекулятивного рассмотрения языковых явлений, от наивных этимологий раннего периода стали возможны для Гримма только благодаря открытию звуковых соответствий, на основе которых могла быть выработана надежная исследовательская методика, обеспечивающая точные, доступные проверке результаты.

1816 год ознаменовал собой смену тематики в научном творчестве великого ученого: Гримм всецело обращается к германскому языкознанию, которое занимает доминирующее положение в его деятельности до конца жизни. За «Немецкой грамматикой» (I том — 1819 г., второе издание I тома — 1822 г.; II, III, IV тома завершены к 1837 г.) последовала «История немецкого языка» (1848 г.). С 1854 г. начал выходить «Немецкий словарь».

Начиная с «Немецкой грамматики», Гримм занялся детальным описанием германских языков. Особое предпочтение он отдавал древнейшим формам, т. к. ожидал найти в них проявление национального духа в его чистоте, язык — в его первобытном совершенстве. По словам Мейе, «Немецкая грамматика» была первым описанием целой группы диалектов,

начиная с самых древних засвидетельствованных форм, и тем самым послужила образцом для последующих исследований других диалектов, засвидетельствованных древними документами...» [16, с. 452].

«Немецкая грамматика» Гримма далеко выходит за рамки того, что принято считать собственно грамматикой отдельного языка. Четырехтомный труд Гримма является фундаментальным сравнительно-историческим исследованием строя всех германских языков. Используемый здесь исторический или генетический метод базируется на объективном научном рассмотрении феномена языка. Для Гримма это означало прежде всего обращение к источникам: основательное исследование источников является первым требованием исторического подхода к языку. Вторым требованием Гримма — историка языка является точное и строгое изучение деталей. Душой языковедческого исследования, согласно Гримму, являются не теоретические построения и логические схемы, а живое, непосредственное наблюдение фактов языка.

В предисловии к первому изданию «Немецкой грамматики» Гримм определяет цель и задачи предпринятого труда. Они заключаются в доказательстве ближайшего родства, существующего между всеми германскими языками, а также в объяснении современных языковых форм путем возведения их к древним и древнейшим формам. Гримм предлагает совершенно новую концепцию грамматического исследования. Он выдвигает требование такой грамматики немецкого языка, которая делала бы понятной структуру современного немецкого языка. Для того, чтобы осмыслить и понять существующие формы, согласно Гримму, необходимо привлечь к рассмотрению более древние формы, которые лежат в основе изучаемых. Научная грамматика, по мнению Гримма, может быть только исторической, а это, в свою очередь, предполагает рассмотрение языковых фактов как серии сменяющих друг друга производных форм (Ableitungen), от самых древних из засвидетельствованных памятниками письма до современных.

Сформулированные Гриммом цели и задачи исследования предопределяют принцип организации и подачи языкового материала. Начиная со второго издания, «Немецкая грамматика» включает в себя следующие крупные разделы: фонетику (von den Buchstaben), морфологию (von den Wortbiegungen), словообразование (von der Wortbildung), синтаксис (Syntax). Каждый из разделов распадается на более частные. Так, в разделе морфологии выделяются два подраздела — склонение (von der Declination) и спряжение (von der Conjugation). В свою очередь глава, посвященная склонению, последовательно рассматривает словоизменение всех склоняемых частей речи — имен существительных, прилагательных, числительных и местоимений, а в пределах каждой из выделенных частей речи материал расположен в следующем порядке: готский, древневерхненемецкий, древнесаксонский, англосаксонский (древнеанглийский), древнефризский, древнесеверный; средневерхненемецкий, средненижненемецкий, среднидерландский, среднеанглийский; нововерхненемецкий, новонидерландский, новоанглийский, шведский, датский. Таким образом, Гримм пытается показать постоянно изменяющуюся в пространстве и во времени материю языка: каждый языковой элемент (фонетический, морфологический, словообразовательный, синтаксический) прослеживается фронтально по всему германоязычному ареалу от древнейших времен до современности.

К «Немецкой грамматике» примыкает двухтомный труд «История немецкого языка»<sup>1</sup>, являющийся частично обобщением результатов «Немецкой грамматики» (в частности, по таким разделам, как аблаут, редупликация, слабый глагол, слабое существительное и т. д.) и содержащий добавления по истории древнейших германских племен (готов, франков, гессов, батавов, хавков, лангобардов, бургундов и т. д.). Обе фундамен-

<sup>1</sup> Здесь так же, как и в «Немецкой грамматике», термин «deutsch» употребляется Гриммом прежде всего в значении «германский»: *deutsche Sprache* «германский язык» — обобщенное название для группы родственных древних и новых германских языков; ср. также *deutsche Völker* «германские народы» [8, с. VIII—XV].

тальные работы Гримма содержат исчерпывающий фактический материал по всем разделам грамматики германских языков от их первой письменной фиксации до современного состояния. Представленные здесь языковые факты могут служить для широких сопоставлений и теоретических обобщений. Сам Гримм использует данные сравнительного анализа прежде всего для обоснования родства германских языков, а также для доказательства существования родственных связей между германскими языками и другими представителями индоевропейской языковой семьи.

Наиболее важным критерием языкового родства в системе доказательств Гримма является установление строгих звуковых соответствий среди сравниваемых языков. По словам А. Мейе, «законы „передвижения звуков“... явились первым примером и первым образцом „фонетических законов“, на признании которых покоится современная историческая лингвистика; они были плодом строгого наблюдения диалектов и изыскания оригинальных черт каждого языка» [16, с. 452]. Возможность сопоставления языковых фактов на основе точных фонетических соответствий, а тем самым и подлинно научная основа для изучения вопросов происхождения языков и языкового родства открывается для Гримма с установления механизма умлаута (1816 г.). В «Немецкой грамматике» и в «Истории немецкого языка» подробное рассмотрение умлаута по всему германоязычному ареалу дополнено комплексом звуковых соответствий в области шумных согласных и большим корпусом фактов, относящихся к передвижению согласных.

В 1818 г. Раск, сопоставляя исландский язык с латинским и греческим, выводит соответствия для начальных согласных. Во втором издании «Немецкой грамматики» (1822), а также в первом томе «Истории немецкого языка» (1848) Гримм дает детальное изложение всего корпуса явлений, связанных с передвижениями согласных в германских языках. Кроме начальной позиции, продемонстрированной Раском, Гримм добавляет обширный материал, представляющий рассматриваемый комплекс явлений в позиции середины слова. Для Гримма передвижения согласных носят строгий, закономерный характер, поэтому звуковые переходы в системе шумных согласных он формулирует как закон, согласно которому звонкий согласный переходит в глухой, глухой — в придыхательный, а придыхательный — снова в звонкий. Подчеркивая «постоянство» сформулированного закона (*der standige Charakter*), Гримм отмечает, что перебой (*die Verschiebung*) согласных в германских языках не является случайным исключением, а представляет собой четко действующее правило.

Если Раск, сопоставляя исландский с греческим, оперирует фактами, составляющими корпус явлений первого, германского передвижения согласных, то Гримм, добавляя древневерхненемецкий материал, устанавливает звуковые соответствия, относящиеся ко второму, верхненемецкому передвижению согласных. Очень важным является то обстоятельство, что для Гримма и германское, и верхненемецкое передвижения представляют неразрывное единство. Это явствует из гриммовской схемы передвижения согласных, которая, в отличие от схемы Раска, включает в себя данные греческого, готского и древневерхненемецкого языков [7, с. 393—394; 11, с. 584].

Гримм поднимает вопрос, не затронутый Раском, о значении закономерных звуковых переходов для «строгой этимологии». Он отмечает, в частности, что закон передвижения согласных помогает обуздать «буйное» этимологизирование, являясь для последнего «пробным камнем» [7, Vd. 1, с. 415]. После спекулятивных этимологий своей юности Гримм демонстрирует в «Немецкой грамматике» и в «Истории немецкого языка» возможность с достаточной надежностью устанавливать параллели между германскими и негерманскими словами. Цепочки лексем, выведенные на основании закономерных звуковых переходов, охватывают обширные пласты лексики. К рассмотрению привлекается скотоводческая и земледельческая терминология, обозначения праздников, месяцев, верований, обычаев и т. д. Особое внимание уделяется терминам родства, местоимениям, числительным [7, Vd. 1, с. 15—161; 238—273]. На основании анализа большого корпуса

лексических параллелей, установленных с опорой на строгие фонетические соответствия, вскрывается общность основного словарного состава как внутри группы германских языков, так и далеко за ее пределами. Тем самым наличие регулярных звуковых переходов («буквенных переходов») становится для Гримма одним из самых важных критериев при определении генетических связей между языками. По его мнению, из соотношения согласных проистекает достаточное доказательство изначального родства сравниваемых языков [7, Bd. 1, с. 592].

Большое внимание уделяет Гримм сравнению арсенала германских словообразовательных и словоизменительных форм, рассмотрению внутри последних как внешней, так и внутренней флексии. Гримм демонстрирует не только идентичность словоизменительных и словообразовательных аффиксов, но также и сходство словоизменительных и словообразовательных моделей в языках германской группы (например, типы склонения имен, спряжения глаголов и т. д.). Выходя за пределы германского ареала, Гримм обнаруживает наличие грамматических черт, общих для германского, древнегреческого, латинского, санскрита и других языков. Таким образом, наличие «буквенных переходов», большого корпуса лексических параллелей и общих морфологических формантов позволяет Гримму сделать вывод об изначальном родстве многих языков Европы и Азии. Из азиатских языков привлекаются санскрит и авестийский, из европейских — древнегреческий, латинский, литовский, латышский, прусский, церковнославянский, польский, готский, древневерхненемецкий, англосаксонский, английский, ирландский, албанский и др. Тем самым Гримм устанавливает родство тех языков, которые мы относим к индоевропейской семье.

Особое внимание Гримм уделяет определению места германских языков среди индоевропейской языковой семьи. Он выявляет черты, сближающие германские языки с отдельными представителями индоевропейской семьи языков. Давая перечень фонетических, лексических и грамматических параллелей между германскими языками и греческим, латинским, литовским, славянскими и кельтскими, Гримм делает вывод о том, что германские языки наиболее близки к славянским и балтийским, несколько дальше отстоят от греческого и латинского, наименьшую близость обнаруживают с кельтскими языками [7, Bd. 2, с. 1018—1030].

Во взглядах Гримма на языковую историю отражается не только его восприятие связи между развитием языка и развитием мышления, здесь обнаруживается точка зрения исследователя на связь между историей языка и историей народа. Подчеркивая объединяющую, цементирующую функцию языка в жизни человечества, Гримм указывает, что языковое наследие передается из поколения в поколение, усваиваясь, сохраняясь, обогащаясь. Проследивая развитие языка из поколения в поколение, можно тем самым проникнуть в историю говорящего на этом языке народа. Гримм не дает определения понятию «народ». Используемые им термины «народ», «общность», «человеческий род», «дух народа» носят нередко религиозно-мистическую, романтическую окраску. Однако исключительно важным представляется тот факт, что уже в середине XIX в. Гримм рассматривает феномен языка и его историю с точки зрения ряда постоянно взаимодействующих и нерасторжимых факторов. Прежде всего он выделяет факторы пространства и времени. Он пишет: «Особенность каждого языка зависит от места, где родились, и времени, когда воспитывались говорящие на этом языке. Пространство и время являются причиной всех языковых изменений; только ими объясняется разнообразие возникших из одного источника народов» [17, с. 265]. Отмечая, в частности, расхождение между языком современных тирольцев и фризов при несомненной общности их происхождения, Гримм подчеркивает возможность языковых изменений и в среде живущих компактно, не разделенных географически, говорящих на одном языке людей. Эти различия возникают в том или ином поколении, у того или иного индивида.

Выделив пространство и время как важные факторы развития языка, Гримм приближается к осознанию общественного, социального характера

языка. Рассматривая историю языка в теснейшей связи с историей его носителей, Grimm пытается на основании наличествующих в языке изменений делать выводы об истории народа. Сравнение языков, по его мнению, может пролить свет на историю человечества. С помощью слов Grimm пытается проникнуть в суть вещей, постигнуть «происхождение и развитие понятий» [17, с. 123]. Grimm считает, что «существует более живое свидетельство о народах, нежели кости, оружие и могилы, это их языки» [18, с. 4]. Следуя принципу «от слов к вещам» (*von den Wörtern zu den Sachen*), Grimm занялся описанием германских племенных диалектов и в особенности древнейших из доступных наблюдению форм, ожидая найти в них проявление «национального духа» в его чистоте. Изучение древнейшего состояния языка, с точки зрения Grimma, не только позволяет представить исторически развивающиеся грамматические формы языка, но и проникнуть в историю народа, так как, по замечанию ученого, «наш язык — это наша история» [17, с. 290].

В исторической концепции Grimma важное место занимает идея тесного сплава языка, мифа, саги, народной поэзии, обычаев, иными словами, всех духовных институтов с историей народа. Излагая свои взгляды на историю права, Grimm пишет в письме к Савиньи: «Право так же, как язык и обычай, — народно по происхождению...» [19, с. 172]. Подчеркивая народный характер права, языка и обычаев, а также их неразрывность и взаимопроникновение, Grimm связывает понятие «органически живого поступательного движения» (*die organisch lebendige Fortbewegung*) с общественным и языковым развитием. В понимании органического (*organisch*) содержится указание на естественно-закономерное развитие языка. Однако всякий раз, когда Grimm приходится говорить о движущих силах языкового развития, он неизменно прибегает к понятию «духа языка» (*Sprachgeist*) как некой мистической силы, которая управляет языковым развитием. «Дух языка» тесно сплетен с «духом народа» (*Volksgeist*), поэтому проникновение в глубины языковой истории, постижение «духа языка» для Grimma неизбежно связано с постижением «духа народа». Иными словами, национальные особенности того или иного народа, по Grimm, выводимы из истории его языка.

Известная ограниченность исторической концепции Grimma во многом определяется общим уровнем развития языкознания первой половины XIX в. Однако пребывая в плену романтических представлений о языке и народе, Grimm сумел подняться до широких обобщений, в частности, до стихийного осознания социального аспекта языковой истории. Эти достижения связаны прежде всего с гриммовской «Историей немецкого языка». Если в «Немецкой грамматике» проблема отражения материальной и духовной истории народа в строе и функционировании языка только намечена, то в «Истории немецкого языка» во главу угла поставлено изучение истории германских племен — носителей германских языков и диалектов. Считая язык тем источником, из которого могут быть почерпнуты данные по истории германских народов, Grimm подчеркивает значение сравнительно-исторического метода для изысканий в области древнейшей истории. С помощью сравнительного анализа германских языков Grimm пришел к осознанию того факта, что общественная практика людей, их взаимодействие с окружающим миром чрезвычайно важны для познания человека и его духовных институтов. Grimm сделал попытку объяснить различия между языком кочевников и земледельцев из практических жизненных потребностей людей, что приближает воззрения Grimma к материалистическим. Стихийное открытие Grimмом связи между общественной практикой людей и их языком обуславливает имплицитное присутствие в его языковедческих трудах наряду с пространственным и временным факторами — фактора социального. Однако материалистический элемент в социально-исторических взглядах Grimma не следует преувеличивать: человеческому обществу с его социальным устройством в работах Grimma противостоит романтическое понятие «народа»; движущую силу общественного развития Grimm ищет не в экономической сфере, а в национальном характере.

Идеей тесного взаимодействия истории языка с историей народа пронизана такая широкая область научных интересов Гримма, как формирование немецкого литературного языка.

Проблема формирования немецкого литературного языка связана с решением целого ряда частных вопросов, среди которых одно из ведущих мест занимает вопрос о взаимодействии литературного языка и диалектов. Начало и первая половина XIX в. ознаменовались в Германии возросшим интересом к местным говорам: возникает идея географической неоднородности языка, появляются первые грамматические и лексикографические описания местных говоров. Гримм не остается чужд этому интересу [20]. Диалекты, местные говоры, провинциализмы — это те реальные формы проявления народного языка, с которыми братья Гримм сталкивались, собирая народные песни и саги. Подчеркивая, что членение языка на диалекты так же естественно, как членение ствола на ветви и веточки, Гримм рассматривает диалект в историческом плане, в связи с древнейшими этническими образованиями — родами. По мнению Гримма, единый язык с течением времени распадается на диалекты. Диалектные различия появляются под воздействием внешних обстоятельств. В частности, обитание в лесах, в горных местностях или в долинах накладывает особый отпечаток на язык. Несмотря на наивное представление о причинах появления языковых изменений («...горный воздух делает звуки резкими, а равнина — мягкими»), Гримм, безусловно, прав, выдвигая идею постепенной языковой дифференциации во времени и в пространстве. По мнению Гримма, чем древнее язык, тем он более целен и однороден; дифференциация в языке, ведущая к диалектному разнообразию, развивается постепенно на протяжении веков («...все разнообразие из первоначального единства» [7, II, с. 833]). Гримм приходит к выводу, что современные германские языки были первоначально диалектами единого общегерманского языка, который, в свою очередь, наряду с литовским, славянским, греческим, латинским восходил к единому праязыку. Тем самым с распадом единого языкового состояния на диалекты Гримм связывает появление новых языковых ветвей и языков. Гримм указывает на огромную важность использования материала современных диалектов для изучения истории языка. Он подчеркивает, что современные народные говоры содержат черты старых диалектов, не нашедшие отражения в литературном языке. Тщательное, планомерное изучение этих древних черт, по мнению Гримма, способствовало бы более глубокому проникновению в историю языка.

Признавая важность диалектных данных для изучения ранних этапов истории языка, подчеркивая закономерный характер диалектной дифференциации и, как следствие последней, образование родственных языков из единого источника, — Гримм неизбежно встает перед вопросом об отношении современного литературного языка (*Schriftsprache*) к диалектам и о становлении литературного языка. В предисловии к «Немецкой грамматике» он делает попытку показать механизм образования литературного языка [11]. Согласно Гримму, в эпоху, предшествующую возникновению литературного языка, все диалекты равноправны и «благородны» (*edel*). «Возвышению» одного диалекта над другими, по мнению Гримма, способствует могущество и образованность его носителей, т. е. культурное, политическое и экономическое превосходство говорящих на данном диалекте. Важную роль отводит Гримм закреплению «господствующего» диалекта в письменности. Ведущий диалект впитывает из подчиненных ему говоров некоторые свойственные им особенности, в то же время происходит нивелирование отдельных, наиболее резких, диалектных черт<sup>2</sup>. Поднявшись до уровня литературного языка, господствующий диалект становится единственным, имеющим хождение в культурном отношении. Это — знак образованности в противовес диалектам, на которых изъясняются простолюдины. Высказывая мысль о «затухании» (*Sinken*) одних диалектов по сравнению с другими, поднявшимися до уровня литературного языка, Гримм

<sup>2</sup> Гримм считает, что уже в средневерхненемецкий период существует общий язык, которым пользовались поэты, язык, в котором растворялись и исчезали диалекты [11].

подходит вплотную к вопросу о социальной стратификации языка. Литературный язык занимает верхнюю ступень по отношению к диалектам, с ним связывается представление о духовной жизни общества, это язык учености, литературы. Диалект, — удел необразованной части общества, — обречен на постепенное ватухание. Гримм исходит из своего рода «Normal Sprache» как средней градации, над которой возвышается язык литературы и поэзии, низшую ступень занимает язык необразованных<sup>3</sup>. Литературный язык Гримм рассматривает как язык, овладение которым доступно каждому через школьное образование. По его мнению, между литературным языком в его письменной и разговорной разновидностях не должно быть различий. Взгляды Гримма на литературный язык во многом определяются его воззрениями на роль литературы, поэзии. Поэтам Гримм отводит огромное место в процессе создания и шлифовки литературного языка, отмечая, в частности, значение Лютера, Гёте и Шиллера, которые во многом способствовали поднятию престижа немецкого литературного языка. Поэзию и язык Гримм рассматривает как неразрывное единство: сила языка проявляется в поэзии, а поэзия, в свою очередь, является мощным «рычагом для возвышения рода человеческого» [17, с. 375]. Народы, не создавшие литературы, обрекают свой язык на забвение. Язык литературы, поэзии является для Гримма наивысшей формой языкового проявления народа.

Гримм защищает присущую любому языку органичность, сбалансированность старых и новых форм, исконного и заимствованного. С этих же позиций Гримм возражает против насильственной регламентации языка. По его мнению, при создании правил следует исходить только из основательного знания языкового употребления (Sprachgebrauch), а не из общих рассуждений и аналогий с другими языками [15, 316]. Когда Гримм говорит о языковом употреблении, он имеет в виду нечто приближающееся к современному понятию обиходно-разговорного языка (Umgangssprache). Этот слой языка, которому Гримм придает огромное значение, нашел широкое отражение в его «Немецком словаре», где в качестве примеров широко используются образцы живого разговорного языка — выдержки из берлинских газет, высказывания служащих, горничных и т. д.

Рассматривая язык как отражение исторических судеб народов, Гримм считал науку о языке частью общей исторической науки. Существенно дополнив свои эстетические воззрения, ведущие начало от гейдельбергских романтиков, историческим методом школы Савиньи, Гримм в своем творчестве последовательно проводил идею, согласно которой язык оказывает на народ объединяющее влияние, «узы» языка сплавляют говорящих на нем людей, не дают им рассеяться.

Как типичный представитель индуктивного, эмпирического метода Гримм возводил в высшую добродетель историка и языковеда наблюдение над фактами, отвергая философские спекуляции и общие определения. Давая оценку гриммовской «Немецкой грамматике», А. Мейе писал: «...самые мелкие подробности отмечаются... со старанием или, лучше сказать, с благоговением, но тонкая и сложная игра действия и воздействия, которыми разъясняются языковые явления, еще полностью не освещена; это скорее собрание наблюдений, а не объяснений» [16, с. 452]. Огромный корпус наблюдений и фактов, собранных в «Немецкой грамматике» и в «Истории немецкого языка», не только послужил основой для создания сравнительной грамматики германских языков, но может служить образцом при описании любой другой группы родственных языков. Важным достижением исторических разысканий Гримма следует признать обоснование родства германских языков на основе установления закономерных звуковых переходов, общности грамматических формантов и основного словарного фонда, а также определение места германских языков в индоевропейской языковой семье с выводом об общем источнике их происхождения. Своими

<sup>3</sup> Гримм различает «свободный» язык» (freie Sprache) как среднюю ступень, «благородный язык» (edle Sprache) как высшую ступень, «несвободный язык» (unfreie Sprache) как низшую ступень языковой иерархии [8, с. XXXII].

историческими штудиями Гримм заложил прочную основу для создания подлинно научной грамматики современного немецкого языка.

Идея развития прочно увязана в мировоззрении Гримма с признанием человеческого происхождения языка. С позиций стихийного материализма Гримм рассматривает языковые изменения не только в их связи с пространством и временем, но и в связи с социальной характеристикой носителей языка, последовательно развивая в своем научном творчестве тезис о тесном взаимодействии истории языка с историей народа.

Собирание и издание произведений устного народного творчества, разыскания в области мифологии, истории германского права и религии, истории немецкого языка, сравнительной грамматики германских языков, работа над созданием «Немецкого словаря» — в каждой из указанных областей Якоб Гримм создал фундаментальные труды, которые во многих отношениях не утратили своего научного значения и по сей день.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Löther B.* Philolog der Nation. Zum Zusammenhang von Sprachgeschichte und Volksgeschichte bei Jacob Grimm. — In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin, Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe, 1965, XIV, S. 463.
2. *Grimm J., Grimm W.* Altdeutsche Wälder. Bd. 1. Cassel, 1813; Bd. 2—3. Frankfurt-am-Main, 1815—1816.
3. *Grimm J.* Reinhart Fuchs. Berlin, 1834.
4. *Grimm J.* Deutsche Mythologie. Göttingen, 1833.
5. *Grimm J.* Deutsche Rechtsalterthümer. Göttingen, 1828.
6. *Grimm J.* Deutsche Grammatik. Bd. 1—4. Göttingen, 1819—1837.
7. *Grimm J.* Geschichte der deutschen Sprache. Bd. 1—2. Leipzig, 1848.
8. *Grimm J., Grimm W.* Deutsches Wörterbuch. Bd. 1—16. Leipzig, 1854—1961.
9. *Benes B. W.* von Humboldt, J. Grimm, A. Schleicher. Ein Vergleich ihrer Sprachauffassungen. Winterthur, 1958, S. 72.
10. *Telegdi Z. S.* Zur Geschichte der Sprachwissenschaft («Historische Grammatik»). — AL, 1966, t. XVI, fasc. 3—4, S. 231.
11. *Grimm J.* Deutsche Grammatik. 2. Aufl. Bd. 1. Göttingen, 1822, S. VI.
12. *Grimm J.* Kleinere Schriften. Bd. IV. Berlin, 1869, S. 65—73.
13. *Ginschel G.* Der junge J. Grimm. 1805—1819. Berlin, 1967.
14. *Grimm J.* — Kleinere Schriften. Bd. VIII. Berlin, 1890. — Rec: *Rask R.* Vejledning til det Islandske eller gamle nordiske sprog. Kjøbenhavn, 1811.
15. *Grimm J.* Kleinere Schriften. Bd. VII. Berlin, 1884.
16. *Meiße A.* Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.—Л., 1938.
17. *Grimm J.* Über den Ursprung der Sprache. — In: *Grimm J.* Kleinere Schriften. Bd. I. Berlin, 1864.
18. *Grimm J.* Geschichte der deutschen Sprache. 4. Aufl. Leipzig, 1880.
19. Briefe der Brüder Grimm an Savigny. Hrsg. von Schnack I. und Schoof W. Berlin — Bielefeld, 1953 (Brief von 29.X.1814).
20. *Schoof W. J.* Grimm und die Anfänge der deutschen Dialektgeographie. — ZfMf, 1963, Bd. XXX, Hf. 2.

## ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

СЕРЕБРЕННИКОВ Б. А.

### ПОЧЕМУ ТРУДНО ВЕРИТЬ СТОРОННИКАМ НОСТРАТИЧЕСКОЙ ГИПОТЕЗЫ?

Развитие сравнительно-исторического изучения языков различных семей всегда сопровождалось стремлением расширить круг родственных языков, протянуть связующие нити от одной семьи языков к другой в целях доказательства их генетического родства в далеком прошлом. Истории лингвистической науки известны попытки сблизить индоевропейские языки с семитскими, угро-финские — с алтайскими, индоевропейские — с тюркскими и урало-алтайскими и т. д.

Имеются попытки сближения тюркских языков с уральскими, тюркских языков с монгольскими, угро-финских с дравидийскими, угро-финских с индоевропейскими, уральских с юкагирским и т. д.

Если в прежнее время в большинстве случаев предпринимались попытки сближения отдельных семей языков, например, семитских с индоевропейскими, тюркских с индоевропейскими и т. д., то современный этап развития этого направления характеризуется стремлением устанавливать группы языков, включающие очень большое количество членов.

Пытаясь генетически связать языки Старого и Нового Света, М. Сводеш приходит к выводу о существовании большой языковой группы, которая была им названа денефинской (*finnodenean*) по обозначению двух пространственно наиболее отдаленных членов этой группы языков дене (атапаскских) и финно-угорских в Евразии.

В. М. Иллич-Свитыч выделяет большую группу родственных языков, которую он назвал нострагической. Эта группа включает шесть языковых групп Старого Света — индоевропейскую, алтайскую, уральскую, дравидийскую, картвельскую и семито-хамитскую.

Стремление отыскать иные родственные языки представляет явление вполне естественное. Истории языкознания известны случаи, когда эти поиски увенчивались успехом. Было время, когда самодийские языки не считались родственными финно-угорским. После появления в 1915 г. работы финского лингвиста Е. Сетяля «Zur Frage nach der Verwandtschaft der finnisch-ugrischer und samojedischen Sprachen» и дальнейших исследований это родство стало установленным, и в настоящее время уже никто не сомневается в том, что данные языки родственны. Это свидетельствует о том, что генетические связи различных языков мира в настоящее время еще недостаточно изучены и не исключена возможность обнаружения новых языков, позволяющих объединить их с какой-либо группой родственных языков, генетические связи которых уже достаточно хорошо известны.

Выше уже говорилось о том, что современное языкознание пытается установить семьи родственных языков, включающие очень большое количество членов. Такая тенденция не случайна. Она имеет определенные причины: 1) сведение большого числа языков разных семей к одному языку необычайно расширяет рамки исторической перспективы. Так, например, если уральский праязык существовал примерно 5—6 тысяч лет тому назад, то нострагический праязык должен залегать значительно глубже; 2) чем большее число родственных языков входит в языковую семью, тем более вероятно сохранение в известной их части глубоких архаизмов. Изучение этих глубоких архаизмов помогло бы во многих слу-

чаях уточнить наши сведения по истории современных языков. Открытие новых фонетических законов и более древних элементов грамматической структуры могло бы дать более точное представление об общих путях развития родственных языков; 3) установление больших групп родственных языков помогло бы точнее определить их географическое положение в глубокой древности.

В различных языках мира<sup>1</sup> иногда могут встретиться сходно звучащие слова. При этом обычно оказывается, что определить их генетическое родство довольно нелегко. Все это можно показать, анализируя различные сходные слова.

Фин. *tinä* «я», татар. *мин* «я», фин. *sinä* «ты», татар. *син*. Созвучие здесь, казалось бы, полное. Однако когда мы обратимся к истории этих личных местоимений, то окажется, что они совершенно не связаны. Фин. *sinä* когда-то звучало как *tinä*. Группа *ti* в финском языке превращалась в *si*, что подтверждается формами родственных языков, ср. эрзя-морд. *тон*, марийск. *тэй*. Татар. *син* «ты» восходит к тюркскому архетипу *\*sän*. Начального *t* в этом слове никогда не было, и оно не родственно фин. *sinä* «ты». Фин. *tinä* «я» также не родственно татар. *мин*. Татар. *мин* восходит к тюркскому архетипу *\*bän*. Начальное *m* в угро-финских языках никаким изменениям не подвергалось, что подтверждается данными родственных языков. Внешнее созвучие и здесь оказалось обманчивым.

Хинди *шрам* «труд», груз. *šroma* «труд». Созвучие здесь также почти полное. Однако эти слова не родственны. В языке хинди слово *шрам* «труд» связано с древнеиндийским глаголом *śramayati* «утомляет». Груз. *š* не происходит из *ś*.

Др.-русс. *яра* «весна», чуваш. *сур* «весна». Чуваш. *сур* «весна» происходит из *\*йар*, которое, в свою очередь, возводится к архетипу *\*jaz*, ср. татар. *яз* «весна», турецк. *yaz* «лето» и т. д. В истории русского языка не было фонетического закона перехода *з* в *р*.

Др.-греч. *helios* «солнце», чуваш. *хёвел* «солнце». Слова созвучные, но не связанные генетически. Др.-греч. *helios* возводится к архетипу *\*savelios* собственно «светлый», от этого архетипа происходит также лат. *sol* «солнце», литов. *saule* и русск. *солнце*. Начальное *x* в чувашском восходит к заднебному *k*, а конечное *l* к билатеральному глухому *l*, которое в других тюркских языках превратилось в *ш*, ср. татар. *кояш* «солнце».

Татар. *кисәк* «кусочек», русск. *кусочек*. Татар. *кисәк* — древнее причастие от глагола *käs-* «резать». *Кисәк* означает «отрезанный». В русском слове *кусочек* корневой гласный *y* восходит к носовому *o* из *он*, ср. ст.-слав. *кѣс*, польск. *kąsek*, литов. *kąsnis*, ср. также литов. *kandu* «я кусаю» [I, II, с. 431].

Эрзя-морд. *кирьга* «шея», чеш. *krk*. Слова созвучные, но не родственные. Морд. *кирьга* скорее связано с фин. *kurkku* «горло», эст. *kurk* «горло», но не с чеш. *krk*.

Эрзя-морд. *муськемс* «стирать», литов. *mazgati*, лтш. *mazgat* «мыть». Несмотря на созвучие, глаголы явно не родственны. В эрзя-мордовском языке глагол *муськемс* по происхождению звукоподражательный, ср. коми-зыр. *мыськыны* «мыть», где содержится специальный суффикс звукоподражательных глаголов *-к (-э)*, ср. коми-зыр. *герчкыны* «крякать», *шувгыны* «шуметь» и т. д. В балтийских языках специального суффикса звукоподражательных глаголов не было.

Эрзя-морд. *панемс* «печь хлеб», лат. *panis* «хлеб». Созвучие этих слов также обманчиво. Известно, что лат. *panis* восходит к *pastnis*.

Фин. *puoli*, эст. *pool*, эрзя-морд. *пель*, русск. *половина*. Несмотря на созвучие, связь этих лексем установить невозможно. Русское слово *половина* связывается с алб. *pale* «сторона, партия, раздел» [I, III, с. 306].

Русск. *на-уча*, татар. *ук-ырга* «учиться». Созвучие не доказывает родства слов, так как вокализм созвучных комплексов *ук* разный. Гласный *y* в *учить*, по-видимому, развился из дифтонга *au*, на что указывает старославянское написание *оучити*. Последнее родственно др.-прусск. *iaukint* «упражнять», литов. *jaukinti* «приучать, укрощать» [I, IV, с. 179]. Гласный *y* в татар. *ук-ырга* исторически восходит к *o*, ср. турецк. *okutak*.

Араб. 'ard «земля», голл. Aard «земля». Сближению этих слов препятствуют фонетические затруднения. Долгое *a* в голландском, по-видимому, вторичного происхождения, ср. нем. Erde «земля» и англ. earth.

Укр. *хмара* «туча», фин. *hämärä* «темный». Созвучие и смысловое сходство этих слов ничего не доказывают, потому что укр. *хмара* родственно русск. *смурый*, *пасмурный*.

Лат. *satis* «достаточный», эрзя-морд. *самы* «достаточно». Несмотря на внешнее созвучие, история у этих слов разная. Лат. *satis* связано с русск. *сытый*, литов. *sotus*, лтш. *sats*, гот. *saþs* «сытый» и т. д. Морд. *самы* «достаточно» связано с финским глаголом *saada* «получать, достигать».

Татар. *каз* «гусь», русск. *гусь*. Известное созвучие этих слов ничего не говорит об их родстве, так как *y* в русском слове *гусь* восходит к носовому *o*, ср. также нем. *Hans* «гусь», тогда как *a* в татарском слове *каз* существовало уже в тюркском архетипе. В современном татарском языке здесь огубленное *a*.

Лат. *homo* «человек», др.-коми.-зыр. *ком* «человек», манс. *hum* «человек». Объединению этих слов препятствуют фонетические затруднения. Латинское начальное *h* не развилось из *k*.

Ст.-слав. *пухати* «дуть», фин. *puhua* «говорить» < «дуть». Созвучие основывается на звукоподражательной конвергенции.

Чуваш. *уç* «открывать», коми-зыр. *воç-ты-ны* «открывать». Элементы *уç* и *воç* не тождественны. Чуваш. *уç* восходит к *ач*-. В коми-зырянском *сь* отражает праязыковое *ś*.

Эрзя-морд. *лымбамс* «волновать», ненец. *лымбалась* «привести в состояние колебания». Созвучие основывается на звуко-символической конвергенции.

Русск. *ключ* «прибор для открывания замка» и *ключ* «источник» — слова разного происхождения. *Ключ* связан со словом *клока*, а *ключ* «источник» — со звукоподражательным глаголом *клокотать*.

Перс. *bād* «плохой», англ. *bad* «плохой» — чисто случайное совпадение.

Эрзя-морд. *лопа* «лист», литов. *lap*, н.-нем. *loof* «листва». Созвучие основывается на звуко-символической конвергенции.

Лат. *pet-o* «выходить», коми-зыр. *пет-ны* «выходить». Здесь также чисто случайное звуковое совпадение.

Этого небольшого списка слов вполне достаточно, чтобы уяснить истину, которая в компаративистике давно стала аксиомой. Для определения генетического родства сходно звучащих слов необходимо знать, как они звучали в прошлом. Иными словами, без истории здесь делать нечего. В дальнейшем оказывается, что одного знания истории также недостаточно. В практике исследования возникают многие частные вопросы, требующие массы оговорок и особых разъяснений.

То же самое наблюдается, когда мы рассматриваем сходно звучащие формативы. Лат. *laudat* «он хвалит» и кирг. *жазат* «он пищет», казалось бы, имеют одинаковое личное окончание 3-го л. ед. ч. *-t*. Но это только внешние впечатления. Лат. *-t* исторически восходит к *-ti*, тогда как кирг. *жазат* «он пищет» некогда звучало как *жазады*, ср. казах. *жазады*, узб. *ёзады*. Некоторые тюркские языки показывают, что элемент *-ад* восходит к *ат-*, который был особым показателем настоящего времени и первоначально присутствовал во всех лицах, ср. чулым. *аладым* «я беру», *аладың* «ты берешь» и т. д.

В грузинском языке есть форматив *(-i)dan*, означающий движение из чего-л., ср. *saxli-dan* «из дома». Сходно звучащие формативы имеются в тюркских языках (например, турецк. *Ankara-dan* «из Анкары») и древнегреческом, ср. *οἶκο-θεν* «из дома». Вряд ли есть основания утверждать, что все эти формативы материально родственны. История тюркского форматива *-дан* более или менее известна. В этих языках он восходит к аффиксу местно-исходного падежа *-да*, к которому был прибавлен показатель направительного падежа *-н*. История греч. *-θεν* неизвестна, а груз. *(-i)dan* < *-it-gan*, где *-it* — аффикс творительного падежа и *-gan* — послелог.

Покойный В. М. Иллич-Свитыч был, несомненно, наиболее ярким пред-

ставителем ностратики. Это был думающий, размышляющий ученый, опирающийся в своих исследованиях различных языков на звуковые соответствия. Однако даже при наличии этих качеств его работы не свободны от существенных недостатков. Чтобы понять сущность ностратики, необходимо прежде всего обращаться к его трудам. Рассмотрим некоторые из приводимых им сравнений. В словаре Иллич-Свитыча содержится немало сопоставлений звукоподражательных слов.

Ностр. *karl*, *kurl* «журавль», араб. *kurkiġ*, арм. *krunk*, греч. γέρανος, фин. *kurke*, малаялам *kurijan*, эвенк. *karav* и т. д. [2, с. 292, 293].

Ностр. *cur*/*cora* «капать», др.-груз. *cwar*- «роса, капля», фин. *sorotta*- «капать», венг. *csorog*- «литься, течь», селькуп. *šor*-, тамил. *cōr*- «сочиться, капать», каннада *sōr*- «капать», брагуи *curr*- «течь», монг. баоаньск. *čur*- «литься» и т. д. [2, с. 198].

Ностр. *bura* «сверлить», семит. \**br*- «прорезать, просверливать», груз. *brun*- «вертеть», греч. φόρος «плуг», лат. *forō* «сверлю», фин. *pura*, хант. *pōr* «сверло», тамил. *pōr* «дупло», узб. *бура*- «вращать», турецк. *bur*- «крутить», тунг. *buru* «водоворот» [2, с. 186, 187].

Ностр. *bur'a* «кипеть, бурлить», копт. *berber*- «вскипать», лат. *fervere*, фин. *porise* «пузыриться, клокотать», тамил. *puṟiṅku*- «обваривать паром» [2, с. 190].

Ностр. *gura* «глотать», араб. *gʷr r'*- «глотать», др.-евр. *gārōn* «глотка», др.-инд. *girāti* «пожирает», греч. βιβρώσκω «пожираю», серб.-хорв. *grlo* «горло, шея», фин. *kurkki*, тамил. *kural*, картв. \**gorg*- и т. д. [2, с. 235, 236].

Ностр. *čap'a*- «бить, рубить», араб. *sfk* «с шумом ударять, шлепать», литов. *skōpti* «выдалбливать», русск. «щепать», вепс. *čappa*- «рубить, резать, сечь», саам. *čurp'ā*- «рубить», венг. *csap*- «ударить», каннада *savaru*- «обрубать ветви», турецк. *çap*-, чуваш. *šur*-, нанайск. *čapči*- «рубить» [2, с. 201].

Ностр. *čaph(a)* «бить». Сопоставляется с сирийск. *čph*- «бить кулаками», ст.-слав. \**tep-ti* «бить», фин. *tappa*- «убить; размалывать (зерно)», венг. *tap-od*- «топтать», монг. письм. *dabta*- «ковать», тунг. \**tapi*- «ковать» и т. д. [3, с. 108—109].

Хорошо известно, а это также является истиной сравнительно-исторического языкознания, что звукоподражательные слова не могут служить доказательством родства языков, поскольку звукоподражательные конвергенции наблюдаются в неродственных языках, ср. фин. *sopottaa*, русск. «шептать», рум. *șopti*, др.-греч. βάτραχος «лягушка», эрзя-морд. *ватраки* «лягушка», др.-греч. κόραξ «ворон», марийск. *корак* «ворон»; чуваш. *шор*- «журчать», коми-зыр. *шор* «ручей», фин. *puuskaa* «дуть», др.-греч. φύσαω, русск. *писк*, фин. *pääsky* «ласточка» и т. д.

Также неправомерно сравнение слов, основанных на звукоимовилике. Так, например, В. М. Иллич-Свитыч рассматривает рефлекс ностратического слова *jela* «светлый». Сюда он привлекает такие слова, как груз. *el*- «сверкать (о молнии)», ненец. *jäl'a* «день, свет, светлый», драв. *el* «блеск», халха-монг. *il* «очевидный, ясный» [2, с. 281, 282].

Здесь также возможны конвергенции. Еще Н. И. Ашмарин отмечал, что весьма характерными звуками для звукоподражательных слов являются в чувашском языке звуки *j*, *r*, *p*, *l* [4, с. 155]. Эти элементы для аналогичных целей используются и в других языках, ср. татар. *йол-дыз* «звезда», *ял-кын* «пламя», *ял-тыр* «сверкать», турецк. *yil-dırım* «молния», русск. *яр-кий*, мар. *йыл-йыл-кояш* «блестеть».

Огромное преимущество компаративиста, работающего на материале и.-е. языков, состоит в том, что он располагает сведениями по истории почти каждого и.-е. языка, взятого в отдельности. Лингвисты, привлекающие огромный материал всевозможных языков, для которых они постулируют генетическое родство, историю конкретных языков, тем более, их отдельных лексем, не знают. Поэтому, когда М. Сводеш приводит такое сопоставление, как фин. *kieli* «язык», нивх. *qha*, греч. γλώσσα «язык» и лат. *garrere* «болтать», то остается непонятным, каким образом из предполагаемого корневого элемента *k'l* могло возникнуть, например, нивх. *qha* «язык». Если предыстория нивх. *qha* неизвестна, то и сопоставление этих слов не может быть надежным.

В словаре Иллич-Свитыча можно найти примеры, свидетельствующие о незнании его автором истории конкретных языков. Вслед за алтаистами В. М. Иллич-Свитыч утверждает, что анлаутный тюрк. *j* многозначен и может восходить как к алт. *j*, так и к *n*, *d*, *ʒ* [2, с. 281]. Превращение *n*, *d*, *ʒ* в *j* противоречит общей типологии изменения *j*. Обычное изменение *j* > *ʒ*.

Пытаясь объяснить историю ненецкого слова *jäl'a* «день, свет, светлый», В. М. Иллич-Свитыч замечает: «Самодийский вариант с *ä* указывает, по-видимому, на исходное \**jela* с последующим влиянием заднерядного вокализма 2-го слога» [2, с. 281]. Скорее здесь *ä* отражает тенденцию к расширению гласного первого слога, наблюдаемую в саамском и ненецком языках.

Рассматривая ностратический суффикс прилагательных, отглагольных и уменьшительных имен *-la*, он объединяет его с грузинским причастным суф. *-il*, ср. груз. *cer-il* «написанный», арм. *sire-l* «любовь», фин. *vete-lä* «водянистый, жидкий», тюрк. *Kyr'y-l* «красный». В. И. Иллич-Свитыч утверждает, что «рассмотренный формант первоначально использовался для образования прилагательных — отглагольных (причастий) и отыменных: эта функция сохранена повсеместно. В результате процессов субстантивации он стал также суффиксом уменьшит. имен» [3, с. 20, 21]. По существу это объяснение неверное. В уральских языках уменьшительный суф. *-la* восходит генетически к окончанию собирательного мн. числа. Из значения уменьшительности не может получиться суффикс отглагольных имен существительных и причастий. Между этими образованиями нет никаких семантических связей.

В. М. Иллич-Свитыч утверждает, что тюрк. \**köl* «озеро» якобы родственен элемент *kgla* в коми-зырянском слове *ty-kgla* «озерко, заболоченное место, мелкий залив» [2, с. 306]. Но дело в том, что первый элемент *ty* здесь уже имеет значение озера. Соединение двух слов *ty* и *kgla*, обозначающих озеро, было бы совершенно бессмысленно.

Рассматривая ностратический суф. прилагательных *-la*, В. М. Иллич-Свитыч сопоставляет такие образования, как фин. *vete-lä* «водянистый» и марийск. *mar-lä* «марийский» [3, с. 20]. Сопоставление явно ошибочное. *Mar-lä* — окаменевшая форма древнего направительного падежа на *-lä*, ср. *yna-la* «в гости». Основное значение *mar-lä* «по-марийски».

Как известно, в прибалтийско-финских языках в окончании серии внешнеместных падежей имеется коэфф. *-l-*, ср. фин. *rannalla* «на берегу» из *ranta-l-na*, *talolla* «на доме» и т. д. Этот коэфф. встречается также в марийском и пермских языках, ср. марийск. *чодра-л-ан*, коми-зыр. *вör-л-ань* «по направлению к лесу».

По мнению Иллич-Свитыча, первоначальная форма аффикса сохранена в именах локативного значения типа фин. *taka-la* «расположенный сзади». Сюда же он присоединяет суф. местного падежа *-la*, встречающийся в тунгусо-маньчжурских языках, ср. эвенк. и эвен. *tō-lä* «на дереве» [3, с. 25, 26].

Дело в том, что показатель серии внешнеместных падежей в финно-угорских языках не мог произойти от суф. *-la*, обозначающего местонахождение, ср. фин. *taka-la* «находящийся сзади». Если бы это было так, то коэфф. *-l-* не приобрел бы суперессивного значения или значения движения от поверхности предмета. Мы предполагаем, что в уральском праязыке существовал особый местный падеж экстралокатив. Он обозначал местоположение, находящееся за пределами данного предмета: над, под, около, вблизи предмета или даже довольно далеко от него.

Предположим, что фин. *talolla* в этих случаях не «на доме», а «вне дома». Нам представляется, что некоторые послелоги и наречия современных финно-угорских языков хорошо сохраняют это древнее значение, ср. норв.-саам. *baggjel* «над», *täyvel* «после», *qu'dal* «перед», *vuollet* «под», марийск. *лишыы* «вблизи», морд. *васоло* «далеко» и т. д. В дальнейшем экстралокатив стал развиваться в двух направлениях: в одних языках он образовал серию внешнеместных падежей, в угорских был использован для образования аблатива, венг. *városból* «из города», *könyvből* «из книги»,

манс. *колныл* «из дома». Понятие местонахождения за пределами данного предмета могло быть переосмыслено как местонахождение на чем-л. или же оно оказалось связанным с идеей вывода чего-л. наружу. Отсюда развивалось значение обско-угорского аблатива.

В. М. Иллич-Свитыч утверждает, что в ностратическом праязыке существовала частица направительного значения *К*. Ее рефлексы: предлог *к* «по направлению к» в семитских языках, в уральских языках суф. *-к*, *-ка*, ср. финское наречие *ala-k* «вниз», саам. *do-kko* «туда», марийск. *vel'-ke* «в сторону» и т. д., в тамильском суф. *-kku*, ср. др.-тамил. *ṅ-gu-kku* «в деревню». Сюда же присоединяется суф. дательного-направит. падежа *-ga*, *-kā* в тюркских языках, ср. др.-тюрк. *qaγan-ga* «хану, к хану» [2, с. 368, 369]. Вместе с тем возникает вопрос: был ли падеж с таким окончанием в тюркских языках в древности? По всей видимости, его не было.

Основным предметом спора тюркологов является вопрос, может ли аффикс *-ка* делиться на составные элементы. К. Менгес рассматривает его элемент *а* как древнейший показатель дательного (дательного-направит.) падежа, который в сочетании с *к*, также являющимся, по его мнению, аффиксом дательного падежа, образовал аффикс *-ка* [5, с. 110].

А. М. Щербак, солидаризируясь в этом отношении с О. Бётлингком, высказывает предположение, что аффикс дательного-направит. падежа *-а* в огузских языках восходит к *-га* [с. с. 37].

Аффикс *-ка* мог бы упроститься в *-а*, если бы он был трудно произносимым или какие-нибудь процессы в самих тюркских языках вели к его упрощению. Однако в действительности оба эти обстоятельства отсутствовали. Нельзя абстрагироваться и от того бесспорного факта, что даже в тех тюркских языках, где сохранился, по мнению А. М. Щербака, аффикс древнего дательного-направит. падежа *-ка*, наряду с ним существует и вариант *-а*; ср. татар. *кызыл-а* «моей дочери», *кызыл-а* «его дочери», по *урман-га* «в лес», *тавык-ка* «курице» и т. д. Так почему же древний аффикс дательного-направит. падежа *-ка* в формах притяжательного склонения упростился в *-а*?

Проблема происхождения первого составного элемента аффикса дательного-направит. падежа *-ка* остается актуальной. Нам представляется, что в свое время В. Банг в поисках ее решения напал на правильный след. Он сопоставил элемент *к* с начальным согласным в аффиксе *-кы*; ср. *ташкы* «внешний» [7, с. 52]. Такой аффикс в тюркских языках действительно существует, ср. татар. *югары-гы* «верхний», *алда-гы* «передний», *түбән-ге* «нижний», *ос-ке* «верхний», туркм. *уч-кы* «крайний, конечный», узб. *ич-ки* «внутренний», каз. *ал-гы* «передний», каракалп. *дүзги* «находящийся в поле», ног. *иш-ки* «внутренний» и т. д. Не исключена возможность того, что в некоторой части тюркских языков, в языках кыпчакских, происходило соединение древнего показателя дательного-направит. падежа *-а* с суф. *-кы*, который таким образом становился коаффиксом. Отсюда можно сделать вывод, что аффикс дательного-направит. падежа в кыпчакских тюркских языках имеет более позднее происхождение и его совершенно неправомерно сопоставлять с суф. дательного-направит. падежа *-ка* в уральских языках.

В. М. Иллич-Свитыч утверждает, что в ностратическом праязыке существовал показатель прош. времени *-d*. Рефлексами его в современных языках являются: грузинский суф. имперфекта *-d(i)*, показатель прош. времени *-ды*, *-ди* в тюркских языках, суф. деепричастия (*converbiūm imperfecti*) *-dži*, *-či* в монгольском языке, показатель претерита *-at-*, *-et-* в корейском языке [2, с. 218].

Здесь прежде всего неизвестно, что предшествовало этим прошедшим временам в истории этих языков. Чем объяснить, что формант прош. времени *-ды*, *-ди* в тюркских языках использует притяжательные суффиксы вместо личных окончаний? Если в монгольских языках *-dži*, *-či* — показатели деепричастия, то из деепричастия простое прошедшее развиться не может.

По мнению Иллич-Свитыча, в ностратическом праязыке существовал показатель косвенной формы имен и местоимений *-л*. В и.-е. языках это со-

стойные сохраняется в гетероклитическом склонении имен существительных, ср. др.-инд. *yák-r-t* «печень», род. п. ед. ч. *yák-n-ás*, лат. *femur* «бедро», род. п. ед. ч. *fem-in-is*, русск. я, род. п. *меня*, фин. *minu-* «меня» от основы *mi*, чуваш. *ebě* «я», но форма род. п. ед. ч. *man-än* «меня» и т. д. После формирования разветвленной парадигмы склонения функции формы на *-n* были сужены: она была сохранена как форма родительного падежа [3, с. 79].

Действительно, в окончаниях род. падежа в ностратических языках наблюдается определенное сходство, ср. фин. *kala* «рыба», род. п., ед. ч. *kala-n* «рыбы», монг. письм. *gar* «рука», род. п. ед. ч. *gar-un* «руки», др.-тамил. *ür* «деревня», род. п. ед. ч. *ür-in* «деревни». В тюркских языках, по мнению В. М. Иллич-Свитыча, в результате слияния первичного окончания *-n* с суф. прилагательного \* *-ki* образовался показатель род. падежа *-iŋ, -uŋ* [3, с. 79—80].

Такое объяснение окончания род. падежа в финно-угорских и тюркских языках довольно противоречиво. Косвенные основы местоимений, включающие элемент *-n* в тюркских языках, существовали уже в тот период, когда окончания род. падежа не было. Элемент *-n* обозначал любой косвенный падеж, а не только родительный, ср. турецк. *şu* «[вот] этот, тот», *şu-n-un* «того», *şu-n-a* «тому» и т. д. Функции род. падежа первоначально выполняла изафетная конструкция, ср. якут. *am baŋa* «голова лошади» (букв. «лошадь голова ее»). Никакого перерождения косвенной формы в род. падеж здесь вообще не могло быть. Суффикс род. падежа в тюркских языках образовался в результате использования окончания инструктива, в связи с чем употребление инструктива в тюркских языках сильно сократилось. В настоящее время реликты инструктива сохраняются только в некоторых наречиях, ср. турецк. *yaz-in* «летом», *kiş-in* «зимой», татар. *kөne(n)-төne(n)* «днем и ночью» и т. д.

В финно-угорских языках окончание род. падежа также, по всей видимости, представляет окончание инструктива, ср. марийск. *ял-ын* «деревни», *йол-ын* «пешком». После вычета коэфф. *л* в окончании род. падежа *-лөн* в коми языке совершенно явно обнаруживается элемент *-өн*, совпадающий с окончанием твор. падежа, ср. *чер-өн*, «топором».

В ностратическом языке, по мнению Иллич-Свитыча, существовала локативная частица *-da*, которая первоначально употреблялась как энклитика главным образом с местоимениями и основами, содержащими указания на местоположение в пространстве. Лишь позднее она стала употребляться в постпозиции с именами, превратившись в конце концов в формант падежа [2, с. 212—214].

К этой локативной частице возводится формант аблатива в и.-е. и уральских языках, ср. др.-инд. *ma-t* «от меня», оскск. *tout- ad* «из общины», фин. паритив, например, *talo-a* «дом», первоначально *talo-da* «от дома», а также формант аблатива *-ttu, -du* в дравидийских языках и формант аблатива-локатива *-ta* в древних тюркских языках.

Однако сильные различия в значениях аблативного суффикса в различных ностратических языках дают основания сомневаться в генетическом тождестве всех сходно звучащих формантов.

В и.-е. и уральских языках формант имеет аблативное значение. В тюркском языке он имел одновременно и локативное и аблативное значения, ср. орх. *таŋ-да* «на горе», но *қаған-да* «от хана», в монгольских языках этот формант имеет локативное и лативное значения, ср. бурят. *буланд-да* «в углу» и «в угол». В семито-хамитских и картвельских языках этот формант имеет лативное значение.

Аблативное значение не может быть выведено из лативного значения, являющегося его прямой противоположностью. Равным образом из лативного значения никогда не получится аблативное. Неувязка здесь явная.

Рассматривается ностратический суф. *-mA*, образующий отглагольные и отыменные имена. Приводятся параллели из различных языков, ср. араб. *mi-ftab* «ключ», сюда же относится картв. *-m-*, префикс причастия, ср. сред.-груз. *m-čep-* «видимый». В и.-е. языках это суффикс отыменных и отглагольных производных имен, ср. н.-е. \**dhuH-mo-* «дым» от *dheuH-*

«дуть», греч.  $\theta\acute{\upsilon}\rho\acute{o}\varsigma$ , лат. *fūtus*, литов. *dūtai* «дым». В уральских языках это суффикс отыменных и отглагольных имен *\*-ma*, *\*-mä*, ср. фин. *juo-ma* «питье». В дравидийских языках это *\*-mai*, тамил. *roḡi-mai* «терпение», др.-каннада *-me*, *tudi-me* «главенство». Сюда же привлекаются тюркский суф. *-ma*, *-mä*, а также *-ma-k*, *-mä-k* и монгольский суффикс имен, указывающих на возможность действия, ср. монг. письм. *qajīqa-ma* «удивительное». Сюда же присоединяется и тунгусский суффикс отыменных и отглагольных прилагательных *-ma*, *-mä* в тунгусо-маньчжурских языках [3, с. 45—47]. Однако В. М. Иллич-Свитыч не учел, что тюркский суф. *-ma*, *-mä* развился в особых фонетических условиях из *\*-ba*, *\*-bä*. Поэтому он никак не может быть материально родственным.

Не менее любопытно сравнение показателя маркированного объекта в ностратических языках, ср. др.-инд. *vṛka-m* «волка», лат. *lupu-m* «волка», фин. *kala-n* «рыбу», марийск. *kol-ḡm* «рыбу», тамил. *tara-m* «дерево». Сюда же присоединяется показатель *\*-ba*, *\*-bä* в тунгусо-маньчжурских языках [3, с. 48—49].

Однако и в этих объяснениях имеются противоречия. В и.-е. языках винительный падеж возник, по-видимому, на базе какого-то латива, ср. др.-инд. *gramam gačhati* «идет в деревню», лат. *Roman ire* «идти в Рим». В финно-угорских языках винительный падеж не обнаруживает этого значения. В тунгусо-маньчжурских языках окончание вин. падежа *-ba*, *-bä* никак нельзя отождествить с и.-е. или финно-угорским окончанием этого падежа. Также неправомерно присоединять сюда и окончание вин. падежа в ненецком языке *-m'*, поскольку в других ностратических языках *-m* не имеет никаких наращений.

В. М. Иллич-Свитыч конструирует ностратический глагол *mysa* «мыть», араб. *mys* «мыть, чистить», лат. *mergō* «ныряю», лтш. *mazgāt* «мыть», урал. эст. *mōske-*, эрзя-морд. *muške-*, коми *mysk-*, драв. каннада *mī* «мыть» [3, с. 71]. Суф. *-k*, *-g* в финно-угорских языках совершенно явно свидетельствует о том, что это глагол звукоподражательный. Здесь возможны случайные конвергенции. Принадлежность к звукоподражательным глаголам дравидийского глагола *mī-* и русск. *мыть*, напротив, сомнительна.

В словаре В. М. Иллич-Свитыча встречается немало неудачных сопоставлений. Приведем некоторые из них.

Ностр. *gāti* «рука» сравнивается с др.-инд. *hāsta*, греч. (ионийск.)  $\chi\epsilon\acute{\iota}\rho$ , фин. *kāte-*, эрзя-морд. *ked'*, тамил. *kai* [2, с. 227]. Драв. *kai* нельзя свести к *gāti* так же, как и др.-греч.  $\chi\epsilon\acute{\iota}\rho$ .

Ностр. *kāl* «рыба» выводится из ю.-араб. *kāl* «жит», фин. *kala* «рыба», венг. *hal*, тунг. *\*kali-ma* «жит» [2, с. 288, 289]. Связь тунг. *\*kali-ma* и араб. *kāl* «жит» с фин. *kala* маловероятна.

Ностр. *gol* «сердце». Сравнивается с груз. *gul* «сердце», др.-уйг. *qōl* «сухой дол», халха-монг. *gol* «река; внутренность, середина» [2, с. 231]. Сравнение маловероятно.

Ностр. *Homsa* «мясо», лат. *membrum* «член», ст.-слав. *męso*, ненец. *ḡamsā* «мясо», селькуп. *apsa* «еда», тайги *apsa* «еда» [2, с. 252]. Ненец. *ḡamsā* «мясо» нельзя сопоставить со ст.-слав. *męso*, так как в ненецком *m* чередуется с *p*, ср. тайги *apsa*.

Ностр. *Calī* «обвязывать, привязывать», фин. *solme/solmu-*, саам. (сев.) *ḡuol'bmā-*, эрзя-морд. *šulmo* «узел», татар. *čal-* «привязывать», турецк. *çalma* «чалма, тюрбан», корейск. *čaryu-* «подвешивать (за шею), крепко обвязывать». При этом Иллич-Свитыч замечает: «Соответствие урал. *š-* ~ алт. *š-* в начале основы может указывать на исходный *\*ç-* или *\*c-*» [2, с. 200]. Саамское *č* возникло из *š*, а не из *č*.

Ностр. *Carā* «затвердевшая корка». Рефлексом этого слова считается швед. *skare* «наст на снегу» и др.-русск. *скорá* «шкура» [2, с. 205]. Сомнительно, чтобы из *č* получилось *sk*.

Ностр. *-či* — формант фреквентативных и итеративных глаголов, ср. хетт. *-šk-* итератив-дуратив. В остальных и.-е. языках *\*-sk*. Сюда же привлекается фин. *tse-*, например, *tuoski-tse-* «хлестать», морд. *mor-šə-* «напевать (часто)», венг. *tapo-s-* «наступать (часто)» [2, с. 206]. Здесь также неясно, как из *č* получилась группа *sk*.

При восстановлении архетипов их свойства никогда не задаются заранее. Они обычно выводятся из состояния рефлексов. Возьмем наглядный пример такой реконструкции. Имеется ряд соответствий: др.-греч. θερμός «теплый», арм. *žert*, лат. *formus* нем. *warm*. Сравнение тадж. *гарм* с арм. *žert* «теплый» говорит о том, что в древности на месте современного тадж. *a* был, очевидно, звук *e*, в противном случае в соответствующем армянском слове древнее *g* не могло бы превратиться в аффрикату *ž*. Таким образом, устанавливается более древний облик таджикского прилагательного *germ*. Привлечение древнеиндийского соответственного прилагательного *gharmāḥ* (корень *gharm*) еще более проясняет картину. Др.-инд. *gharmāḥ* свидетельствует, во-первых, о том, что древнее *g* было не простым, а придыхательным. Слово оканчивалось на *h*, которому предшествовал какой-то гласный. Для уточнения картины привлекается др.-греч. θερμός (корень θερμ-) с тем же значением. Привлечение греческого слова помогает установить, что конечным согласным был первоначально не *h*, а *s*, а древнеиндийский гласный *a* в корне этого слова развился из *e*, в отличие от *a* второго слога, восходящего к *o*. Греч. θ (th), представляющее результат видоизменения древнего *gh* перед *e* в *th*, еще раз подтверждает предположение, что это *g* было не простым, а придыхательным, иначе невозможно объяснить придыхательность *th*.

Сопоставление тадж. *гарм* «теплый» с нем. *warm* «теплый» и лат. *formus* «теплый, горячий» указывает, что начальный звук этого слова был лабиализованным, что создавало предпосылки для развития губного звука. Лабиализация, усилившись в отдельных языках, привела к образованию губных спирантов *w* и *f*. Таким образом, становится вероятным предположение, что тадж. *гарм* развилось из более древнего архетипа \**gh<sup>w</sup>ermos*.

Вместе с тем известны случаи, когда и.-е. *gh* в древнегреческом соответствует глухой придыхательный *kh*, а в некоторых других и.-е. языках спирант *z* или *ž*. Сравним, например, греч. χειμῶν «буря», этимологически родственное русск. *зима*, литов. *žieta* и тадж. *зимистон*. Если древнее *gh* и.-е. языка-основы могло в таджикском переходить в *z* в слове *зимистон*, то почему *gh* архетипа \**gh<sup>w</sup>ermos* не превратилось в таджикском языке в *z*? Почему «теплый» звучит как *гарм*, а не *зарм*? Это, конечно, также не случайно. По-видимому, было два типа древних *gh* — одно задненебное, а другое — средненебное. Средненебное превратилось в некоторых языках в спирант, а задненебное здесь сохранялось, хотя и могло терять придыхание. Окончательно можно установить, что *g* в тадж. *гарм* исторически восходит к придыхательному лабиализованному и задненебному *g*.

У В. М. Иллич-Свитыча такой метод постепенного вывода архетипа, по-видимому, не принимается. Архетип у него нередко оказывается заранее заданным. Например, все согласные, установленные алтаистами для алтайского праязыка, переносятся Иллич-Свитычем в плоскость ностратического праязыка.

Ностр. \**al'a* «пицца», др.-евр. 'ēl «сила», лат. *alo* «кормлю», тамил. *al* «сила, твердость», алт. \**al'* «пицца», туркм. *aš*, азерб. *aš* «еда» [2, с. 259].

Если это было палатализованное *l* особого рода, то почему в тюркских языках оно могло присутствовать в заднерядных основах? Каким образом татарское *аш* могло произойти из *al'*, когда мягкость согласного в тюркских языках определяется законом гармонии гласных?

Ностр. *nārga* «молодой, новорожденный», др.-евр. *nā'ar* «мальчик, юноша», др.-верх.-нем. *jār* «год», фин. *nuore* «молодой», телугу *nāru* «молодые побеги, саженцы», тюрк. *nār* (> \**jār*) «весна», др.-тюрк. *jaz* «весна», монг. *nirai* «новорожденный, свежий» [3, с. 83—84].

Снова возникает вопрос. Если слово *jaz* «весна, лето» в тюркских языках возникло из *jar'*, то как палатализованное *r* могло существовать в основе с заднерядным гласным, если палатальный или веларный *r* определялся в этих языках законом гармонии гласных?

Ностр. *duli* «огонь», фин. *tule* «огонь», тамил. *tulaṅku* «сиять», тюрк. \**juḷy-* «теплый», монг. \**čula-gan* «теплый» [2, с. 221]. Каким же образом мог совершиться этот совершенно невероятный переход *d* > *j*? Оказывается, Иллич-Свитыч здесь просто использовал утверждение алтаистов, будто

бы начальный алтайский *d* в пратюркском превращался в *j* [8, с. 22]. Кроме того, гласный *u* в истории тюркских языков никогда не превращался в *y*.

Ностр. *ñiKa* «шейный позвонок, шея», фин. *nikata* «позвонок», манс. *nak* «узел стебля, сустав», селькуп. *niyu* «ключица», тюрк. \**jaKa* «ворот, воротник», негидал. *niñinna* «шея» [3, с. 92]. Все это сравнение опять-таки строится на утверждении алтаистов, будто бы праалтайский начальный *ñ* в тюркских языках превращался в *j* [8, с. 36]. Кроме того, здесь возникает другой вопрос, как в тюркских языках первоначально могло удерживаться палатализованное *n* при твердой основе, содержащей заднерядные гласные, например, *ñaKa* «воротник» > *jaqa*?

Ностр. *šehr'a* «бодрствовать», семит. *šhr* «бодрствовать», лат. *servō* «спа-саю, охраняю», фин. *herää* «просыпаться», азерб. *sez-*, турецк. *sez-*, монг. письм. *seze-* «бодрствовать» и т. д. [3, с. 107].

Нельзя не заметить, что здесь также применен звуковой закон, установленный алтаистами, будто бы палатальное *r* в интервокальном положении может перейти в *z*. На самом деле интервокальное *r* в *z* перейти не может. Первоначальный спирант *s* может превратиться в интервокальном положении в *z*. По причине дальнейшего ослабления смычки *z* может превратиться в *r*, ср. лат. *genus* «род» из \**genos*, род. п. ед. ч. *generis* «рода» из *genesis* > *genezis* > *generis*.

А. Манье объясняет механизм этого превращения следующим образом: «Колебания голосовых связок, необходимые для произношения гласных, захватывают по инерции как предшествующий, так и последующий гласный, одновременно влияя на произношение *s*, которое превращается в *z*. Гласные фонемы большей степени открытости способствуют большей степени открытости *z*. Как фонема слабой артикуляции *z* не может противостоять их влиянию. Кончик языка удаляется от резцов, поднимается к альвеолам. Произносительные органы, находящиеся в этом положении, обычно произносят альвеолярное *r*» [9].

Интервокальное положение звука всегда способствует расширению затвора, а не сужению его. Если верить алтаистам и В. М. Иллич-Свитычу, то здесь происходит нечто противоестественное. В интервокальной позиции затвор сужается. Интервокальное *r'* переходит в *z*.

Алтаисты утверждают, что в алтайском праязыке существовал начальный *p*, который в прамоңгольском еще сохранялся, в среднемонгольском ему соответствовал *h*, который, возможно, переходил в *ф*. В корейском ему соответствует *p* и *ph*, а в тюркских языках ему соответствовал *h*, который позднее исчезал [8, с. 10].

В. М. Иллич-Свитыч сделал вывод, что это начальное *p* существовало и в ностратическом праязыке.

Для того, чтобы доказать былое наличие начального *p*, необходимо вообще убедительно доказать генетическое родство алтайских языков, которое, по нашему мнению, само нуждается в доказательстве.

Тем не менее В. М. Иллич-Свитыч утверждает, что тюркское слово *irg* (др.-уйг.) «предсказание, пророчество, гадание, доля, судьба» [10, с. 120] некогда имело начальное *p*, и на этом основании он сближает его с нем. *fragen*, русск. *просить*, литов. *piršti* и т. д. [10, с. 111—120]. Все долготы в ностратическом праязыке В. М. Иллич-Свитыч рассматривает как результат выпадения ларингалных. Получается, что только выпадение ларингалных является действительным средством образования долготы.

В словаре Иллич-Свитыча встречаются рассуждения, обнаруживающие нарушение некоторых типологических закономерностей. Так, например, Иллич-Свитыч утверждает, что в ностратическом праязыке существовала частица *Hi*, указывающая на прошедшее время, и рассматривает ее рефлекс в современных языках.

В берберском — это показатель претерита *-i*, ср. шельха *ft-i-g* «я ушел», в картвельском это суффикс аориста, ср. др.-груз. *gavdriq-e* «я согнул», в и.-е. языках это аугмент, ср. др.-инд. *ābharat* «он нес», др.-греч. ἔφερε. Иллич-Свитыч предпологает, что в ряде и.-е. языков она могла использоваться и после основы, ср. арм. *bere-i* «я нес», в финском языке это про-

шедшее на *-i*, ср. *sano-i* «он сказал», малаялам. *pāṭ-i* «пел» [2, с. 249, 250]. Обращение с этой частицей у Иллич-Свитыча довольно произвольное. Он утверждает, что она могла бы присоединиться к глаголу в качестве проклитики или энклитики. Так ли это? В древнегреческом языке аугмент развился, по-видимому, из какого-то наречия и примкнул к глаголу относительно поздно. В языке Гомера употребление его еще факультативно. Кроме того, в и.-е. языках наблюдается явная тенденция к препозиции наречий. Поэтому эта наречная частица никак не могла лечь в основу показателя прош. времени *-i*.

При реконструкции вокализма ностратического праязыка Иллич-Свитыч явно ориентируется на уральские и и.-е. языки, а при реконструкции консонантизма на картвельские. В результате оказывается, что ностратический праязык обладал довольно большим количеством согласных и вполне достаточным количеством гласных. Но это язык не естественный.

В языках мира существует определенная взаимозависимость между системой гласных и согласных. Если резко уменьшается количество различных типов согласных, то этот недостаток обычно компенсируется увеличением количества типов гласных и дифтонгов. Наглядным примером может служить финский язык, в котором скудость системы согласных компенсируется развитием системы гласных и дифтонгов. В некоторых языках Кавказа, например, в абазинском, слабое развитие системы гласных компенсируется очень большим количеством согласных. В постулируемом Иллич-Свитычем ностратическом праязыке недостатка в гласных и согласных не было.

При реконструкции консонантизма ностратического праязыка Иллич-Свитыч отдает предпочтение данным семитских и картвельских языков.

Ностр. *qowē* «отверстие», ср. араб. *ḥāwā* «пустое пространство, пустота», фин. *ovi* «дверь», манс. сев. (Сосьва) *āwi*, прахант. *эу*, вост.-хант. *эу*, тамил. *āvi* «знять, зевать», малаялам. *āvi iṭ-* «зевать» [10, с. 130, 131].

Слабость этой реконструкции состоит в том, что начальное *q* устанавливается только на основании семитского начального *ḥ*. Больше во всех других языках оно не проявляется. Срединное *w* установлено неправильно, так как в хантыйских формах типа *эу/ү* не могло возникнуть из *w*. Скорее, оно могло возникнуть из первоначального *γ*.

Все эти недостатки вызывают сомнение в правильности реконструкции вокализма и консонантизма ностратического праязыка, и эти сомнения вполне оправдываются.

В свое время мы пытались выяснить, что может дать для истории финского языка реконструкция фонетической структуры ностратического праязыка.

Оказалось, что гласные ностратического праязыка в финском языке во многих случаях остались без изменений [11, с. 56].

Здесь мы встречаемся с одним из поразительных феноменов в истории языков. Ностратический язык существовал, как полагают, примерно 10—13 тысяч лет назад. На протяжении этого громадного периода вокализм этого праязыка сохранился в финском языке без каких-либо существенных изменений. Допустим теперь, что наш общий вывод ошибочен. Малая результативность ностратической гипотезы применительно к истории финского языка оказалась просто случайной.

При сравнении тюркских и монгольских гласных с гласными ностратического праязыка мы вновь встречаемся с удивительным парадоксом. Многие ностратические гласные в тюркских и монгольских языках не подвергаются никаким существенным изменениям.

Чем объяснить такие неожиданности? Очевидно, их причиной является какой-то серьезный порок, скрытый в самой системе доказательств генетической родства ностратических языков. По всей видимости, В. М. Иллич-Свитыч начинал со сбора созвучий и только потом старался подчинить их определенной системе звуковых соответствий. Можно предполагать, что в этой системе была масса всякого рода натяжек и допусков. По этой причине здесь возник конфликт между кажущимися автору соответствиями

и фонетически ничего не значащими случайными звуковоспадениями. Теперь остается ответить на главный вопрос: «Почему трудно верить сторонникам ностратической гипотезы?». По всей вероятности, потому, что они не разработали более совершенных методов доказательства генетического родства языков. В их системе много неточностей и нарушений установленных наукой правил.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. I—IV. М., 1964—1973.
2. Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков. Введение. Сравнительный словарь (b — K). М., 1971.
3. Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков. Сравнительный словарь (l — ž). М., 1976.
4. Ашмарин Н. И. Подражания в языках Среднего Поволжья. I, II. Баку, 1925.
5. Menges K. The Turkic languages and Peoples. An introduction to Turkic Studies. — Ural-altaische Bibliothek, 1968, XV.
6. Щербак А. М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков (Имя). Л., 1977.
7. Bang W. Vom Kokturkischen zum Osmanischen. I. Berlin, 1917.
8. Poppe N. Vergleichende Grammatik der altaischen Sprachen. 1. Wiesbaden, 1960.
9. Maniet A. L'évolution phonétique et les sons du latin ancien dans le cadre des langues indoeuropéennes. Paris, 1964, p. 18.
10. Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков. Сравнительный словарь (p — q). М., 1984.
11. Серебrennikov B. A. Проблема достаточности основания в гипотезах, касающихся генетического родства языков. — В кн.: Теоретические основы классификации языков мира. Проблема родства. М., 1982.

БЕРНШТЕЙН С. Б.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НОСТРАТИЧЕСКОЙ ГИПОТЕЗЕ

Мне уже давно хотелось печатно высказать свое мнение о работах в области ностратического языкознания, несмотря на то, что ни по своей профессиональной подготовке, ни по своим специальным интересам я не могу участвовать в дискуссии по конкретным вопросам этого труднейшего раздела языкознания. Импульсом выступить теперь в печати явились недавно опубликованная статья ленинградского тюрколога А. М. Щербака «О ностратических исследованиях с позиции тюрколога» [1] и призыв редакции журнала начать дискуссию «по проблемам ностратических исследований». Имеются, однако, и личные причины. Во-первых, Владислав Маркович Иллич-Свитыч вошел в науку о языке под моим руководством; во-вторых, работа по подготовке ностратического словаря с самого начала шла в Секторе славянского языкознания Института славяноведения и балканистики АН СССР, которым я руководил с самого основания Института. Санкционировав эту тему, я, естественно, взял на себя большую ответственность. Не буду скрывать, что я принял это решение после длительных колебаний и сомнений.

В нашей науке не уделяется серьезного внимания исследованиям тех древнейших элементов в индоевропейских языках, которые как будто свидетельствуют о генетическом их родстве с многими неиндоевропейскими языками Старого Света. Работы в этом направлении могли легко скомпрометировать самого авторитетного ученого. Так случилось, например, с известным итальянским лингвистом А. Тромбетти, который сравнивал слова и морфемы из языков различного происхождения, порой не очень заботясь о точном восстановлении древнейших архетипов и их истории. Важность проблемы изучения родства языков Старого Света хорошо понимал выдающийся датский лингвист Х. Педерсен, который еще в 1903 г. полагал, что для реализации общих идей пока не пришло время. Это подтверждали многочисленные дилетантские сопоставления фактов из языков различных семейств Старого Света. Педерсен отлично понимал, что ностратические сопоставления станут отвечать требованиям научного метода лишь при выявлении закономерностей фонетической эволюции неиндоевропейских языков, на основе которой можно будет решать задачи этимологии этих языков, устанавливая их древнейшие архетипы. Кроме того, он обращал внимание на необходимость четкого отграничения исконных элементов от заимствованных.

В. М. Иллич-Свитыч через 50 лет после Педерсена пришел к выводу, что теперь уже можно начинать серьезные исследования взаимоотношений языков Старого Света на их древнейшей ступени развития. Это обеспечивали большие достижения ученых XX в. в области неиндоевропейской этимологии, труды Б. Коллиндера, Б. Розенкранца, Г. Рамстедта, Д. Немета, М. Рясанена, П. Мериджи, В. Полака, М. Козна, К. Менгеса, К. Боуды, Г. Мёллера, Г. А. Климова, Т. В. Гамкрелидзе и др. Конечно, никто из названных ученых не может нести ответственности за решение молодого ученого. Сам Иллич-Свитыч прекрасно понимал, что он поставил перед собой грандиозную задачу, решение которой потребует от него титанического труда. Не буду скрывать, что я предпринимал активные усилия, чтобы вернуть моего самого талантливого ученика в лоно славистики, балтистики и балканистики. Я действовал так не потому, что был заражен антиностратическим микробом. Мне просто было жаль терять исследовате-

ля, способного в указанных выше областях языкознания оставить очень большой след. Об этом свидетельствовали уже его первые публикации, особенно его монография «Именная акцентуация в балтийском и славянском» (1963), получившая чрезвычайно высокую оценку крупнейших акцентологов нашего времени.

В. М. Иллич-Свитыч обладал выдающимся талантом исследователя, способностями полиглота, необыкновенной работоспособностью и умением трезво оценивать результаты своего труда. Могу с уверенностью сказать, что он взялся за решение труднейшей задачи современного языкознания не от легкомыслия. Оно было органически чуждо его природе. Иллич-Свитыч знал, что его ждет, но он «не боялся глубокой воды».

Иллич-Свитыч начал искать ответа на ностратическую гипотезу в одиночестве. Лишь позже к нему присоединилось несколько способных ученых. Среди них первое место занимает В. А. Дыбо, который в настоящее время руководит большим коллективом специалистов по самым различным языкам Европы, Азии и Африки. Критикам словаря Иллич-Свитыча об этом следует подумать. Почему как будто легкомысленное предприятие дало такой мощный толчок развитию целого направления в современном языкознании? Нет сомнений в том, что многие ностратизмы из словаря Иллич-Свитыча в будущем строгой критикой будут изъяты, но это лишь повысит удельный вес тех, которые выдержат эту критику. Я уже не говорю, что будет выявлено много новых элементов.

Существует мнение, что стремление Иллич-Свитыча «во что бы то ни стало доказать родство ностратических языков» приводит автора к неосторожному обращению «с конкретным языковым материалом» (с. 35). В данном случае мы имеем дело со сложным психологическим явлением. Конечно, молодой ученый стремился увеличить число ностратизмов, расширить круг индоевропейских языков. Это легко понять. А разве сторонники, например, теории балто-славянского праязыка не стремятся всеми средствами увеличить число фактов, которые якобы подтверждают эту теорию? Критиковать Иллич-Свитыча нужно не за его увлеченность ностратической гипотезой, а за конкретные ошибки, допущенные им в области этимологии тех языков, которые он не успел фундаментально изучить. Эти ошибки хорошо известны тем, кто теперь работает под руководством В. А. Дыбо. Отдельные из ошибок были известны уже Иллич-Свитычу. Вот почему некоторые этимологии из предварительных публикаций сам Иллич-Свитыч не включил в первый том словаря. По непонятной причине А. М. Щербак не обратил на это внимания.

Многие лингвисты полагают, что исследования в области проверки ностратической гипотезы должны проводить лишь сторонники этой гипотезы. Убежден, что это заблуждение. Очень полезным явится участие тех специалистов, которые полагают, что современные языковые семейства Старого Света искони представляли собою изолированные группы, генетически не связанные между собой. Следует лишь проводить эту проверку доброжелательно и спокойно. Нужно ясно отдавать себе отчет в том, что исследования в области ностратического языкознания беспроигрышны при любом ответе на основной вопрос. Пока ответа еще нет. Он будет получен в будущем в результате дружной работы тех лингвистов, которые интересуются проблемой языковых отношений на территории Европы, Азии и Африки в эпоху мезолита и неолита. Эти исследования имеют самое прямое отношение к древнейшей истории индоевропейских языков, к процессу формирования индоевропейского праязыка и его диалектов. Еще совсем недавно индоевропейцы не спускались ниже II—III тысячелетия до н. э. В результате применения новейших достижений внутренней реконструкции, усовершенствования методики этимологического анализа, привлечения новых данных древнейших индоевропейских языков нижнюю границу удалось значительно углубить. Нет сомнений, что в будущем сравнительно-исторические исследования языков Старого Света бросят свет на еще более отдаленные времена. Конечно, восстановить реальную языковую ситуацию периода формирования современного человека пока, при современных средствах науки, невозможно. Но будет ли

так всегда? Я не стал бы вслед за В. А. Дыбо утверждать, что ностратическое языкознание не имеет никакого отношения к проблеме реконструкции отдельных элементов языка homo sapiens'a. Каждая эпоха в истории нашей науки устанавливает свою нижнюю границу изучения языка человека. Мы не знаем и не можем знать о возможностях исследований будущих столетий. Однако мы должны сделать все, чтобы они не упрекали нас так, как мы теперь упрекаем древних греков за их безразличное отношение к языкам варваров.

Ностратические исследования требуют отличного знания современного уровня этимологии всех привлекаемых языков. Это превышает возможности даже выдающегося исследователя. Следует обратить внимание на то, что этимологический анализ в последнем выпуске словаря [2] значительно строже. Накоплен большой опыт, в работе над словарем теперь участвуют специалисты по различным языкам Старого Света. А. М. Щербак с нескрываемым огорчением отмечает ошибки в тюркской этимологии. Однако критик анализирует лишь незначительную часть тюркизмов, представленных в первых двух выпусках словаря (третий, к сожалению, был ему недоступен, так как находился в печати). Полагаю, что он должен был проанализировать все тюркизмы словаря. Перед сдачей в печать первого тома словаря рукопись была всесторонне обсуждена. Рецензент тюркологической части отметил все промахи в области тюркологии. Что же касается общей оценки работы, то она была достаточно высокой.

Поиски В. М. Иллич-Свитыча дали мощный толчок развитию ностратического языкознания. При современном уровне в этой области успешно может работать лишь большой и высококвалифицированный коллектив специалистов по языкам Старого Света. Только в этом случае может быть обеспечен высокий профессиональный уровень отдельных сопоставлений и их этимологических интерпретаций. Дело идет именно к этому. Критика ностратической гипотезы в настоящее время не может ограничиваться анализом трудов Иллич-Свитыча. После его смерти прошло уже почти 20 лет. За эти годы теория и методика ностратического языкознания далеко шагнули вперед.

Исследования в области ностратического языкознания теперь идут по строго разработанному плану. Постепенно усложняются задачи, расширяется круг языков.

Первая задача, которая была поставлена еще Иллич-Свитычем, состоит в подготовке картотеки ностратизмов. Она продолжает оставаться актуальной и теперь. Картотека включает все бесспорные и сомнительные случаи, примеры, извлеченные из многих языков Старого Света. Именно по этому пути в настоящее время идет коллектив. Так, в третий том словаря включен ностратизм *luŋge* «снег», представленный только в уральских и алтайских языках [2, с. 34]. Без соответствующих примеров невозможно будет решать задачи ностратической диалектологии. Естественно, что картотека должна составляться с учетом всех последних достижений этимологии соответствующих языков.

Ностратическая гипотеза ставит перед исследователями много трудных проблем. Никак нельзя исключать ареальный аспект. Пока в этом направлении сделано мало. Следует иметь в виду, что дифференциация может отражать не подлинную картину, а уровень наших знаний. Нужно упорно искать все новые и новые источники. В частности, не следует пренебрегать диалектными словарями современных языков.

Очевидно, что ностратическая гипотеза не может быть подтверждена только с помощью этимологического анализа и данных ареальной лингвистики. Необходимо знать историю ностратизмов. Ойкумена периода мезолита и неолита была сравнительно незначительной. Поэтому нельзя отрицать возможности ранних общений племен различного происхождения, что не могло не отразиться на языке. Конечно, уже в ранние периоды истории языков Старого Света возможны были лексические заимствования. Без четкого разграничения исконных ностратизмов и заимствованных элементов нельзя будет решить многие важнейшие проблемы древнейшей языковой истории. Задача эта весьма трудная. Ее решение потре-

бует от исследователей учета многих факторов. Достаточно привести один пример. А. М. Щербак сочувственно ссылается на Педерсена, который, по его словам, тюркское *ešäk* «осел» считал индоевропейским заимствованием в тюркских языках. Однако нужно внести уточнение — датский лингвист полагал, что тюркское *ešäk* имеет армянский источник (ср. арм. *eš* «осел»). Как известно, В. Банг не разделял этой гипотезы. Он возводил *ešäk* к тюрк. *äš* «товарищ», что представляется значительно убедительнее [3]. Против предположения Педерсена свидетельствует широкое распространение слова *ešäk* в тюркском языковом мире, порой весьма отдаленном от поселений предков армян.

Таким образом, ностратическое языкознание многоаспектно. Практически теперь формируется новая область сравнительно-исторического языкознания, значение которой в полном объеме станет ясным позже. Она даст мощный импульс для развития историко-этимологических исследований неиндоевропейских языков, поможет осветить многие явления и их генезис в древнейшей истории индоевропейских языков.

Не могу понять, почему исследования в этой области языкознания часто вызывают резкую неприязнь и даже раздражение у лингвистов, далеких вообще от сравнительно-исторического языкознания, порой специалистов по современным языкам? Прекратить исследования в области ностратики теперь уже невозможно. Однако эти исследования требуют поддержки.

Многие факты и утверждения в публикациях В. М. Иллич-Свитыча будут пересмотрены, исправлены и дополнены. Это бесспорно. Ранняя смерть помешала самому ученому активно участвовать в этом процессе творческого обновления гипотезы и материала, на основе которого она формировалась. Главное, однако, сохраняется. Это дух подлинного творчества, стремление к пересмотру многих устаревших взглядов. А. М. Щербак справедливо пишет: «Исследования В. М. Иллич-Свитыча побуждают к пересмотру установившихся взглядов на историческую глубину языковых контактов. Последние десятилетия — время усилившихся поисков генетического родства» (с. 40). С большим удовлетворением должен отметить, что завершающая часть статьи А. М. Щербака верно оценивает вклад Иллич-Свитыча в историческое языкознание. По его справедливому мнению, в результате трудов Иллич-Свитыча «появилась возможность тщательно взвесить и всесторонне оценить ту поистине глобальную совокупность разнообразных и разнородных сходств, которая необыкновенными усилиями, богатой эрудицией и редкостным даром воображения одного человека была подана в виде определенной системы» (с. 40).

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Щербак А. М. О ностратических исследованиях с позиций тюрколога. — ВЯ, 1984, № 6.
2. Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков. Сравнительный словарь (р — q). М., 1984.
3. Севортян Э. В. Этимологический словарь тюркских языков (общетюркские и межтюркские основы на гласные). М., 1977, с. 317—318.

АНДРЮЩЕНКО В. М.

## ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ, ЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

1. В последнее десятилетие в применении вычислительной техники для автоматизации лексикографических работ наметились новые тенденции, позволяющие говорить о новом этапе развития вычислительной лексикографии. Эта научная дисциплина, развившаяся в рамках вычислительной лингвистики, первоначально имела своим объектом исследования и конструирования так называемые «машинные словари», т. е. словари, используемые в составе лингвистического обеспечения систем машинного перевода и автоматизированных информационных систем [1].

Вычислительная лексикография недавнего прошлого была прежде всего «отраслевой» лексикографией: она занималась компьютерными формами терминологических (большой частью информационно-поисковых) словарей, предназначенных для информационного обслуживания тех или иных отраслей знаний и сравнительно ограниченных в лексическом отношении систем автоматического перевода. Переход к массовой автоматической и автоматизированной (computer assisted) документалистике, переводческой и редакционно-издательской деятельности изменил ситуацию; требования к машинным словарям возросли как в количественном, так и в качественном отношении.

С первых шагов вычислительной лексикографии намечалась тенденция противопоставлять машинные словари обычным лексикографическим источникам по ряду признаков — по методу их использования, по методам отбора словников, по составу информации, комплекующей словарную статью [1, с. 29—47]. Однако сейчас многие особенности машинных словарей [1, с. 21—28; 2, с. 40] воспринимаются как случайные, характерные лишь для определенного этапа развития технологии обработки данных на естественных языках или для определенных направлений вычислительной лингвистики. Созданные в 70-х годах терминологические банки данных (ТБД) и автоматические словари (АС), ориентированные на человека, развитие средств автоматизации лексикографических работ существенно обогатили арсенал вычислительной лексикографии и сблизили ее проблематику с проблематикой общей лексикографии. В 80-е годы перед вычислительной лексикографией встали задачи овладения новой информационной технологией, ориентирующейся на автоматическую обработку данных, представленных на естественном языке, на интерактивное человеко-машинное решение задач, на «автоформализацию профессиональных знаний» [3] (в данном случае — знаний лексикографов), на новые технические средства — персональные компьютеры и ЭВМ пятого поколения, на использование вычислительных и информационных сетей. Это ставит и перед общей лексикографией ряд новых проблем.

На наших глазах создается новая «лексикографическая ситуация», в которой уже нельзя проводить резкие границы между академической, отраслевой, вычислительной и издательской лексикографией. Необходима интеграция этих направлений. Отраслевая лексикография сейчас нуждается в академических словарях, представленных или автоматически переводимых в форму и модели, используемые автоматизированными системами обработки данных на естественных языках. Издательская лексикография нуждается в средствах, развитых в вычислительной лексикографии, так как перед ней стоят задачи автоматизации редакционно-издатель-

ских процессов и поиска новых форм словарных изданий, соответствующих современным средствам передачи информации. Академическая лексикография не может не учитывать как требования издательской лексикографии, выдвигаемые задачами ускорения научно-технического прогресса в полиграфии и издательском деле, так и прикладные задачи, связанные с созданием систем обработки данных на естественном языке.

Начиная с 70-х годов все более определяются новые функции лексикографии, которые обещают стать ее ведущими функциями на ближайшие десятилетия, — лексикографическое обеспечение человеко-машинного общения и обработки данных на естественном языке, создание национальных лексикографических служб [4]. С ведущими функциями лексикографии, как было показано В. Г. Гаком [5], связаны и определенные типы словарей, каждый из которых символизирует свой период в развитии лексикографии. Предложенная В. Г. Гаком периодизация демонстрирует одну показательную закономерность — рост объемов словарей в каждом периоде на порядок. Так, в дословарном периоде объемы вокабуляриев и ономастиконов исчислялись в среднем тысячами единиц, в раннесловарном периоде лексиконы и двуязычные словари насчитывали десятки, а толковые словари периода развитой лексикографии — сотни тысяч словарных статей. Национальные лексикографические службы, оснащенные АС, ТБД и автоматизированными лексикографическими системами, надо полагать, выведут нас на объемы словарей — генеральных тезаурусов языка — порядка миллиона словарных статей, а технология «безбумажной информатики» потребует от лексикографии овладения десяти- и даже стомиллионными объемами словарных баз данных, или словарных карточек, если говорить современным лексикографическим языком. Возможности компьютерной лексикографии должны привести к тому, что в будущем различие между словарной карточкой и готовым словарем должно уменьшаться и в конечном счете исчезнуть: бесчисленное количество различных типов словарей должно программно порождаться из лексикографически отработанной автоматизированной словарной картотеки.

Экстраполируя периодизацию В. Г. Гака на конец XX — начало XXI в., мы можем говорить о периоде компьютерной<sup>1</sup> лексикографии, который сменится периодом лексикографии в вычислительных и информационных сетях.

Реализация словарей, содержащих свыше 300—500 тыс. статей, в книжной форме уже нерациональна. Современные и перспективные средства обработки данных и связи подсказывают иной путь: первичной формой словарей должна стать их компьютерная форма, а книжная форма и сложившиеся в ней типы словарей должны стать производными формами, проекциями лексикографических баз данных по составляющим, структуре и номенклатуре словарных статей.

В связи с этими перспективами актуальным представляется новое осмысление роли и места вычислительной лексикографии как инструмента «лингвистического конструирования» [2].

2. Вычислительная лексикография является одним из направлений вычислительной лингвистики. В 1986 г. вычислительная лингвистика отмечает свое двадцатилетие. Правда, этот термин существовал и до 1966 г., однако именно в этом году вычислительная лингвистика впервые была названа научной дисциплиной со своим объектом и кругом задач [6]. Сейчас к ее компетенции относят автоматический лингвистический анализ, синтез и преобразование текста и речи, проблемы представления и использования знаний в системах искусственного интеллекта, обработку статистических данных о языке и текстах, автоматизацию лингвистических исследований, в том числе автоматизированную подготовку словарей, разработку лингвистического обеспечения информационных систем, систем машинного перевода и искусственного интеллекта, редакционно-изда-

<sup>1</sup> Компьютерной мы называем лексикографию как совокупность словарей, создаваемых и хранимых в этой форме; вычислительной — лексикографию как научное направление, занимающееся изучением и созданием средств для разработки и использования компьютерных словарей.

тельских систем и многие другие применения ЭВМ в целях обработки данных на естественном языке, будь то в интересах филологии или других дисциплин и приложений. К ведению вычислительной лингвистики относят также преподавание вычислительной техники и программирования для филологов. Однако принадлежность этой дисциплины и ее «ядерное» содержание до сих пор остаются спорными (см. историю и обсуждение вопроса в [7]).

Наше определение вычислительной лингвистики основано на следующих аналогиях. Если рассматривать языкознание как дисциплину, предметом изучения которой являются лингвистические структуры, образуемые единицами и конструкциями языка, аналогично тому, как в качестве предмета классической математики рассматриваются математические структуры (произвольные множества с заданными на них отношениями), а предметом информатики (computer science) соответственно — вычислительные структуры (структуры данных, алгоритмов, аппаратуры и реализованных в ней схем), мы выделяем класс соотносительных дисциплин, предметом изучения которых являются соотношения между структурами, изучаемыми смежными дисциплинами. Такой дисциплиной является, например, математическая лингвистика, занимающаяся изучением соотношений математических и лингвистических структур; такой же дисциплиной является и программирование, занимающееся соотношениями математических и вычислительных структур [8]<sup>2</sup>. По аналогии мы и определяем вычислительную лингвистику как дисциплину, занимающуюся соотношениями лингвистических и вычислительных структур. Между этими соотносительными дисциплинами существует тесное родство. Теория формальных грамматик математической лингвистики нашла свое приложение в программировании, получила здесь дальнейшее развитие и создала основной аппарат теоретического программирования. Этот аппарат воспринят вычислительной лингвистикой, которая становится наукой о «лингвистическом» программировании, наукой об алгоритмическом и автоматизированном конструировании лингвистических объектов.

В этой схеме вычислительная лексикография занимает свое место, которое и определяет арсенал ее средств, — понятийный аппарат, методы, приемы и технологию решения задач. Именно этим арсеналом современная вычислительная лексикография существенно отличается от того направления в прикладной лингвистике, которое мы привыкли называть автоматизацией лексикографических работ, связывая его прежде всего с подготовкой словоуказателей, частотных словарей и конкордансов. Отличие это, в частности, состоит в том, что вычислительная лексикография заимствует из современного программирования понятия баз и банков данных, информационных систем, преобразуя эти понятия в своей области в соответствующие конструкции текстовых и словарных баз и банков, автоматизированных лексикографических систем. Вычислительная лексикография использует существующие и создает свои собственные базы данных, системы терминального доступа к ним, языки описания и манипулирования лингвистическими и лексикографическими данными, рассматривая понятие структуры словаря и схемы словарной статьи по аналогии с понятием схемы базы данных, разработанным в теоретическом программировании [9].

3. Вычислительная лексикография сейчас является динамично развивающимся направлением. Это объясняется не только успехами теоретического, системного и практического программирования прошедшего десятилетия, но и успехами, достигнутыми в области конструирования языковых процессоров, а также появлением новых перспективных технических средств, использование которых способно в ближайшие десятиле-

<sup>2</sup> Термину «структура» мы не придаем какого-либо специального смысла, считая структуры произвольными абстракциями изучаемых объектов и отношений между ними при условии, что дисциплина, предметом изучения которой являются структуры, рассматривает их в соответствии с природой и свойствами тех объектов и отношений, абстракциями которых они являются.

тия преобразовать облик современной научной и издательской лексикографии.

Поясним сказанное примерами. Всем хорошо известны такие простейшие формы компьютерных словарей, как словоуказатели, частотные словари и конкордансы. Известны также многочисленные претензии, которые способны предъявить к этим словарям лексикографы. Однако значительная часть таких претензий объясняется не природой этих словарей, а применявшейся до сих пор технологией обработки лингвистических данных (отсутствием лемматизации, неразличением омонимии, фиксированным контекстом, неудобной текстовой адресацией, засорением лишним материалом, ненадежностью статистики и т. п.). Применение современной технологии во многом снимает эти претензии. Благодаря использованию систем управления текстовыми базами данных и терминального доступа к ним эти словари приобретают форму автоматизированных лексикостатистических справочников. Автоматизированный лексикостатистический справочник — это одновременно и словоуказатель, и частотный словарь и конкорданс к текстам, которые постоянно хранятся в машине, образуя в ней текстовую базу данных. Доступ к текстам осуществляется через словоуказатель (индекс), в котором ведется и статистика. Задавая на терминале (дисплее) слово или группу слов, можно получить все контексты упоминания заданных слов в нужном интервале текста. Задавать слова можно как в виде словоформ, так и в словарной форме. При просмотре словаря пользователь может устранить омонимию, ввести необходимые пометы к словам, а затем задавать уточненные запросы, вводя вместе со словами их признаки. Пользователь может запретить выдачу некоторых слов, например, служебных, может заказать или написать сам и включить в систему новую программу обработки, может полностью сменить программное обеспечение и обрабатывать данную текстовую базу новым программным обеспечением, но может сменить и текстовую базу, оставив прежнее программное обеспечение. Пользователь может «практически бесконечно» дополнять и расширять как текстовую базу, так и программное обеспечение, он может по мере необходимости делать выборочные распечатки материала или заказать полную печать конкорданса с любым упорядочением (в том числе и в виде обратного словаря) заглавных слов, получая сверстанную распечатку заданного формата.

Пользователь может, применяя системные средства редактирования и коррекции данных, вносить любые исправления во входной, промежуточный или выходной текст, он может и сам сгенерировать систему из готовых программных и текстовых модулей.

Это — результат реализации в вычислительной лексикографии принципа отделения системы хранения и доступа к данным от функциональной системы обработки, а в последней — отделения алгоритмов от лингвистических описаний (в данном случае — от схем источников). Всех этих возможностей были лишены старые системы обработки лексикографических данных, технология которых побуждала автоматизированным составлением словарей заниматься не лексикографов, а самих вычислителей. Современная вычислительная лексикография создает не словари, а программные средства для составления словарей. Словари же, используя эти средства, могут делать те, кто и должны их делать, т. е. профессиональные лексикографы. В этом состоит первая особенность современной вычислительной лексикографии.

Вторая особенность состоит в том, что в вычислительной лексикографии используются достижения в области конструирования языковых процессоров, т. е. программ автоматического анализа и синтеза текстов. До сих пор разработкой лингвистических процессоров занимались создатели систем машинного перевода и общения с базами данных на естественном языке. К сожалению, непосредственно перенести в АЛС разработанные ранее языковые процессоры невозможно по многим причинам, из них главными являются две: 1) в лексикографии нужны процессоры, дающие лингвистически точный результат (что не всегда имеет место в инженерных разработках), 2) в лексикографии нужны процессоры, оперирующие словарями

объемом в сотни тысяч словарных статей (в инженерных разработках объемы словарей языковых процессоров достигают лишь двух-трех десятков тысяч словарных статей). Поэтому в вычислительной лексикографии ставится и решается задача создания языковых процессоров, использующих данные обычных словарей. Для морфологии русского языка такая работа проделана: используя «Грамматический словарь русского языка» А. А. Зализняка, коллектив под руководством М. Г. Мальковского создал программы морфологического анализа и синтеза для практически полного русского языка [10]. Аналогичную работу этот коллектив ведет сейчас над «Словарем сочетаемости слов русского языка» (к сожалению, объем этого словаря слишком мал, чтобы надеяться на достаточно эффективное его использование в лексикографии).

Третья особенность современной вычислительной лексикографии состоит в том, что она выдвигает задачу преобразования обычных словарей в форму АС, а также обратную задачу — преобразования АС в книжную форму. Автоматическим словарем мы называем обычный словарь, хранимый в ЭВМ и сохраняющий в ней (для пользователя) внешнюю форму своих статей. АС можно пользоваться как обычным словарем. Его можно также непрерывно и оперативно корректировать, пополнять и обновлять, готовя очередное «исправленное и дополненное издание» (т. е. АС — это картотека изданного словаря). Можно, например, осуществлять групповой поиск словарных статей по признакам, приписанным заглавным словам или любым фрагментам статьи; образовывать различные «проекции» словаря, т. е. рассматривать только словник, или только толкования, или только иллюстрации, или только фразеологические единицы, или только группы производных слов, помещенные в словарные статьи, и т. д.; можно образовывать подсловари различных объемов, отбирая в них лексику по заданным признакам; можно соединять и сопоставлять данные различных словарей, образуя пересечения, объединения и разности как по макро-, так и по микроструктуре словарей-источников.

Соединение в одной системе текстовой и словарной баз данных мы называем автоматизированной лексикографической системой (АЛС). В АЛС реализуемы многие процедуры, связанные с подготовкой новых словарей, такие, как проверка полноты словарей на текстах (с выработкой оценок реальной употребительности слов и выражений), автоматический отбор слов в словники, формирование единых словников для групп двуязычных словарей заданного объема, контроль лексики толкований и иллюстраций, выявление логических кругов в дефинициях, отбор иллюстраций, контроль соответствия стилистических помет заданной классификации текстов и их фрагментов, учет вариативности форм и употреблений, связывание вариативности с определенными сферами употребления и многое другое. В АЛС могут одновременно храниться несколько ранее изданных словарей. Используя эти словари, можно согласовывать дефиниции в них (в особенности это касается терминологической лексики), автоматически (а значит без ошибок и пропусков) формировать справочные отделы, проводить любые работы, связанные с выверкой данных формируемого словаря по источникам.

Программа создания Машинного фонда русского языка ставит задачу разработки словарных баз данных для всех наиболее авторитетных толковых и наиболее распространенных специальных словарей русского языка. После создания автоматического варианта «Грамматического словаря русского языка» А. А. Зализняка Институтом русского языка АН СССР совместно с Лабораторией по применению вычислительных средств в гуманитарных науках НИВЦ МГУ ведутся работы над автоматическими вариантами «Словообразовательного словаря русского языка» А. Н. Тихонова, «Орфографического словаря», «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля, «Словаря русского языка» в 4-х томах, а также над рядом других источников.

Конструкция АС предполагает возможность использования формальных описаний словарных статей [11]. При наличии таких описаний программно реализуемой становится методика написания словарных статей под управлением ЭВМ: выбор однородной группы заглавных слов, гене-

рация типовой структуры словарной статьи для данной группы, выдача очередного задания лексикографу на формирование фрагмента словарной статьи или на проверку определенных условий, выбор из источников или написание фрагмента за терминалом и т. д. Такая контролируемая ЭВМ подготовка словарных статей за терминалом, в интерактивном режиме или off-line, с последующим вводом данных, создает определенную дисциплину, контролируемый порядок и единообразие выполнения основных лексикографических операций. Уже на этапе написания словарных статей могут быть автоматически проверены или сформированы стандартные пометы и лексикографические знаки, шрифтовые выделения, проверены или созданы ссылки, размещена фразеология, проверена комплектность всех сведений, которыми должна быть снабжена словарная статья в соответствии с формализованным проектом словаря. [Таким образом, методика словарной работы, развиваемая вычислительной лексикографией, объективно направлена на устранение многих хорошо известных недостатков современной словарной работы, таких, как несистематичность картотек, алфавитный подход к порядку написания словарных статей, отставание в регистрации лексических инноваций, разноречивость помет в словарях (и даже в одном словаре!) и т. п.]

При наличии встроенных в систему языковых процессоров могут быть осуществлены такие операции, как автоматическое формирование диагностических окончаний, генерация речений, выявление сочетаемости и моделей управления, подбор образцов употребления для заданных конструкций и др. АЛС может быть соединена с информационно-справочной системой, содержащей необходимые публикации, сведения из которых могут быть автоматически привлечены в момент написания словарной статьи. Сопряжение АЛС с программами редакционно-издательского сервиса делает возможным непосредственный вывод словаря на носители, используемые полиграфическим оборудованием, причем контроль орфографии и другие операции «технического» редактирования могут быть осуществлены автоматически.

Современная вычислительная лексикография по-новому ставит вопрос о типологии словарей. Попытки построения типологии и классификации словарей, как известно, делались неоднократно (см. краткий обзор классификаций в [12]). Каждая такая попытка была связана с решением определенной проблемы, интересовавшей автора. Так, Л. В. Щерба [13] стремился создать общую теорию лексикографии, связывая ее с теорией языка; его установка — установка автора словаря, его классификация — очерк руководства к написанию словарей. Феноменологическая классификация русских словарей М. Л. Апажева [14] — руководство для пользователя по выбору нужного ему словаря. Классификация, предложенная А. М. Цывиным [15], сделана как бы с позиций внешнего наблюдателя. Ю. Н. Караулов [2], хотя и не дал в явном виде классификации словарей, но ввел и исследовал понятие лексикографического параметра, указав типы фрагментов словарной статьи, совокупность которых и идентифицирует однородную группу словарей. Это — установка на конструирование; вычислительная лексикография добавляет к ней лишь понятие структурной организации лексикографических параметров и создает свою типологию АС, характеризующих единством структур хранения и доступа к лексикографическим данным. В компьютерной лексикографии многие «типы» словарей становятся несущественными (невидимыми) в их автоматическом исполнении:

1. Все словари, характеризуемые порядком расположения словарных статей (алфавитные прямые и обратные, гнездовые, тематические и дескрипторные, статистические алфавитно-частотные и частотно-алфавитные) — пользователь, да и создатель системы не знают, как реально расположены словарные статьи в базе данных, получать же их можно в любом заданном порядке следования словарных статей. Указанные выше признаки — это не параметры словаря, а параметры его внешней формы.

2. Все так называемые односторонние словари (орфографический, ударений, фонетический, орфоэпический, грамматический, обратный):

все эти словари могут быть получены (в принципе) в результате задания на вывод из базы данных словника двустороннего словаря (при условии его достаточной полноты, стандартности оформления и комплектности).

3. Часть словообразовательных и фразеологических словарей, словарей синонимов, антонимов, омонимов, неологизмов и архаизмов может быть получена путем вывода соответствующих фрагментов «хорошего» толкового словаря («хорошим» мы называем такой словарь, который все эти факты в себе содержит).

4. Все справочники сокращений, собственных имен и любых номенклатур могут быть получены из энциклопедических словарей, хранимых в словарных базах данных.

С вычислительной точки зрения это не самостоятельные типы словарей, а различные режимы обращения к словарным базам данных. Какие же классификационные признаки остаются существенными и в вычислительной лексикографии? Прежде всего это признаки объекта лексикографирования (слово, морфема, словосочетание, выражение, понятие, классификационная рубрика и т. п.). Список возможных значений этого признака открыт: любые объекты, имеющие однородное по своей структуре описание, могут быть лексикографированы в одном типе словаря (например, морфемы как заголовки словарных статей в толковых и переводных словарях, словосочетания — в терминологических). Далее это типы атрибутов (лексикографических параметров, переменных лексикографического метаязыка), которыми характеризуются лексикографируемые объекты [2, 75], и состав значений этих атрибутов (термы лексикографического метаязыка, например, списки частей речи, списки помет разного рода, лексикографические знаки, типы фрагментов словарной статьи). Число типов атрибутов, видимо, бесконечно, хотя и не очень велико. Затем это типы отношений объектов и атрибутов к языковой системе или системам (в случае переводных и исторических словарей). Типов таких отношений, думается, также бесконечно много, если учесть все мыслимые способы членения языка на составляющие его сферы употребления в функциональном, жанровом, синхронном, диахронном, географическом, хронологическом и других планах вплоть до языка индивида. Следовательно, феноменологически число типов словарей бесконечно, а структурно мы имеем один тип универсального словаря (ср. [2, с. 36; 16]), т. е. словарную базу данных, в типовой схеме которой переменными заданы типы объектов, типы атрибутов и типы отношений объектов и атрибутов к языковой системе (системам).

Такой подход к классификации словарей не учитывает группу признаков, не поддающихся (показ) формализации. Эту группу признаков можно в целом охарактеризовать как «стиль» (или способ) описания объекта лексикографирования. Толковый, энциклопедический, терминологический (одноязычный справочник), разные виды исторических, учебный, толково-комбинаторный и все виды «словарей для МП» отличаются друг от друга не столько объектами лексикографирования и не составом их атрибутов (хотя в каждом имеются свои, специфические для него атрибуты), сколько способом подачи значений атрибутов (ср. дефиниции толковых, энциклопедических и учебных словарей, различия в толковании значений в больших, средних и малых толковых словарях, формально-грамматические пометы обычных и «машинных» словарей, имплицитное описание сочетаемости в иллюстрациях обычных словарей и эксплицитное — в толково-комбинаторном). Пока АС могут осуществлять преобразование «стиля» лишь в области морфологических помет. В остальных случаях они могут выдавать только то, что в них «заложено». Но по мере развития языковых процессоров, по-видимому, многие такие преобразования станут возможны. Думается, что именно эта группа признаков и является основной точкой развития как теории общей, так и зависимой от нее практики вычислительной лексикографии. Сюда нужно отнести также проблему разработки такой лексико-семантической классификации, позиция лексико-семантического варианта лексемы в которой являлась бы аргументом для выбора структуры или хотя бы некоторых термов метаязыка

ее толкования [17, 18]. Решение этой проблемы имело бы ключевое значение для создания нового вида поиска в словаре — поиска слов по приблизительно описанному значению, способствовало бы улучшению методик автоматического формирования семантических словарей.

Наряду с вопросом о типологии словарей вычислительная лексикография ставит также вопрос и о типологии пользователей и способов их обращений к словарю. Этот вопрос в теории лексикографии, кажется, совершенно не изучен.

Имея дело с «Орфографическим словарем» и не зная действительного написания слова, пользователь может довольно долго искать его правильное написание (например, в этом словаре нет слов *шестнадцатеричный* и *девятеричный*, широко употребляемых в наименованиях соответствующих систем счисления; узнать их правильное написание можно только, сравнив их со словами *четверичный*, *пятеричный*, *шестеричный*, *семеричный*, *восьмеричный*, *десятеричный* и *двенадцатеричный*). Имея дело с толковым словарем и не найдя в нем нужного слова, читатель далеко не всегда может быть уверен, имеется ли это слово в данном языке, или оно не является нормативным в каком-либо аспекте и поэтому не включено в словарь, или его там нет по случайным причинам. Так, в «Словаре русского языка» в 4-х томах нет слов *двоичный*, *пятеричный*, *шестеричный*, *семеричный*, *девятеричный*, *шестнадцатеричный*, а для слов *троичный*, *четверичный*, *восьмеричный* и *десятеричный* не указано значение «... в наименовании системы счисления с основанием 3 (4, 8 и 10 соответственно)». Слово *останов* имеется в «Орфографическом словаре», но отсутствует в «Словаре русского языка» в 4-х томах — только из этого факта можно заключить, что оно, видимо, имеет специальное, но все-таки достаточно широко употребительное значение (*останов машины*, *программы*, *тяжелый останов* и т. п.). Имея дело с ортологическим словарем и идя от неправильного (ненормативного) слова или выражения, пользователь не всегда может найти правильный ответ на свой запрос, даже если ответ в словаре имеется [например, в словаре «Трудности русского языка» (под ред. Л. И. Рахмановой, 2-е изд., изд-во МГУ, 1981) выражение *обречь на успех* нельзя отыскать по слову *успех*]. Пользуясь не только словарями, но и грамматиками русского языка, нельзя с уверенностью ответить на такие вопросы: соответствуют ли норме слова *записевый* и *массивовый* в наименованиях типов данных? Как определить выражения, имеющиеся в языках программирования — *алгольные* или *алгольские*, *фортранные* или *фортранские*, *паскальные* или *паскалевские* и т. д.?

Все способы поиска в словаре вполне программируемы, и программирование различных стратегий использования АС способно сделать его намного более эффективным справочником, чем словарь в книжной форме. Но для этого нам пока недостает систематических знаний о типах возможных запросов к словарю.

В отличие от словарей в полиграфическом исполнении АС практически не имеют предела ни в степени сложности словарной статьи [12, с. 39; 19] (пользователь может видеть в словарной статье только то, что его интересует), ни в количестве входов в словарь [2, с. 71]. Этим снимается основное, на наш взгляд, противоречие лексикографической теории (требование многоаспектности описания лексики) и практики подготовки словарей в книжной форме (линейность расположения словарных статей с неизбежными ограничениями на сложность их структуры и количество входов в словарь). Например, в  $n$ -язычном автоматическом словаре может быть осуществлен автоматический переход с каждого из  $n$  языков на ( $n - 1$ ) других, т. е. для  $n$  языков автоматически создаются ( $n - 1$ ) входов. Если различать в каждой паре языков родной и иностранный [13, с. 90; 12, с. 39] и соответственно варьировать выход (описание на родном или иностранном языке), то число входов (типов словарей) увеличивается еще в два раза, притом что в систему загружаются ( $n - 1$ ) двуязычных словарей достаточно простой структуры [20].

Основной технологический прием лексикографирования — «координатное» фрагментирование словарной статьи и ссылочный аппарат. Дан-

ный прием в вычислительной лексикографии программируется в максимально обобщенном виде. Математическая структура словаря — это ориентированный граф с размеченными узлами (фрагментами словарной статьи) и дугами (ссылками). Соответствующие вычислительные структуры — списки и программно реализованные механизмы создания списков, поиска в них и их преобразования. (Лексикографические структуры обладают рядом особенностей по сравнению с соответствующими математическими и вычислительными структурами, одна из них — многоаспектная разметка узлов и дуг представляющего словарь графа. Поскольку такие структуры имеют лингвистическую природу, они обладают означаемым, означаемым, типом означаемого и его категориальной соотносительностью. Это создает свои особенности в размещении и в доступе к данным, что заставляет вычислительную лексикографию строить свои системы управления базами данных, а не использовать разработанные для других приложений.) Систематическое использование этого приема дает возможность решать самые разнообразные лексикографические задачи. Например, один и тот же алгоритм отыскивает в АС словосочетания всех типов — терминологические, фразеологические, речения; одна и та же техника компоновки словарных статей может быть применена для словообразовательных, дескрипторных и идеографических (тематических) словарей. Одна и та же структура хранения и доступа получается для частотных словарей, словоуказателей и конкордансов, с одной стороны, и для морфемных словарей, с другой (словник для морфемного словаря — то же, что тексты для словоуказателя). Структура данных и программное обеспечение многоязычного АС применимы для реализации ассоциативного словаря.

Таким образом, в вычислительной лексикографии однородные типологические группы образуют: 1) словоуказатели, частотные словари, конкордансы, морфемные словари; 2) орфографический и орфоэпический словари, словарь ударений, словарь «Слитно или раздельно?» [21]; 3) «Русский семантический словарь» [22], «Словообразовательный словарь русского языка» А. Н. Тихонова, все дескрипторные словари; 4) все переводные и ассоциативные словари; 5) все толковые, энциклопедические, этимологические, моноязычные терминологические словари и толково-комбинаторный словарь; 6) все ортологические словари, словари паронимов, синонимов и антонимов. Каждая из этих групп характеризуется единой обобщенной структурой словарной статьи и единой стратегией размещения и доступа к данным.

4. Для первых пяти типологических групп все основные вычислительные структуры и в части хранения и доступа, и в алгоритмической части к настоящему времени разработаны и опробованы на более чем достаточном материале, на нескольких типах машин.

Наиболее значительные разработки предприняты в терминологической лексикографии. Терминологические банки ТЕАМ, принадлежащий фирме Сименс АГ (ФРГ), LEXIS (Федеральное бюро языков, ФРГ), EURODICAUTOM (Комиссия европейских сообществ в Люксембурге), TERMIUM (Канада) содержат каждый более миллиона описаний терминов (обзор см. в [23, с. 65—193]). Еще в начале 70-х годов в СССР начала создаваться Автоматизированная система терминологического обслуживания (АСИТО, ВНИИКИ Госстандарта СССР) [23, с. 145—165], содержащая сейчас в своей базе более 70 тыс. описаний стандартизованных терминов. В 1980 г. в Лаборатории по применению вычислительных средств в гуманитарных науках НИВЦ МГУ по заказу Всесоюзного Центра Переводов был разработан многоязычный АС МУЛЬТИЛЕКС [24], который в версии 1985 г. содержал 80 тыс. словарных статей по вычислительной технике и ядерной физике на русском, английском, французском, немецком и (частично) венгерском языках. (Сообщалось о новой реализации этого словаря («вторая очередь») в ВЦП [20]). Расширенная версия этого словаря (ТЕРМИН) включена в состав АЛС УНИЛЕКС [25] в качестве ее словарной базы; текстовую базу этой системы образуют автоматический конкорданс и пакет программ для генерации частотных словарей. В си-

стеме предусмотрен специальный язык для задания схем источников — структур текстов и словарных статей. В настоящее время ведутся работы по наполнению системы источниками для Машинного фонда русского языка.

Кроме упомянутых, в СССР имеется еще несколько реализаций АС и АЛС. Наиболее ранняя из них — Многоцелевой Автоматический Русский Словарь (МАРС) [26], созданный в Лаборатории инженерной лингвистики ЛГПИ им. А. И. Герцена. Ведутся работы над созданием автоматического варианта «Словаря украинского языка» в 11-ти томах [27]. Наиболее развитой является автоматизированная система генерации словарей эстонского языка, созданная в ИЯЛ АН ЭССР [28].

Из зарубежных систем — наиболее крупная АЛС LEDA, разработанная в Институте немецкого языка в Маннгейме (ФРГ) [29, 30]. Ее текстовый банк содержит (по данным 1984 г.) 20 млн. словоупотреблений, из которых 13 млн. составляют корпус письменной речи, корпус устной речи и корпус газет; 7 млн. словоупотреблений получены на машинных носителях из различных издательств. Планируется довести текстовую базу до 50 млн. словоупотреблений — корпус текстов, подготавливаемый для нового словаря немецкого языка объемом 200 тыс. словарных статей. В системе имеется словарная база данных, сформированная из различных словарей немецкого языка; ее обобщенная словарная статья включает транскрипцию заглавного слова, его лемму, класс слова, диагностические окончания, сведения о словообразовании и синтаксическом окружении, фрейм глубинных падежей, формальное и содержательное описание значений. Аналогичная АЛС создается в связи с подготовкой нового словаря голландского языка [31].

Системы нового поколения снабжаются средствами вывода словарей на носители, используемые в полиграфии (в СССР эта технология освоена в Институте языка и литературы АН ЭССР), а также на фотоносители (микрофильмы и микрофиши). Словари выводятся не только в книжной, но и в компьютерной форме (на магнитных лентах), для их дальнейшего использования в системах обработки данных. Академическая и издательская лексикография получают таким образом возможности новых приложений в сфере информатики и автоматической документалистики, приобретаемая взамен практически неисчерпаемые источники данных по современному языку и необходимые средства для автоматизации исследований.

5. Уже сейчас на машинных носителях имеется значительное количество лексикографически релевантной информации. Ближайшее будущее готовит нам еще большие и принципиально новые возможности. Эти возможности связаны, во-первых, с использованием новых информационных служб в вычислительных сетях [32, 33]. Новые информационные службы — это цифровая передача средствами связи текстов, речи, рукописных и графических изображений в вещательном и интерактивном режимах. Через службу типа ВИДЕОТЕКС пользователь может получить доступ по телефону к удаленному текстовому банку и принять информацию от него на вычислительную машину или даже на бытовой телевизор. Таким банком может быть АС какого угодно объема, и, таким образом, в перспективе это — один из видов массового не книжного издания словарей. Служба ВИДЕОТЕКС может обеспечить также доступ к словарным картотекам, текстовым базам, хранящим сформированные лингвистами корпуса текстов, к фондам памятников письменности или к фондам диалектологических данных. В системах заочного обучения через службы ВИДЕОТЕКС можно получать контрольные работы и всю необходимую учебную и справочную литературу. Используя эту службу, можно отправить свои данные в издательство, в фонд на хранение, сдать в учебное заведение выполненные контрольные работы и т. д. Информационная служба ТЕЛТЕКСТ передает по телевидению текстовые и графические изображения только в вещательном режиме. Так может передаваться текущая информация (новый вид газеты), реклама, художественные и развлекательные тексты. Прием сообщений службы ТЕЛТЕКСТ на вычислительную машину обеспечивает непрерывное отслеживание языковых инноваций, создает воз-

возможности их оперативного учета в текстовых базах, а затем и в словарях.

Во-вторых, принципиально новые возможности как для подготовки, так и для использования словарей предоставляют персональные компьютеры — «первый массовый инструмент активной формализации профессиональных знаний» [3, с. 107]. Именно это свойство персональных компьютеров подводит заключительную черту под все еще распространенным тезисом о том, что роль лингвиста — содержательная постановка задачи, а ее решение — дело программиста. В применении к лексикографии персональный компьютер — это и оперативная картотека словарника, т. е. та часть словарной картотеки, над которой он в данный момент работает, это устройство связи с центральной картотекой, это и прибор для наблюдений (если компьютер подключен к сети ТЕЛЕТЕКСТ), это инструмент для письма и редактирования, обладающий гораздо большими возможностями, чем пишущая машинка; это и автоматический проект словаря, обеспечивающий автоматизированное написание словарных статей, их компоновку из готовых фрагментов, проверку ссылок, цитат, правильный выбор и расстановку формальных элементов словарной статьи. Для пользователя словарем — это АС объемом 30—60 тыс. словарных статей. Для издательской лексикографии — это новый вид издания словаря и учебника: издание на гибком магнитном диске.

Еще один, уже практикуемый [34], вид издания словарей, пока учебных и туристских — это «словарные компьютеры» (точнее управляющие файлы для изготовления электронных схем для карманных микрокомпьютеров — *handheld computers*), специализированные на выдачу словарной информации, запоминание новых слов и на функции лексического тренажера для учащегося.

Освоение новых форм словарей, новых форм словарной работы, новых приложений, открываемых современной информационной технологией, — насущная задача вычислительной лексикографии, один из путей продвижения научно-технического прогресса в языкознание в целом.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Марчук Ю. П. Вычислительная лексикография. М., 1976.
2. Карацлов Ю. П. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. М., 1981.
3. Громов Г. Р. Национальные информационные ресурсы: проблемы промышленной эксплуатации. М., 1984, с. 96.
4. Imbs P. Les travaux pour le Trésor de la langue française. — In: Tavola rotonda sui grandi lessici storici. Firenze, 3—5 maggio, 1971. Firenze, 1973.
5. Гак В. Г. О некоторых закономерностях развития лексикографии. (Учебная и общая лексикография в историческом аспекте). — В кн.: Актуальные проблемы учебной лексикографии. М., 1977.
6. Languages and machines — Computer in translation and linguistics. A report by the Automatic language processing advisory committee. Washington, 1966.
7. Batori I. S. Linguistische Datenverarbeitung. — Sprache und Datenverarbeitung, 1977/1.
8. Холл П. Вычислительные структуры. Введение в нечисленное программирование. М., 1978.
9. Мартин Дж. Организация баз данных в вычислительных системах. М., 1980, с. 68—89.
10. Мальковский М. Г. Диалог с системой искусственного интеллекта. М., 1985.
11. Koldyazhnaya L. I. Linguistic software for an automatic dictionary of common language. — In: Symposium on automatic compilation of dictionaries (Tallinn, November 25—27, 1985). Summaries. Tallinn, 1985.
12. Денисов П. Н. Типология учебных словарей. — В кн.: Проблемы учебной лексикографии. М., 1977.
13. Щерба Л. В. Опыт общей теории лексикографии. — В кн.: Академик Л. В. Щерба. Избранные работы по языкознанию и фонетике. Л., 1958.
14. Апажеев М. Л. Лексикография и классификация словарей русского языка. Нальчик, 1971.
15. Цывик А. М. К вопросу о классификации русских словарей. — ВЯ, 1978, № 1.
16. Денисов П. Н. Практика, история и теория лексикографии в их единстве и взаимобусловленности. — В кн.: Проблемы учебной лексикографии и обучения лексике. М., 1978, с. 27—28.
17. Шведова Н. Ю. Однотомный толковый словарь (специфика жанра и некоторые аспекты дальнейшей работы). — В кн.: Русский язык. Проблемы художественной речи. Лексикология и лексикография. М., 1981, с. 171.

18. Шведова Н. Ю. Лексическая классификация русского глагола (на фоне чешской семантико-компонентной классификации).— В кн.: Славянское языковедение. IX Международный съезд славистов. Киев, сентябрь 1983 г.: Доклады советской делегации. М., 1983, с. 310. X/
19. Сороколетов Ф. П. Традиция русской и советской лексикографии.— ВЯ, 1978, № 3, с. 28.
20. Убин И. И. Место автоматических словарей в системе переводческого обслуживания и их основные свойства.— В кн.: Международный семинар по машинному переводу. Москва, 1983 г.: Тезисы докладов. М., 1983.
21. Бужина Б. З., Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно? (Опыт словаря-справочника). 3-е изд. М., 1982.
22. Караулов Ю. Н., Молчанов В. И., Афанасьев В. А., Михалев Н. В. Русский семантический словарь. Опыт автоматического построения тезауруса: от понятия к слову. М., 1982.
23. Волкова И. Н. Стандартизация научно-технической терминологии. М., 1984.
24. Убин И. И. Общие принципы построения и использования автоматического словаря MULTILEX.— В кн.: Вычислительная лингвистика М., 1982. (2)
25. Андрущенко В. М. Автоматизированная лексикографическая система UNILEX. (Основные проектные решения).— В кн.: Вычислительная лингвистика. М., 1982.
26. Лукьянова Е. М. Информационная база автоматических словарей.— В кн.: Статистика речи и автоматический анализ текста. Л., 1980. ✓
27. Пецак М. М. Машинный формат представления лексикографических текстов у «Фонді української мови». Київ, 1985. (3)
28. Viki Ü. Applications of a databank of dictionaries.— In: Academy of Sciences of the Estonian S. S. R., Preprint KKI-32. Tallinn, 1985.
29. Brustkern J., Hess K. D. The BONNLEX lexicon system.— In: Lexicography in the electronic age. Proceedings of a symposium held in Luxembourg, 7—9 July 1981. Ed. by Goetschacks J. and Rolling R. Amsterdam — New York — Oxford, 1982.
30. Teubert W. Application of a Lexicographical data base of German.— In: 10th International conference on computational linguistics. 22th Annual meeting of the association for computational linguistics. Proceedings of Colig 84. 2—6 July 1984. California, 1984.
31. Sterkenburg P. van, Martin W., Al B. A new van Dale project: Bilingual dictionaries on one and the same monolingual basis.— In: Lexicography in the electronic Age...
32. Яновский Г. Г. Новые информационные службы и вычислительные сети общего пользования.— В кн.: Вопросы кибернетики. Проблемы теории вычислительных сетей. М., 1983, с. 126—130.
33. Ефимов А. Н. Информационный взрыв: проблемы реальные и мнимые. М., 1985.
34. Voigt W. Der Wörterbuchverlag und das «optimale» Wörterbuch.— In: Theoretische und praktische Probleme der Lexikographie. 1. Augsburger Kolloquium. München, 1984.

МЫРКИН В. Я.

**В КАКОЙ МЕРЕ ЯЗЫК (ЯЗЫКОВАЯ СИСТЕМА) ЯВЛЯЕТСЯ  
ОТРАЖЕНИЕМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ**

В научной литературе (не говоря уже о публицистике и беллетристике) достаточно распространенным является утверждение, что язык есть отражение действительности, что язык — это «картина мира», «вместилище знаний», «памятник истории» и т. п. Высказывания типа «Язык и мысль, язык и история, язык и культура неотделимы друг от друга. Жизнь общества отражается в его языке» [1] трактуются (видимо, в силу привычки) как аксиоматические, не требующие особого доказательства. Противоположные суждения (типа «Языковые единицы, слова непосредственно не отображают процессы или события; их отображает речь в своих предложениях» [3] или «Конечно, само по себе слово, взятое вне предложения, еще не выступает как адекватная форма отражения реальности. Лексические значения выступают как элементы языкового отражения действительности лишь на уровне предложения» [3]) пользуются, к сожалению, меньшей известностью и не получили пока статуса аксиоматичности.

Между тем есть основания считать, что язык (языковая система), и, в частности, его лексический строй, очень схематично<sup>1</sup>, очень приблизительно отражает внешний мир, и, напротив, именно речь (предложение, речевое произведение), а не язык, отражает действительный мир в наибольшей полноте и точности. Именно такую позицию занимают авторы коллективной монографии «Общее языкознание», указывая на две формы закрепления достижений общественного познания: «Это, во-первых, система языка, в которой отложились в виде языковых значений наиболее общие знания о мире, во-вторых, это совокупность языковых текстов, памятников, в которых на основе этих общих знаний зарегистрированы более частные знания из различных областей действительного мира, зафиксированы результаты мышления многих поколений» [5].

Прежде чем перейти к конкретной аргументации высказанных соображений, необходимо уточнить некоторые исходные понятия, а именно: что понимать под а) гносеологической категорией отражения, б) под языком и в) под сознанием. Как известно, понятие отражения как свойства материи было выдвинуто В. И. Лениным в 1908 г. в книге «Материализм и эмпириокритицизм» в следующей формулировке: «...логично предположить, что вся материя обладает свойством, по существу родственным с ощущением, свойством отражения...» [6]. Характеризуя же ощущение, Ленин настойчиво употребляет следующие определения: *образ, копия, картина, отображение, фотография внешнего мира*. Таким образом, отражение в гносеологическом понимании непременно предполагает сходство, адекватность, воспроизведение черт оригинала в отражающем объекте, короче — *о б р а з о т р а ж а е м о г о п р е д м е т а*. При этом концептуальный образ (понятие) отличается, конечно, от чувственного образа по ряду параметров, одним из которых является обобщенность, абстрактность первого. Однако будучи обобщенным, концептуальный образ, тем не менее, должен быть адекватным, изоморфным, а не конвенциональным, отображением объекта-ориги-

<sup>1</sup> Ср. мнение А. А. Уфимцевой: «Означаемое одних словесных знаков представляет собой более или менее схематическое отражение элементов опыта человека, фактов и явлений окружающего его мира, формируя значение так называемых характеризующих знаков, представленных полнозначными словами» [4].

нала. Кроме того, разные отражающие объекты, отражая один и тот же объект, могут дать различные по своей адекватности, точности, полноте образы, что зависит в значительной степени от материала отражающего объекта, от уровня его восприимчивости к каким-то определенным свойствам, чертам данного объекта-оригинала. В таком случае мы можем различать — говоря терминами оптики — высокую разрешающую способность и низкую разрешающую способность отражающего объекта (по отношению к отдельной черте оригинала). Хотя жестких границ между степенями точности воспроизведения нет, крайние точки, однако, различать необходимо, ибо слишком низкая разрешающая способность отражающего объекта может иметь следствием столь слабое, столь приблизительное, столь условное отображение объекта-оригинала, что черты последнего могут предстать даже в искаженном виде. Восстановление черт источника становится в таком случае, как правило, невозможным или очень гипотетичным<sup>2</sup>. В качестве примера подобного рода можно привести такое явление, как эхолокация, т. е. способность отражения предмета, опознания его формы и места слуховым аппаратом на основе восприятия отраженных (в физическом смысле этого слова) предметом ультразвуков. Эхолокация чрезвычайно развита у летучих мышей и дельфинов и почти не свойственна человеку, но проявляется и развивается у слепых, которые могут, посылая звуковые сигналы (шум шагов, постукивание палки), ориентироваться в пространстве. Но вообще у человека очень грубая, примитивная форма эхолокационного отражения действительности.

Не всякое воздействие одного объекта на другой следует считать отражением. Поэтому, например, не всякое разрушение при столкновении двух объектов является отражением (иначе тунгусская катастрофа в 1908 г., видимо, не оставалась бы загадкой), не всякое реагирование (как например, побледнение лица от страха) есть гносеологическая категория отражения. Следовательно, «образ — один из самых существенных моментов акта отражения. От других типов реакций тел на воздействие извне (в частности, от раздражимости и от элементарного рефлекса) формирование образа отличается прежде всего тем, что эта группа изменений так или иначе воспроизводит, копирует признаки объекта, сходна с ними и притом не в результате случайного совпадения, а именно в результате формирующего влияния со стороны объекта» [8]. Отражение порой осуществляется в закодированной форме, т. е. какое-либо сходство с отражаемым объектом в отражающем объекте полностью отсутствует, например, генетическая информация кодируется в молекулах ДНК, восприятие мира человеком кодируется первоначально в нервных импульсах. Однако в отличие от прочих причинно-следственных взаимодействий, где тоже нет подобия, закодированное состояние отражающей системы всегда является лишь промежуточным этапом: оно в конечном итоге обязательно декодируется, т. е. образ объекта-оригинала восстанавливается в однозначном порядке. В знаках же языка или в предложениях как материальных (звуковых или графических) образованиях мир не отражается; мир отражается в сознании, а сознание закрепляет, фиксирует, кодирует это отражение-знание в конвенциональных знаках. В самих знаках смысла нет, они лишь мнемонические средства закрепления и пробуждения соответствующего смысла в наших головах. Следовательно, можно было бы поставить вопрос так: где правильное и точное кодируется наше знание о мире — в языковой системе, или в речи?

<sup>2</sup> Реконструкция (фрагмента) объекта-оригинала по сохранившимся следам отражения — это обычная сторона человеческой деятельности, причем (и это важно для понимания специфики отражения) «по состоянию  $S_2$  (отражающая система) можно узнать состояние  $S_1$  (отражаемой системы) не в силу условного соглашения, а в силу самой природы вещей» [7].

Если результаты воздействия одного объекта на другой в ходе причинно-следственных отношений не ведут к созданию подобия между объектами, мы будем называть их псевдо-отражениями. Отражение одного объекта другим с очень низкой разрешающей способностью назовем олиго-отражением (< греч. *oligos* «малый»). Наконец, отражение одного объекта другим с очень высокой разрешающей способностью назовем голо-отражением (< греч. *holos* «весь»). Таким образом, нашей конечной целью будет выяснение вопроса — относится ли язык к псевдо-, к олиго- или к голо-отражающим объектам<sup>3</sup>.

Что, однако, следует понимать под языком? Язык проявляется на двух уровнях: с одной стороны, он существует в виде стабильной системы знаков (идеально — в голове, материально, в превращенной форме — в речи) и образует такие сущности, как язык народа, национальный язык, языки мира, человеческий язык; с другой стороны, язык существует в виде речи, коммуникации, т. е. в форме нашего естественного практического говорения. В лингвистике принято называть первый объект языком (языковой системой), второй — речью. Предполагая и обуславливая друг друга, язык и речь обладают известной автономностью, заключающейся, в частности, в различии их системного построения, в различии их функций, в различии их связи с общественной средой. Внутри речи различаются такие ярусы, как предложение, высказывание, текст. Предложение (нижний ярус речи) — в отличие от языковых знаков — характеризуется предикативностью, т. е. два знака ставятся в обоюдно необходимую связь. Высказывание характеризуется актуализированностью, т. е. включением предложения в определенный контекст. По сути, подлинная речь начинается с высказывания. Предложение — это как бы потенциальное высказывание, а высказывание — актуализированное предложение. Наконец, текст — это некая тематическая связанная совокупность высказываний (например, доклад, статья, книга). Для нашего дальнейшего изложения указанное различение речевых ярусов не является существенным, так что речь в целом противопоставляется языку как системе знаков. Правда, в научной литературе под языком нередко понимается речь, особенно ярус предложений (это характерно, в частности, для англоязычной литературы, где словом *language* именуется то языковая система, то речь). В работе А. Ф. Лосева читаем: «Само собой разумеется, что язык очень часто является отражением действительности, но он часто является также искажением действительности, ложью об этой действительности... Иначе ведь любое наше грамматическое предложение и любое наше высказывание уже было бы истиной, и искажать действительность, извращать существующие в ней отношения и вообще ошибаться или лгать было бы невозможно» [9]. Понятно, что под языком здесь фактически имеется в виду речь (предложение). Но в таком случае невозможно солидаризироваться с автором, ибо ведь на том основании, что наши ощущения и мысли могут быть ложными, никто из материалистов не станет утверждать, что ощущения и мышление не отражают мир. Конечно, бывают ложные и ошибочные высказывания, но это — исключения в речевой деятельности, иначе функционирование и эволюция общества были бы невозможны. Однако отстаивая тезис об отражательной способности языка, иные исследователи недвусмысленно указывают, что они имеют в виду именно языковую систему (структуру), а не речь (ср., к примеру, следующее высказывание: «... структура языка как системы знаков, т. е. как системы материальных сторон языковых единиц, ориентирована на структуру самой действительности и системы отражающих ее языковых значений...» [10]).

Принимая во внимание столь полярные точки зрения по поводу того,

<sup>3</sup> Фактически под языком здесь имеется в виду только словарь как объект, в наибольшей мере связанный с внешним миром. Относительно фонологического строя и, видимо, большей части грамматического строя уместен лишь вопрос, что в них относится к псевдо-отражающим объектам.

отражает ли язык действительность, нужно оговаривать, что понимается под языком: язык *sensu stricto* или речь.

Наконец, последний вопрос: если результатом отражения человеком действительности является знание, то спрашивается, каково взаимоотношение знания (равно мышления и сознания) и языка (т. е. языка/речи). Знания формируются, формулируются, передаются, хранятся, актуализируются. В каждом звене возможно в принципе и невербальное осуществление соответствующей операции, но нас интересует здесь только вербальный аспект проблемы. Первые два звена (т. е. формирование и формулирование знаний) относятся к сфере мышления. Последние два звена (т. е. хранение и актуализация знаний) относятся к сфере сознания. Мышление (если оно словесное) осуществляется в основном в виде внутренней (свернутой, редуцированной) речи. Сознание (особенно в звене его актуализации) существует в виде суждений о мире и коррелирует, таким образом, скорее с предложениями, чем с отдельными словами языковой системы. Что касается информации (т. е. передачи знаний), то она циркулирует в виде высказываний и текстов. Способом межиндивидуального хранения знаний являются тексты (письменная литература), которые стали универсальным средством аккумуляции человеческого опыта. В принципе под вопросом остается лишь одно звено — способ индивидуального хранения знаний в памяти. Новейшие данные из области нейрофизиологии мозга показывают, что значительная часть информации кодируется в правом полушарии в невербальной форме. Итак, язык, конкретнее — слова, как они даны, скажем, в словаре, не соотносятся ни с каким звеном знаний, «язык не является ни знанием, ни даже формой существования знания, так как язык содержит в себе непосредственно не предложения (а тем самым суждения, т. е. знания или заблуждения), а только материал для производства предложения в речевой деятельности (следовательно, лишь средства для формирования мысли). Знание не существует и не развивается как язык» [11].

Следовательно, именно речь является коррелятом мышления и (с)ознания, концептуальный опыт человека соотносится именно с речью, а не с языком — языковой системой, являющейся главным образом строительным материалом для производства речи. Но этим самым пока ничего не утверждается о способности языковых единиц отражать действительность.

Мы подошли, наконец, к вопросу: отражают ли язык и речь действительность, и если — да, то какое тут различие? Скажем сразу: и язык и речь отражают мир, но по-разному. Язык относится к объектам с очень малой разрешающей способностью, язык отражает мир неточно, контурно, приблизительно, вне взаимосвязей, со многими лагунами, порой даже искаженно, т. е. относится — согласно нашей терминологии — к олиготражающим объектам. Напротив, речь обладает высокой разрешающей способностью, отражает мир довольно полно, адекватно, детально, во взаимосвязях, оперативно и является, следовательно, голоотражающим объектом.

Однако остановимся подробнее на отдельных моментах.

1. Отражает ли язык историю народа, историю общества? Можно ли по языковой системе реконструировать историю народа? Нет. Хотя язык является результатом многовековой истории и многое в его лексиконе носит следы истории народа (раскрываемые, в частности, в этимологии слов), следы эти часто случайные, безусловно отрывочные, порой ложные. Поэтому язык никогда не включается в список источников по истории страны, но включаются летописи, государственные акты, частные письма, дневники, художественная и иная литература, одним словом — тексты.

В языке нет ничего подобного археологическим культурным слоям или годичным древесным кольцам: языковые единицы многотысячелетней давности нельзя отличить от единиц, возникших в последние десятилетия. Если в языковой системе и существует несколько слоев (социальная, стилистическая, возрастная, региональная и др. вариативность), то они во

всяком случае не имеют исторического характера, т. е. не следуют друг за другом по оси темпоральности. Мы не столько судим об истории народа по отдельным словам, сколько о словах по истории народа (зафиксированной в текстах). Если и справедливо мнение, что все, что есть в языке (т. е. практически в лексиконе), было и в истории народа, то тем более справедливо и то, что подавляющая часть того, что было в истории народа, не зафиксирована в языковой системе. Разве что для исследования предыстории народа, при отсутствии других данных, могут кое-какую помощь оказать данные языка, но и то лишь вспомогательную<sup>4</sup>.

2. Существенно ли — на каком конкретном языке производится фиксация отраженной действительности, в том числе и истории народа (т. е. фактов, событий, эпизодов истории)? Нет, не существенно. Как это ни парадоксально (при допущении, что язык отражает действительность), высказывания об одном и том же факте, сделанные на разных языках (воплощающих, якобы, разную картину мира), практически тождественны по содержанию, по смыслу, закрепленному в высказываниях. Кто усомнится в тождественности факта, выраженного, с одной стороны, русским предложением: *Безопасность в Европе и во всем мире зависит от состояния ядерного баланса между Востоком и Западом*, с другой стороны, — английским: *European and world security depends on the nuclear balance between East and West* или немецким предложением: *Die Sicherheit in Europa und in der ganzen Welt hängt vom nuklearen Ost-West-Gleichgewicht ab?* Здесь есть различия в знаках, в грамматических формах и конструкциях, «что же касается смысла, то он не зависит от различий между языками, по своей природе он является универсальным, представляющим инвариантное содержание отражательной деятельности человека» [13]. Понятно, что и исторические сведения мы получаем из соответствующих текстов — независимо от того, на каком языке они составлены. Так, лингвистам известен мертвый язык германского племени готы по сохранившимся фрагментам перевода Библии с греческого на готский язык, сделанного готским епископом Вульфилой в IV в. нашей эры. Имеется, следовательно (ограниченный содержанием Библии), словарь готского языка, однако извлечь какие-либо подробности жизни готы из этого словаря невозможно. Зато имеется, например, книга Иордана «О происхождении и деяниях гетов», написанная в VI в. на латинском языке (позднее переведенная на другие языки, в том числе и на русский), которая и является одним из основных источников наших знаний о готах.

Так что же является скорее свидетелем истории — язык или речь?

3. Нет спору, в словах закреплены какие-то общие, узловые знания человека о мире. Но какой-либо концептуальной системой ни язык вообще, ни его словарь в частности не обладают, так как языковая система не моделирует систему внешнего мира, потому что между языковыми единицами не существует предикативных отношений. Так, скажем, слова *солнце*, *земля*, *вращаться* выражают некоторые общечеловеческие понятия о мире. Но в каком отношении они находятся друг к другу? Ответ на это может дать только предложение, в котором и осуществляется предикативная связь: либо *Солнце вращается вокруг Земли* (ложное отражение действительности), либо *Земля вращается вокруг Солнца* (истинное отражение действительности). Понятно, что язык лишен такого свойства отражающих объектов (в частности, речи), как актуальность отражения, т. е. способности отражения быть конкретным и ситуативным. В языковых единицах отражено только самое общее, в речевых единицах отражается актуальность происходящего в мире.

4. В языке действительность дискретизирована в различной степени, что становится очевидным при сравнении лексического инвентаря разных языков. Например, в японском языке существуют такие слова, как *цун-*

<sup>4</sup> Ср. по этому поводу мнение историка о роли языка в реконструкции прошлого (мнение, так сказать, со стороны): «Довольно аморфная и расплывчатая (как в географическом, так и во временном отношении) картина, получаемая лингвистами, приобретает определенность и историческую конкретность, когда удастся более или менее достоверно сопоставить выводы лингвистов с археологическими культурами» [12].

доку «накапливание книг без чтения их», *кэютю-сэнно* «выговор, получаемый мужем от жены наедине»; в английском языке — *Dutch concert* «пение, при котором каждый поет свое», *Dutch feast* «пирушка, на которой хозяин напивается раньше гостей»; в исландском языке — *driúvirkur* «успевающий много сделать, работая спокойно и уверенно», *ihlutunarsemi* «склонность вмешиваться в чужие дела». Разве эти закрепленные в словах понятия типичны именно для соответствующих народов и чужды, например, для русского народа? Видимо, нет. Но готового языкового выражения, т. е. языковых единиц, для них в русском языке нет. В речи мы можем, разумеется, выразить все, в частности, комбинируя слова, и таким образом, без труда преодолеваем так называемую лингвистическую относительность любого языка, которая заключается в различной языковой дискретизации одной и той же действительности, дискретизации — не всегда рациональной с точки зрения человеческого знания и человеческой практики. Поэтому, в частности, «всякая попытка приписывания языку функции отображения природы может создать иллюзию тождественности языка и науки. Очевидно, что картина языка не совпадает с картиной природы, на это может претендовать лишь наука... Языковое деление не всегда совпадает с естественной сегментированностью в природе, а иногда противоречит ей» [14].

5. А если какие-то черты окружающего мира у разных народов различны? Зафиксируют языки эти различия? Да, — отвечает этнолингвистика, указывая на специфичность части словарного состава, который своей детализированностью названий в какой-либо области человеческой деятельности свидетельствует об особенностях региона и о роде занятий того или иного народа. В самом деле, если, например, в словаре исландского языка закреплены такие понятия, как «заблудившийся (и потерявший мать) ягненок», «количество травы, достаточное для пастбы овец», «собирающие осенью пасущихся в горах овец», «день, когда согнанные с пастбища овцы распределяются между хозяевами» и т. п., то это уже дает нам знание об одном из основных (наряду с рыболовством) занятий исландцев. Ничего неожиданного в таком факте нет. Известно, что профессиональная лексика характеризуется именно своей детализированностью, но подобная терминология, как правило, не входит в общенародный словарь и неизвестна никому за пределами круга профессионалов. Если же народ достаточно малочислен и занимает небольшую территорию, то он почти весь вовлекается в какой-либо один род деятельности и соответствующая роду занятий терминология становится общим достоянием и, следовательно, достоянием общенародного словаря. В случае же, когда народ в силу своей многочисленности и неоднородности природных условий занимаемой территории необходимо становится разнородным по характеру занятий, то специфичность общенародного лексикона теряется. Попробуйте установить, например, из словаря русского языка особенности трудовой деятельности русского народа, из словаря немецкого языка — специфику занятий немцев и т. д.! Другое дело, что все это находит отражение в текстах, в речевой деятельности людей.

6. Другое языковедческое направление — социолингвистика ищет корреляции между социальным (классовым, сословным, групповым, профессиональным, образовательным и т. п.) членением общества и членением языка на соответствующие «подязыки». Такие корреляции действительно существуют, но не имеют сколько-нибудь систематического, жесткого, однозначного характера; это позволяет утверждать, что «сложный, многоступенчатый и опосредствованный характер связей между социумом и языком исключает возможность рассмотрения структурной дифференциации языка как зеркального отражения структуры социальной дифференциации общества» [15]. Следовательно, и в данном плане язык имеет довольно малую разрешающую способность.

7. Хорошо известны два следующих высказывания К. Маркса и Ф. Энгельса о языке в «Немецкой идеологии»: «... язык есть практическое... действительное сознание...» [16, с. 29] и «язык есть непосредственная действительность мысли» [16, с. 448]. Классики марксизма-ленинизма, как

известно, не различали терминологически язык (языковую систему) и речь (высказывание, коммуникативную деятельность), употребляя обычно комплексный термин «язык» (нем. *Sprache*, англ. *language*), но имея каждый раз в виду либо языковую систему (средства выражения содержания), либо речь (содержание). В цитированных выше высказываниях под языком несомненно имеется в виду речь, речевое содержание. Сознание не может быть тождественно языку, ибо тогда было бы необъяснимо сходство в сознании у разноязычных людей и различие в сознании у одноязычных людей; ибо сознание обладает концептуальной системой, а язык таковой не обладает; ибо несовместимы статичность языка и динамичность сознания и т. д. и т. п. (см. также [17, 18]). Тем более сказанное относится к мысли (мышлению). Язык является непосредственной действительностью мысли в том смысле, что высказанная мысль (т. е. речь) становится чувственно воспринимаемой, приобретает, так сказать, «вещную» форму.

Следовательно, непосредственной действительностью мысли является речь, и этот неоспоримый факт не мог остаться неотмеченным в научной литературе. Так, например, А. Г. Спиркин пишет: «Речь есть материальное выражение мысли... Действительностью сознания является не столько язык, сколько речь: именно в речи фиксируется содержание сознания... Содержание, выраженное в речи, есть содержание сознания, которое не сводится к сумме значений языковых единиц, используемых для его выражения» [19]. Аналогичным образом рассуждает чешский языковед Я. Петр: «Но если мы будем понимать приведенные выше положения Маркса и Энгельса буквально, мы повторим ошибку Марра, который включал в язык всю область сознания и отождествлял содержательную сторону языка с сознанием. Если же мы будем исходить из того, что содержание нашего сознания не исчерпывается суммой значений тех единиц, которые используются для его выражения, тогда при различении понятий (и их объемов) „язык“ и „речь“ мы можем опираться на формулировку Маркса и Энгельса в том смысле, что речь есть действительное сознание» [20].

Итак, что же является адекватным отражением действительности: язык или речь? Напомним, что критерием полноты отражения является возможность реконструкции отражаемого объекта по данным отражающего объекта. На основе единиц языка можно восстановить в лучшем случае лишь приблизительные, размытые контуры элементов мира, вне деталей и связей (олиго-отражение); на основе продуктов речи мы реконструируем действительность достаточно полно, точно, детально, взаимосвязанно (голо-отражение). Поучительно, что этот вывод был сделан более ста лет тому назад, — Н. Г. Чернышевским (кстати, филологом по университетскому образованию), который в 1855 г. писал следующее: «„Но язык есть зеркало народной мысли“ (Чернышевский цитирует рецензируемую им книгу В. Стоюнина „Высший курс русской грамматики“, повторяющего положения В. Гумбольдта. — *М. В.*); — не все зеркала отражают предмет в его полном размере и истинном виде. В литературе, в истории жизнь народа отражается верно и полно; в языке — неточно, неполно и часто неверно... Конечно, развитие языка идет вслед за развитием народной жизни, но мы не „разумеем“, какая нужда изучать ограждение предмета в зеркале, когда он сам очень хорошо виден из литературы и истории. Ужели, в самом деле, дел Петра Великого нельзя узнать из Голикова „Деяний Петра Великого“ и непременно нужно для этого исследовать, какие слова ввел Петр Великий в русский язык? И скажите, каким образом из филологического изучения русского языка вы узнаете, что Пушкин ввел в русскую литературу новые идеи? Для этого нужно знать историю русской литературы, а не филологически разбирать русский словарь или русскую этимологию» [21].

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Брагина А. А.* Лексика языка и культура страны. М., 1981, с. 9.
2. *Кацнельсон С. Д.* Типология языка и речевое мышление. Л., 1972, с. 141.
3. *Кукушкина Е. И., Хмара Н. Д.* Язык и чувственное отражение.— *Философские науки*, 1979, № 4, с. 38.
4. *Уфимцева А. А.* Семиологический подход к изучению лексики.— *ИАН СЛЯ*, 1984, № 5, с. 434.
5. *Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка.* М., 1970, с. 375.
6. *Ленин В. И.* Материализм и эмпириокритицизм.— *Полн. собр. соч.*, т. 18, с. 94.
7. *Шалютин С. М.* Теория познания и современная наука. М., 1967, с. 84.
8. *Кремлянский В. И.* Типы отражения как свойства материи.— *ВФ*, 1963, № 8, с. 133.
9. *Лосев А. Ф.* Знак. Символ. Миф. М., 1982, с. 95.
10. *Панфилов В. З.* Марксизм-ленинизм как философская основа языкознания.— *ВЯ*, 1979, № 4, с. 16.
11. *Ведин Ю.* Структура, истинность и правильность мышления. Рига, 1979, с. 21—22.
12. *Рыбаков Б. А.* Язычество древних славян. М., 1981, с. 148.
13. *Бондарко А. В.* Грамматическое значение и смысл. Л., 1978, с. 50.
14. *Рамшвили Г. В.* К проблеме «уникальности» человеческого языка.— *ФН*, 1980, № 2, с. 47.
15. *Швейцер А. Д.* К проблеме социальной дифференциации языка.— *ВЯ*, 1982, № 5, с. 40.
16. *Маркс К. и Энгельс Ф.* *Немецкая идеология.*— *Соч.* 2-е изд., т. 3.
17. *Зыцарь Ю. В.* О единстве сознания и различиях языков.— *ВЯ*, 1984, № 4.
18. *Кацнельсон С. Д.* Речемыслительные процессы.— *ВЯ*, 1984, № 4.
19. *Спиркин А. Г.* Сознание и самосознание. М., 1972, с. 216.
20. *Петр Я. К.* Маркс, Ф. Энгельс и славянские языки. М., 1984, с. 16.
21. *Чернышевский Н. Г.* Высший курс русской грамматики, составленный В. Стоюниным. СПб., 1855.— *Полн. собр. соч.* М., 1949, т. 2, с. 696.

САВЧЕНКО А. Н.

## ЛИНГВИСТИКА РЕЧИ

Ф. де Соссюр, провозгласивший необходимость разработки лингвистики речи наряду с лингвистикой языка, сам, как известно, занимался только лингвистикой языка. До недавнего времени по такому пути шли и все другие языковеды. Наиболее полно это проявилось у представителей структурализма, за исключением ученых, принадлежавших к пражской школе, которые, вследствие функционального подхода к языку, уделяли внимание и некоторым вопросам речи (функциональные стили, поэтическая речь). Однако в последнее десятилетие интерес языковедов к исследованию речи все более усиливается. Это заметно по работам в области психолингвистики, лингвистики текста, во внимании к коннотативным элементам значения слова и к его сочетаемости. Видимо, лингвистика достигла того уровня, на котором исследование речи становится весьма актуальным.

Языковеды, не признающие различия между языком и речью, отказываются и от термина «лингвистика речи» и выдвигают идею лингвистики, соединяющей (по существу — смешивающей) в себе изучение языка и речи, которую называют коммуникативной лингвистикой, или прагматической лингвистикой. В нашем языкознании наиболее решительно эту идею выдвинул Г. В. Колшанский [1]. Такой подход отличается от предмета лингвистики речи не только терминологически, но и по существу. Он не отражает природы языка и речи и приводит исследователя языка к большим трудностям. В этом легко убедиться.

Язык, как общепризнано, есть система знаков (добавляю: и значений), служащая людям универсальным средством общения и тесно связанная с сознанием языкового коллектива; но это не есть сам процесс общения или процесс сознания. Речь же есть процесс сознания, выражаемый посредством языковых знаков. Язык есть материал для построения речи; речь же — это, образно выражаясь, здание для мысли (точнее — для процесса сознания), возводимое из этого материала, причем характер здания определяется не только свойствами материала, но и свойствами индивидуального сознания человека. Язык — не искусственное создание лингвистов. Он объективно существует в речи. Язык — это все устойчивое, общенародное, нормированное в речи. Но язык существует и субъективно — в памяти языкового коллектива, причем существует не просто как масса разнородных элементов, а как сложная система, объединенная сетью оппозиций (фонетических, морфологических и, в известных пределах, лексико-семантических). В процессе общения система эта с ее оппозициями не осознается, она пребывает в подсознательной сфере психики, но бывают моменты, когда человеку нужно осмыслить тот или иной участок языковой системы (например, при сопоставлении родного языка с чужим), и тогда оппозиции языковых единиц выступают явно.

Возражая против различения языка и речи, Г. В. Колшанский приводит в качестве примера минерал, который в естествознании не разделяется на конкретные куски того или иного минерала, и абстрактное понятие «минеральности» как определенной закономерности размещения молекул и атомов вещества. В отличие от этого языковеды создали свой идеальный «язык» в качестве набора правил, моделей и т. п. и признали эти модели самостоятельным объектом изучения [1, с. 56]. Но пример минерала ничего не может прояснить в языкознании, потому что минерал не имеет знаковой природы и не связан с человеческим сознанием. Язык же есть

сложнейшая система знаков, которая постепенно усваивается каждым человеком, сначала — естественным путем, от окружения, потом — в процессе школьного обучения. Языковые знаки, правила и модели — не выдумки лингвистов, а то, чем реально руководствуется человек в построении своей речи, что он должен знать для того, чтобы общаться с другими, и что должно поэтому самостоятельно изучаться. Речь же есть результат соединения языковых знаков с индивидуальным процессом сознания, а это соединение требует определенного творчества от человека, причем языковые знаки приобретают новое качество.

Уже самый факт соединения словесного знака с процессом сознания вносит нечто новое в его природу. В языке слово является названием, обозначением того или иного понятия, обобщенного образа, класса предметов или явлений действительности, т. е. единицей номинативной, и значение его, как и всякого знака, за редкими исключениями, имеет обобщенный характер. В речи же слово становится составным элементом единого целого — предложения и через него — текста или диалога. Оно становится элементом коммуникативной единицы, основным признаком которой является предикативность. Содержание предложения в принципе не равняется сумме значений составляющих его слов. «Предложение, — писал Э. Бенвенист, — это целое, не сводящееся к сумме его частей; присущий этому целому смысл распространяется на всю совокупность компонентов. Слово — компонент предложения, в нем проявляется часть смысла всего предложения. Но слово не обязательно выступает в предложении в том же самом смысле, который оно имеет как самостоятельная единица» [2, с. 133]. Содержание предложения зависит от предшествующего или последующего контекста или от предшествующей реплики в диалоге, в нем проявляется действие пресуппозиций, в нем может возникнуть эмоциональность, не заключенная в отдельном слове, смысл его может подвергаться особым трансформациям под воздействием интонаций и в случаях иронии становится противоположным тому, который заключен в значениях слов. И слово, включаясь в предложение, теряет обязательную обобщенность своего значения; оно может остаться обобщенным, если предложение выражает обобщающую мысль, и может стать отражением конкретного, единичного предмета (явления, признака), если предложение относится к конкретной ситуации. На значении слова в предложении отражается и контекст, и предшествующая реплика в диалоге, и пресуппозиции, и интонация.

Может быть, все эти свойства слова и предложения следует приписывать языку, как рекомендует Г. В. Колшанский? Некоторые факты показывают, что это неверно. Язык есть устойчивая система знаков и значений, передаваемая из поколения в поколение (с некоторыми видоизменениями, возникающими под влиянием речи). Каждое поколение усваивает слова в их основных, номинативных, обобщенных значениях, а не в тех индивидуализированных, которые возникают у них в предложениях. Каждое поколение усваивает структурные модели предложений в их общем, регулярном виде, а не в модификациях, возникающих при соотношении предложения с внешней ситуацией. Это еще более наглядно наблюдается при усвоении человеком чужого языка как путем школьного изучения, так и при постоянном общении с иностранцами. Набор слов с их номинативными, обобщенными значениями и структурные схемы предложения служат для каждого человека основой при образовании разнообразных вариантов значений и конкретных структур предложений. И если именно эти наборы слов и схемы предложения изучаются в школе, то не потому, что лингвисты так придумали, а потому, что без сознательного и совершенного владения этой основой не может быть культуры речи.

По наблюдениям психологов, мысль до ее речевого выражения имеет смутный, неосознанный, неуправляемый характер, она находится в текущем состоянии и легко, по различным психологическим ассоциациям, связывается с другими мыслями. Четкую форму мысль приобретает только через речевое выражение. По словам Ф. В. Бассина, «то, что зафиксировано в развернутой речи, приобретает стабильность, утрачивает смут-

ные, зыбкие очертания субъективного переживания, становится надиндивидуальным, социальным фактором, орудием общения, „именем“ объекта и потому феноменом, ясно осознаваемым. Но за все эти привилегии надо платить. А плата заключается в ущербности, который этими преимуществами наносится способности дальнейшего развития смысла, в ослаблении способности к легкому установлению новых связей оречевленного смысла с другими смыслами» [3, с. 741]. Для того, чтобы придать этим зыбким, колеблющимся мыслительным образованиям речевую форму, нужно расчленить мысль сообразно с возможностями языка и воплотить ее в сочетании словесных значений. При этом речь должна быть в ы р а з и т е л ь н о оптимальной, т. е. адекватной содержанию мысли. Человек должен выбрать наиболее адекватный способ расчленения мысли и обозначения элементов ее, притом таким образом, чтобы эту мысль нетрудно было связать с другими. А в индивидуальной мысли могут быть такие нюансы, такие особенности, для которых нет в языке вполне адекватных готовых средств, и говорящий для верного выражения должен по-своему сочетать слова, видоизменять их значения, применять особые интонации. Чтобы быть адекватным, выражение должно быть прежде всего оригинальным, а использование готовых образцов, трафаретов не передает всего своеобразия индивидуальной мысли, не дает возможности ярко выразить возникшие у человека образы.

Речь должна быть также к о м м у н и к а т и в н о оптимальной, т. е. быть наиболее удобной для общения. Для этого она должна быть четкой, логически последовательной и краткой. Излишние слова задерживают передачу информации и вызывают у слушателя чувство недовольства. Требование четкости и последовательности вынуждает говорящего в монологической речи подбирать слова, логически наиболее правильно сочетающиеся в предложении, и, произнеся предложение, намечать последующие предложения, следя за логической последовательностью развертывания мысли. Требование краткости побуждает искать слова, которые могли бы заменить целые словосочетания, и, соотнеся речь с внешней ситуацией, не обозначать словами то, что ясно из самой ситуации. Возникают эллипсисы; структурные схемы предложений, утвердившиеся в языке, подвергаются изменениям до такой степени, что одно слово может выполнять функцию предложения.

Кроме того, речь должна быть э м о ц и о н а л ь н о оптимальной, т. е. ярко, впечатляюще выражать чувства говорящего и воздействовать на чувства слушающих. Это свойство в полной мере проявляется только в речи. Средства эмоциональности речи тем эффективнее, чем они оригинальнее, новее, и это вынуждает говорящего не ограничиваться эмоциональными словами, вошедшими в лексическую систему языка, и устойчивыми, общепринятыми метафорами и сравнениями. Говорящий придает эмоциональность другим словам за счет особых сочетаний и интонаций, создает свои метафоры, сравнения и другие образные выражения, творчески применяет синтаксические средства, способные придавать речи эмоциональность, широко пользуется модуляциями своего голоса.

Творческое обращение человека со словом порождает взаимодействие между значениями слов в тексте. В речи появляется такой мощный семантический фактор, как контекст, который создает неограниченные возможности варьирования значения (слова, расширяет стилистические свойства слова, наделяет слово способностью к эмоциональному воздействию на человека.

Поскольку сознание человека действует на основе его практики и постоянно взаимодействует с внешней ситуацией как элементом практики, языковые знаки, соединяясь с сознанием, также соотносятся с внешней ситуацией, что со своей стороны воздействует на значение слова и приводит к сокращениям в структуре предложения.

В речи действует также такой мощный незнаковый фактор, как интонация, который отражается на свойствах слова. Синтаксические интонации (интонацию простого предложения, придаточного предложения, обособленного второстепенного члена и т. п.) принято включать в граммати-

ческую систему языка, и с этим можно согласиться. Но интонации, выражающие отношение человека к предмету речи, интонация эмоционального и волевого назначения представляют собой чисто речевое явление, их неверно включать в систему языка, потому что они не являются знаками, поскольку не имеют условных значений, а действуют в речи как природное, врожденное свойство человека; они не усваиваются от других, не запоминаются, как все языковые знаки, а применяются человеком и понимаются другими как природные модуляции голоса, непосредственно воздействующие на эмоции. Интонация может изменять общий смысл выражения, придавая слову и предложению противоположный смысл, как в случаях иронии, и является важнейшим фактором эмоциональности речи.

В результате действия этих факторов слово приобретает в речи свойства, каких оно не имеет в системе языка, и, несмотря на то, что речь состоит из тех же знаков, что и язык, между ними есть различия, которыми нельзя пренебрегать. Конечно, можно утверждать, что контекст и соотнесение с внешней ситуацией являются свойствами самого языка, и требовать последовательного монизма (т. е. включения явлений речи в язык) на всех уровнях анализа, как поступил Г. В. Колшанский [1, с. 58, 62], но этот принцип ведет в теории к искажению природы языка, а в практике описания и изучения языка — к непреодолимым затруднениям.

Начнем с лексикологической и лексикографической практики. Слова при всей своей многозначности и вариантности имеют вполне определенные значения, которые фиксируются в словарях. По различным своим значениям слово по-разному соотносится с другими словами. В толковых словарях приводятся обычно и некоторые распространенные контекстуальные значения, которые с трудом поддаются определению. Но в речи встречаются и такие значения слова (особенно — при метафорическом употреблении), которые невозможно охватить в словаре. К примеру, значение слова *собака* определяется в словаре под ред. Д. Н. Ушакова как «четвероногое прирученное или домашнее животное, издающее характерные звуки (лай) и служащее человеку в домашнем быту, преимущ. для охраны имущества, на охоте для отыскивания и преследования зверя или птицы и т. д.» и в качестве отрицательной характеристики «хищник, насильник», «негодяй, презренный человек» (*собаке собачья смерть*). Последние значения — метафорического происхождения, но вследствие распространенности их прямое значение слова в этих случаях угасает и господствует переносное. В словарной статье приведены также фразеологизмы, в которых данное слово утратило свое значение (*вот где собака зарыта, собак веешать, собаку съест* и т. п.). Но в «Тарасе Бульбе» Гоголя есть такое место: «Вишь какой батько, — подумал про себя старший сын Остап, — все, старая собака, знает, а еще и прикидывается». Остап подумал это на пирушке, устроенной отцом по случаю приезда его с братом в родной дом, будучи прекрасно расположен к отцу, и слово *собака* не является здесь отрицательной характеристикой. А О. Л. Книшпер-Чехова в письмах к А. П. Чехову нередко подписывалась *твоя собака*. Нужно ли на этом основании добавить к словарной статье, что слово *собака* означает также положительную характеристику человека и что оно обозначает человека любящего, преданного? Очевидно, что нет. Это было бы совершенно неверно, потому что, во-первых, такие употребления данного слова индивидуальны и нельзя приписывать их языку русского народа; во-вторых, в этих случаях слово *собака* не теряет своего прямого значения, но в порядке образного выражения получает еще вторичное, эмоциональное значение, что создается в речи, но не входит в систему языка. Монизм в лексикологии сделал бы невозможным четкое определение языкового значения слова и отношения его к значениям других слов.

На это могут возразить, что приведенный аргумент касается удобства описания языка, но не сущности языка и речи. Однако, во-первых, возможность описания и изучения языка весьма существенны для характеристики его самого, потому что язык усваивается каждым человеком от других, и это происходит не только в детстве, но и в более зрелом возрасте. Во-вторых, указанные затруднения возникают при монистическом

описании лексических значений не случайно, а вследствие затушевывания знаковой сущности языка. Язык — система знаков, связанных между собой определенными отношениями, вследствие чего Ф. де Соссюр выделил в языковом знаке, кроме значения (отношения знака к денотату), еще значимость, ценность (отношение знака к знаку). Включение в язык продуктов индивидуального речевого творчества, контекстуальных явлений, образного употребления слова размывает границы между значениями слов, затушевывает отношения между ними и тем затемняет системность языка. Философ В. В. Лазарев указал на то, что понятие значимости, выдвинутое Ф. де Соссюром, является свойством языка, в то время как в речи каждое слово направлено только на процесс сознания, соотносится с тем или иным элементом его, и отношение его к другим словам в системе остается в стороне. Он сформулировал следующий вывод: «По существу все рассуждения Ф. де Соссюра о языковой значимости и с концептуальной, и с материальной ее стороны сводятся к политике разграничения языковых и речевых единиц коммуникативной деятельности. Он проводит принципиальное различие между языковой концептуальной значимостью как системой реляционных свойств и речевым значением как отражением абсолютных онтологических свойств» [4, с. 92]. Такой подход де Соссюра он считает важным достижением лингвистической теории, и в этом он прав. Различие языка и речи является результатом двойственности природы языка. С одной стороны, язык есть система знаков, так прочно связанных между собой сетью парадигматических отношений, что де Соссюр назвал его даже системой чистых отношений. Но, с другой стороны, язык является выражением сознания, вследствие чего его знаки должны связываться между собой синтагматическими отношениями таким образом, чтобы образовывать единое целое, контекст, полностью соответствующее содержанию сознания и стремлениям говорящего, что требует творчества от говорящего.

До сих пор мы оперировали материалом лексики. Грамматика, в которой главную роль играют внутренние отношения, больше относится к области языка, но и в ней есть речевой аспект. Только в речи полностью осуществляются такие семиологические функции языковых знаков, указанные Ю. С. Степановым, как предикация и локация (в языке есть только средства для них), и широко разворачивается взаимодействие грамматики с лексикой. Последнее свойство грамматики успешно исследует А. В. Бондарко в своей теории функционально-семантических полей. Эти поля он разделяет на моноцентрические и полицентрические. Моноцентрические поля образуются вокруг определенных грамматических категорий, являющихся элементами языка (они больше принадлежат языку). Полицентрические поля представляют собой объединения разнородных грамматических и лексических средств, выполняющих в речи сходные функции или же сочетающихся между собой в одной функции (они больше связаны с речью). При этом А. В. Бондарко считает обязательным при исследовании всякого функционально-семантического поля доходить до конкретного высказывания [5, с. 493].

Объединение в едином, монистическом описании грамматического строя системы грамматических форм, синтаксических структур и всего разнообразия функционально-семантических полей вряд ли могло бы получиться удовлетворительным. Такое описание неизбежно распадается на структурную и функциональную грамматику.

В лингвистике существует мнение, что концепция языка как сложной системы разнородных единиц, связанных между собой оппозициями различного рода, основанная Ф. де Соссюром и развиваемая дальше его последователями, является искусственным построением языковедов. Оно продиктовано стремлением не отставать от новых течений, возникших в разных науках, быть на уровне своего века и не отражает реальности языка. Реальный же язык — это сам процесс речевого общения, и в нем отсутствует системность.

С этой точки зрения работы по фонологии и грамматике различных языков отражают только системы абстракций, создаваемые языковедами,

но не сами языки. Однако изучение иностранных языков наглядно демонстрирует тот факт, что изучение работ по фонологии и грамматике является необходимым этапом на пути к овладению конструкциями живой речи и в конечном итоге приводит к возможности общения на иностранном языке. Единицы фонологии и грамматики и оппозиции между ними, устанавливаемые лингвистикой, — не выдумки языковедов, а реальность языка. Правда, в процессе речи люди не думают об этой реальности, но это не значит, что она не существует. Оппозиции между фонемами русского языка всем говорящим по-русски, за исключением языковедов, неизвестны, но именно вследствие существования этих оппозиций говорящие считают заднеязычные звонкие согласные (смычную и фрикативную) вариантами одного звука, различающимися только тем, что один из них правильный, а другой неправильный, в то время как соответствующие глухие *к* и *х* признаются несомненно разными звуками. Открытое и закрытое *е* русские не считают даже разными вариантами, а вообще не различают их, в то время как для любого француза это совершенно разные звуки. О грамматических формах употребляемых слов люди в процессе речи также не думают. Еще Д. Н. Овсяннико-Куликовский обратил внимание на то, что «грамматическая форма слов мыслится бессознательно, автоматически» [6, с. 11], но именно посредством этих грамматических форм люди связывают слова в речи. Это и есть система языка, точнее — фонетическая и морфологическая подсистемы.

В отношении слов дело обстоит гораздо сложнее, потому что слова являются единицами не только языка (номинативные единицы), но и речи (коммуникативные единицы). Однако и слова входят в определенные оппозиции (в пределах семантического поля, по линии синонимии и антонимии и т.д.). Эти оппозиции в процессе речи обычно не осознаются (а если и осознаются, то слабо), но они детерминируют употребление слова в речи. Так, слово *добрый* может быть синонимом к слову *хороший* или не быть им, в зависимости от того, противопоставляется ли оно слову *злой* или слову *плохой*. Если антонимом его является *злой*, то оно употребляется только по отношению к человеку и обозначает мягкость его характера, расположение к другим людям, желание добра им. Если же оно противопоставлено слову *плохой*, то обозначает то же, что и *хороший*, но с оттенком архаичности (*добрый конь*, *доброе начало*). Это лексическая подсистема языка. В совокупности все подсистемы составляют целостную систему языка. Последняя, как видим, представляет собой не только итог исследовательской работы лингвистов, но и реальную основу речевого общения, несмотря на то, что она пребывает в значительной степени в бессознательной области психики людей.

К бессознательной области относятся, в основном, отношения между знаками. Однако в определенных условиях человек в той или иной степени осмысливает структуру своего языка, и тогда отношения между ними осознаются. В условиях цивилизации это осмысление связано главным образом со школьным обучением, но есть и другой источник его, действующий всегда, — знакомство человека с чужим языком. Необходимость понимать речь на каком-нибудь другом языке, возникающая у людей в разные времена, неизбежно заставляет человека сравнивать чужой язык с родным, а это ведет к осознанию структуры языка и соотношения между его знаками.

Речь же есть выражение сознания посредством языка, и в ней все осознано. В процессе речи вся умственная энергия говорящего направлена на адекватное выражение мыслей, настроения и на воздействие на чувства слушателей посредством языковых знаков; оппозиции между знаками, составляющие характерную черту языковой системы, присутствуют в речи только в скрытом виде. Открыто в речи господствует не языковая системность, а контекст. Если в языке значение слова испытывает на себе влияние единства лексической системы, то в речи над ним доминирует единство текста (или диалога) и предложения как отражение единства содержания сознания и его отдельного акта. Поток сознания соотносится с внешней ситуацией, порождает контекст и нуждается в творчестве гово-

рящих. Речевое творчество имеет не только индивидуальный, но и коллективный характер и осуществляется на основе жизненной практики людей.

Оттого что язык формируется и видоизменяется в массовой речи (в течение веков), а речь определяется общественной практикой, язык не может быть системой строго последовательной и гармоничной, но никто и не утверждает, что система языка логически правильна, непротиворечива и математически жестка. Общеизвестно, что в системе языка всегда есть внутренние противоречия и нет полной гармонии.

Не меньшие затруднения и в теории, и в практике возникают тогда, когда языку приписывается соотнесение с внешней ситуацией речи. Последнее больше всего отражается на структуре предложения. В определенных ситуациях предложение может приобрести структуру, не предусматриваемую никакой грамматикой, например, *Вашу руку!* В этом предложении нет ни подлежащего, ни сказуемого, одно только дополнение с определением. Но Г. В. Колшанский, руководствуясь монистической установкой, утверждает, что в предложении нет второстепенных членов, а есть только субъект и предикат, выражающие субъект и предикат мысли. Полностью эта мысль могла бы быть выражена так: *Дайте пожать Вашу руку. Дайте* — сказуемое, следовательно, по-видимому, предикат. Но *руку* не может быть грамматическим субъектом, им может быть только *Вы*. Итак, структура этого предложения такова: *Вы дайте пожать Вашу руку*, где *Вы* — грамматический субъект, а все остальные слова выражают грамматический предикат. Этот вывод ставит нас перед неразрешимыми вопросами. Во-первых, мысль, выраженная в нашем предложении, не обязательно должна быть такой, как мы ее сформулировали. В другой ситуации это может быть *Уберите Вашу руку*, в третьей — *Протяните Вашу руку для перевязки* и т. д. Во-вторых, и это главное, и в выведенной нами структуре грамматический субъект существует только в мысли, а звуками он не обозначен; слово же, обозначающее предикат (*дайте*), также не обозначено звуками. Известно, что единицы языка — единицы двусторонние (единство означающего и означаемого). Может ли существовать в языке единица, состоящая только из означаемого, но лишенная означающего? Вряд ли. Таков один из теоретических результатов неразличения языка и речи.

Соотнесение с внешней ситуацией может отражаться и на употреблении слова. К примеру, если при появлении какого-то мужчины будет произнесено слово *Генерал!*, то в одной ситуации оно может выражать почтение к генеральскому званию данного человека, в другой — насмешку, в третьей — удивление по поводу такого звания у такого человека и т. п. Впрочем, немалую роль в различении этих отношений играет и интонация. Во всяком случае, вряд ли можно сказать, что выражение этих отношений входит в языковое значение данного слова. Очевидно, что во всех ситуациях слово *генерал* имеет одно и то же значение, а выражение индивидуального отношения говорящего к денотату этого слова достигается речевыми средствами.

Что касается интонации, то она является важнейшим средством, выражающим отношение говорящего к предмету речи, не будучи при этом элементом языковой системы.

Эти факты и многие другие говорят о том, что язык и речь необходимо различать и наряду с лингвистикой языка разрабатывать лингвистику речи, не смешивая их. Но неверно было бы думать, что эти две лингвистики — разные науки, изучающие разные объекты. Обе они изучают один и тот же объект — человеческую речь, но изучают ее в различных аспектах и являются двумя основными подразделениями единой лингвистики. Лингвистика языка изучает речь в аспекте ее знакового состава, свойств знаков, системных отношений между ними и характера системы языковых знаков в целом. Лингвистика речи занимается изучением отношения знаков к индивидуальному процессу сознания, варьирования их в связи с потребностями сознания и творчества, проявляемого человеком в этом процессе. Лингвистика языка опирается на семиотику, лингвистика речи — на психологию.

Что же достигнуто в лингвистике речи и что еще стоит на очереди? Важное значение для лингвистики речи имеют исследования по психолингвистике. Немало сделано в изучении речевых свойств слова, в особенности стилистических свойств, употребления слова в художественном тексте, лексической сочетаемости слов в тексте. А. В. Бондарко успешно исследуются функционально-семантические поля, которые в большинстве случаев складываются на основе речевого употребления слов и грамматических форм. Интенсивно ведутся исследования по структуре текста, и уже выявлены основные средства грамматической связи предложений в сверхфразовом единстве (что, правда, относится не только к речи, но и к языку).

Однако многие важные вопросы еще далеки от решения. Необходимо исследовать пределы, сферы и способы проявления индивидуального и группового творчества людей в речи. В этой области царит еще полная разноголосица — от признания языка областью неограниченного индивидуального творчества до полного отрицания речевого творчества. В области семасиологии нужно разграничить четко языковое значение и речевое употребление слова (образное, эмоциональное, модальное, стилистическое). Нужно исследовать степень возможности и невозможности многозначности слова в речи. Особенно важны вопросы об источниках эмоционального и эстетического воздействия слова на людей.

Многое может дать лингвистика речи и для теории предложения. Анализ предложения с точки зрения выражаемого в нем сознания дает возможность понять, что в предложениях выражаются не только суждения, но и образы, чувства, воля говорящего. Декларативно это обычно признается, но при анализе структуры предложения совершенно не учитывается. Сравнительно недавно было установлено, что, кроме суждения, в предложении выражаются вопрос и побуждение [7, с. 19—26], но другие акты сознания в содержании предложения не отмечаются. Господствует мнение, что содержание предложения всегда состоит из субъекта и предиката, при этом возникает трудный вопрос о субъекте и предикате мысли в номинативных и безличных предложениях. Согласно одному решению, в номинативных предложениях выражается субъект, предикатом к которому является представление о бытии, не выражаемое словесно [8, с. 9, 12]. Согласно другому — в номинативных и безличных предложениях выражаются бессубъектные суждения, состоящие из одного предиката [9, с. 56—57]. Согласно третьему — в этих предложениях выражается предикат суждения, в котором субъект является чувственным представлением, черпаемым из внешней ситуации, и потому не выражается [7, с. 69—70; 10, с. 59—60]. А между тем наблюдения показывают, что номинативные предложения выражают обычно не суждения, а образы. Например, слова из «Бориса Годунова» Пушкина: «Ночь. Сад. Фонтан» явным образом выражают конкретное представление об обстоятельствах свидания Самозванца с Мариной Мнишек, и изображать содержание их в виде суждений типа *Ночь есть. Сад есть. Фонтан есть* или *Это — ночь. Это — сад. Это — фонтан* — значит явно исказить его. Подобное можно сказать и о безличных предложениях. Образ сам по себе един и неделим, но при речевом выражении он расчленяется, и тогда появляется возможность уподобить его суждению и разделить на субъект и предикат. Однако это не обязательно: образ может выражаться и нерасчлененно, одним словом или словосочетанием.

Выражение чувства во многих случаях сопутствует выражению суждения. В таком предложении выделяются члены, выражающие субъект и предикат. Но чувство может выражаться и вне связи с суждением, например: *Как хорошо!*, *Эх вы, умники!*, *Безобразие!*, *Вот так штука!* В таких предложениях, естественно, не может быть ни субъекта, ни предиката.

Побудительные и вопросительные предложения с психологической стороны являются выражением воли (первые — воли к воздействию на поведение другого, вторые — воли к получению информации). Побудительные предложения бывают одночленными, не содержащими ни субъек-

та, ни предиката, например, *Смерть оккупантам!*; *Довольно болтовни!*; *Ни шагу назад!*; *Больше света!*

Это, конечно, не значит, что в приведенных примерах нет предикативности или что они не являются предложениями. Анализ с точки зрения лингвистики речи, т. е. с учетом выражаемого в предложении сознания, ведет и к более обоснованному решению вопроса о предикативности и вообще — о признаках предложения. Приведенные выше предложения свидетельствуют о том, что неверно понимать предикативность как отношение предиката к субъекту в предложении, как это делали М. И. Стеблин-Каменский [11] и некоторые другие ученые, поскольку в такого рода предложениях субъектно-предикатного отношения нет, а предикативность имеется. В наличии предикативности легко можно убедиться, например, если сравнить слово *ночь* с номинативным предложением *Ночь*. Различие оказывается в том, что сравниваемое слово является только названием ночи, а номинативное предложение произносится с особой интонацией, которая означает, что оно соотносится с определенным моментом действительности и выражает утверждение о нем. Этот признак есть во всяком предложении, и именно его Дж. Рис [12, с. 74—75] и В. В. Виноградов [13, с. 12] с полным основанием назвали предикативностью и определили последнюю как отнесение содержания предложения к действительности.

Не оправдывает себя и отождествление предикативности с актуальным членением предложения, выдвинутое И. П. Распоповым [14, с. 84—85], прежде всего потому, что актуальное членение есть далеко не во всяком предложении. В частности, его нет во всех приведенных выше предложениях.

С чисто языковой точки зрения подошла к предложению Н. Ю. Шведова [15, с. 85—87]. Она характеризует предложение как высказывание, соответствующее одной из структурных схем, существующих в языке, и обладающее грамматическим значением предикативности. Предикативность же, по ее мнению, есть грамматическая категория, формируемая значениями синтаксических времен и наклонений. Такая концепция вполне оправдывается в применении к структурным схемам предложения, которые входят в систему языка. В этих схемах предикативность представлена определенными формами, выражающими временные и модальные значения. Но реальные предложения, встречающиеся в речи, не укладываются в рамки этих определений. В них предикативность не может быть ограничена грамматическими значениями времени и наклонения. В речи бывают предложения, не имеющие значения синтаксического времени, например, *Волга впадает в Каспийское море*. Поскольку глагол здесь употреблен в форме настоящего времени, принято считать, что в этом предложении есть и значение данного времени. Однако Н. Ю. Шведова с полным основанием утверждает, что «значения синтаксических времен и наклонений имеют свое формальное выражение и выявляются в системе противопоставлений» [15, с. 86]. В структурной схеме глагол *впадает* может противопоставляться формам *впал*, *впадал* или *будет впадать*, но в данном конкретном предложении такого противопоставления не может быть, это предложение вневременно. А то, что глагол стоит в форме настоящего времени, не имеет значения, потому что во вневременных предложениях глагол может быть и в будущем времени, например, *Что посеешь, то и пожнешь*. И даже если предложение имеет значение времени, то для предикативности это бывает несущественно, особенно в предложениях, выражающих образы и чувства. Для такого номинативного предложения, как *Вновь оснеженные колонны, Елагин мост и два огня* (А. Блок), несущественно, говорит ли Блок о том, что является перед ним в момент речи, или вспоминает образ, виденный в прошлом. Предикативность здесь заключается в самом утверждении образа. В предложениях, выражающих чувства, типа *Безобразие!*; *Эх вы, умники!* существенно также утверждение чувства, но не отношения его к моменту речи.

В. А. Звегинцев подошел к предложению больше со стороны речи. Он полагает, что основные признаки предложения состоят в том, что оно обладает законченным смыслом и соотносится с внешней ситуацией [16,

с. 176—177]. Но почему-то В. А. Звегинцев отрицает термин «предикативность», в то время как наши выдающиеся синтаксисты этот термин употребляли и их определения оказываются более точными. Так, Д. Н. Овсяннико-Куликовский говорил о предикативности и определял последнее как утверждение [17, с. 33]. А. А. Шахматов, считавший смысл предложения сочетанием двух представлений, говорил о предикативном отношении в предложении и определял его как отношение утверждения. В. В. Виноградов основной признак предложения назвал предикативностью и определил последнюю как отнесение содержания к действительности. Термин «смысл» отличается от приведенных выше терминов и определений своей неопределенностью. Он еще более сомнителен, чем принятый в школьной грамматике термин «законченная мысль», потому что некоторые языковеды говорят о смысле слова, различая в слове значение и смысл. Чтобы придерживаться этого термина, нужно установить прежде всего, чем отличается смысл предложения от смысла слова. Отличие это указано еще в определениях Д. Н. Овсяннико-Куликовского и А. А. Шахматова: предложение выражает утверждение, в то время как слово — определенное понятие или представление. А что такое утверждение — определить нетрудно: это простейший акт активного движения сознания. В нем и заключается предикативность. С ним связано и отнесение содержания предложения к действительности, поскольку движение сознания обычно направлено на действительность; однако термин «утверждение» все же точнее, потому что в некоторых случаях содержание предложения относится не к объективной действительности, а к сознанию самого говорящего (ср. *Эта мысль беспокоит меня*).

Что же касается привязанности предложения к ситуации, то она наблюдается не всегда. Предложения вневременного значения не привязаны к какой-либо ситуации.

Термин «утверждение» некоторые лингвисты не решаются применять к предложению потому, что усматривают утверждение только в суждении и не хотят ограничивать предложение рамками суждения. Однако утверждение как акт активного движения сознания есть не только в суждении, но, очевидно, и в побуждении. Образ может возникнуть в сознании человека и помимо его воли, но когда образ получает речевое выражение, он осознается, расчленяется и сочетается с активным движением мысли, т. е. также утверждается. И чувство, когда становится актом сообщения, также сочетается с движением мысли и утверждается. Утверждения бывают не только логические, но и образные, эмоциональные и волевые.

Лингвистика речи обладает наибольшими возможностями анализа единиц языка и речи и выработки единой концепции уровней, охватывающей уровни языка и речи. Не ставя перед собой задачи решить полностью в данной статье эту проблему, попробуем продемонстрировать возможности, о которых идет речь, на примере одной концепции.

Существующие теории уровней обычно ориентированы только на язык. Общепризнаны уровни фонем, морфем, слов и предложений. Из них только уровень предложений может рассматриваться как чисто речевой, но языковеды, выдвигающие эту классификацию, за исключением Э. Бенвениста [2, с. 139], обычно не уточняют, в каком аспекте они берут предложение и относят ли они его к речи.

В. А. Звегинцев под уровнем фонем помещает еще уровень дифференциальных признаков, между фонемой и морфемой помещает еще слог и между словом и предложением — словосочетание [16, с. 47—51]. Эти дополнения вызывают сомнения. Что касается дифференциального признака, то само название его говорит о том, что он есть п р и з н а к единицы языка, но не отдельная единица. А относительно слогов и словосочетаний автор сам признает, что выделение их в качестве отдельных уровней не совсем правомерно, и называет их факультативными уровнями или суперуровнями, впрочем, без разъяснения смысла этих терминов.

В коллективном труде «Общее языкознание. Внутренняя структура языка» [18, с. 92—116] содержится теория Т. В. Булыгиной и Г. А. Климова, в которой, кроме знаковых уровней — морфемы, слова, предло-

жения, авторы, исходя из асимметрии языкового знака, выделяют еще незнаковые уровни — раздельно в плане выражения и в плане содержания. В плане выражения выделяются следующие уровни: фонема, слог, фонологическое слово, фонологическая фраза. В плане содержания в качестве низшего уровня выделяются элементарные значения, которые имеют различный характер в лексике и в грамматике. В лексике это семы, в грамматике — отдельные элементарные грамматические значения словоформы. На следующем уровне это лексическое и общее грамматическое значение. Более высокие уровни составляют значение слова в целом (или ономаема) и предложение. Все эти единицы, как знаковые, так и незнаковые, выделяются на основе научного анализа, а не реального использования их в речи говорящими, и, следовательно, относятся к области языка как более абстрактной. В речи говорящие используют не фонемы или слоги (они не знают ни сем, ни элементарных грамматических значений), а высказываются предложениями, которые составляют из слов.

Ю. С. Степанов [19, с. 218—220] исходит из свойства вариативности языковых единиц в речи и различает единицы абстрактные и конкретные. Абстрактными являются фонема, морфема, слово, структурная схема словосочетания, структурная схема предложения. Конкретными — аллофон, морф (или алломорф), слово (конкретизированное в речи), словосочетание, предложение. Необходимость различения в языке уровней абстрактных единиц и конкретных автор обосновывает тем, что только между конкретными единицами существуют конституентные отношения: аллофоны составляют морф, морфы — слово, слова — словосочетание и предложение. По мнению автора, неверно утверждение, что фонемы образуют морфему или морфемы образуют слово, потому что ни слово, ни морфема не состоят из абстрактных единиц. Поскольку конкретные единицы, по признанию автора, являются реализациями (или репрезентациями) абстрактных, а реализации эти могут происходить только в речи, складывается представление, что конкретные единицы есть единицы речи. Однако в действительности это не так. Говорящие не знают никаких аллофонов, никаких алломорфов. Все это — результат научного анализа, а в отношении аллофонов — даже с применением специальных аппаратов. Говорящие оперируют словами, а если поставить перед кем-нибудь из них вопрос о составе слова, то грамотный человек может разделить слово на фонемы и указать в нем наиболее ясно выделяющиеся морфемы. Но ни аллофонов, ни алломорфов никакой говорящий на данном языке, даже высокообразованный (за исключением лингвиста), не различает. Конкретные слова, словосочетания и предложения автор рассматривает только как репрезентации абстрактных слов и структурных схем; вся речевая специфика их в данной классификации не учитывается; следовательно, и они рассматриваются по существу как конкретные единицы языка. Таким образом, и классификация уровней Ю. С. Степанова имеет в виду уровни языка, но не речи (что, конечно, не умаляет ее значения).

При разработке более всеобъемлющей классификации уровней речи-языка прежде всего нужно учитывать, что единицы речи-языка разделяются по функциям на строевые, номинативные и коммуникативные.

Самый нижний уровень, как общепризнано, составляют фонемы. Над ними возвышается уровень морфем, причем между ними существует конституентное отношение: морфема состоит из фонем. То, что в речи фонема физически бывает представлена рядом аллофонов, не имеет значения, потому что речь — это не физический процесс, а социальное явление, природа которого определяется коммуникативной функцией. А в коммуникативной функции речи выступают фонемы, а не аллофоны. При этом фонемы и морфемы входят в речь через язык; непосредственно они являются строевыми единицами языка. Над морфемами располагается уровень слов, причем он подразделяется на языковой и речевой. Слово с его основными, общеизвестными значениями в том виде, как оно содержится в памяти языкового коллектива и представлено в словарях, есть номинативная единица языка. Контекстное слово с его особым вариантом значения, особым оттенком и особой экспрессией есть коммуникативная единица

речи. При этом нельзя игнорировать тот факт, что в речи слово входит в состав предложения, грамматически связываясь с другими словами, т. е. в виде той или иной словоформы. Уровень словоформ, также речевой, помещается рядом с уровнем слов над уровнем морфем. То, что над уровнем морфем находятся рядом два уровня — слов и словоформ, объясняется тем, что морфемы по функции разделяются на словообразовательные и словоизменяемые; первые входят в состав слов, вторые — в состав словоформ. Над словоформами (и словами) поднимается уровень предложения. Но как словоформы, так и предложения характеризуются прежде всего определенными структурами, которые удерживаются в памяти языкового коллектива в виде определенных типов, моделей. Модели словоформ мы называем грамматическими формами слов, модели предложений — структурными схемами. Эти единицы относятся к языку, составляют в нем два верхних уровня. Уровень грамматических форм находится над уровнем морфем (словоизменяемых), рядом с уровнем слов (находящимся над словообразовательными морфемами). Слова являются номинативными единицами, а грамматические формы — строевыми. Структурные схемы предложения — также единицы строевые; но, в отличие от фонем и морфем, которые являются строевыми единицами слова, грамматические формы и структурные схемы являются строевыми единицами предложения. В речи есть только одна чисто речевая строевая единица: контекстное, коммуникативное слово в определенной словоформе. Но поскольку эта единица существует только в предложении и коммуникативной сущностью последнего определяются все ее свойства, она, будучи строевой, является вместе с тем коммуникативной.

Возникает принципиальный вопрос: если структурная схема предложения является верхней единицей языка, а конкретное предложение — верхней единицей речи, причем структурная схема реализуется в предложении, можно ли низводить структурную схему до строевого элемента предложения? Возможность и даже необходимость такого решения становится ясной при учете общего соотношения между языком и речью. Конечно, структурная схема — особая строевая единица, по своему объему равная предложению, но предложение есть не просто репрезентация или реализация структурной схемы, в нем реализуются функции и слов и словоформ, а вместе с ними — и абстрактных слов, и грамматических форм. Все дело в том, что язык есть материал для речи, и поэтому все его единицы служат не для того только, чтобы создавать структурные схемы предложения, но, главным образом, чтобы создавать конкретные предложения как выражения мыслей, чувств и воли. Следовательно, высшей единицей и для речи, и для языка является речевая единица, служащая главным звеном в выражении сознания. Такой единицей является предложение. В нем не только реализуется структурная схема, но и находят свое применение слова как номинативные единицы. Превращаясь в единицы коммуникативные, они входят в предложение в определенных словоформах и сочетаются между собой грамматически соответственно творческому построению выражения говорящим. А в словах и словоформах осуществляются функции фонем и морфем. Предложение есть высшая единица речи, в которой осуществляются функции и синтез всех других единиц и речи, и языка. Как единица предложение является составным элементом более крупного образования — текста. Текст же не входит в состав какого-то более крупного речевого образования, он, следовательно, не является единицей, он есть речевое произведение.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Колшанский Г. В. Проблемы коммуникативной лингвистики. — ВЯ, 1979, № 6.
2. Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.
3. Бассин Ф. В. У пределов распознанного: к проблеме преречевой формы мышления. — В кн.: Бессознательное. Т. III. Тбилиси, 1978.
4. Лазарев В. В. Философия и лингвистика. Ростов-на-Дону, 1983.
5. Бондарко А. В. Основы построения функциональной грамматики. — ИАН СЛЯ, 1981, № 6.

6. *Овсяннико-Куликовский Д. Н.* О значении научного языкознания для психологии мысли.— В кн.: Вопросы теории и психологии творчества. Харьков, 1907.
7. *Чесноков П. В.* Логическая фраза и предложение. Ростов-на-Дону, 1961.
8. *Шахматов А. А.* Синтаксис русского языка. I. Л., 1925.
9. *Галкина-Федорук Е. М.* Суждение и предложение. М., 1956.
10. *Бабайцева В. В.* О выражении в языке взаимодействия между чувственной и абстрактной ступенями познания действительности.— В кн.: Язык и мышление. М., 1967.
11. *Стеблин-Каменский М. И.* О предикативности.— Вестник ЛГУ, 1956, № 20, вып. 4.
12. *Ries J.* Was ist ein Satz? Prag, 1931.
13. *Виноградов В. В.* Некоторые задачи изучения синтаксиса простого предложения.— ВЯ, 1954, № 1.
14. *Распопов И. П.* Строение простого предложения в современном русском языке. М., 1970.
15. Русская грамматика. Т. II. М., 1980.
16. *Звегинцев В. А.* Предложение и его отношение к языку и речи. М., 1976.
17. *Овсяннико-Куликовский Д. Н.* Руководство к изучению синтаксиса русского языка. М., 1907.
18. Общее языкознание. Внутренняя структура языка. М., 1972.
19. *Степанов Ю. С.* Основы общего языкознания. М., 1975.

МИРОНОВ С. А.

**СТИЛИСТИЧЕСКОЕ РАССЛОЕНИЕ В ЯЗЫКЕ НИДЕРЛАНДСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XVII в.**

XVII век является наиболее важной и значительной вехой в истории нидерландского языка. Это, прежде всего, период формирования основ наддиалектной литературной нормы нидерландского языка, складывавшейся в результате смены диалектной базы на основе ведущего северного голландского регионального варианта, в то время как брабантский и фламандский варианты в Южных Нидерландах утрачивают в этот период свою былую значимость. В связи с бурным развитием классической нидерландской литературы и регламентирующей деятельностью грамматистов-нормализаторов именно в XVII в. вырабатываются основы языковой нормы. В этот период определилось также ведущее направление функциональной эволюции нидерландского литературного языка, специфика его социальной дифференциации и его стилистического расслоения как сложной многофункциональной системы. В XVII в. осуществляется постепенная стабилизация нормализационных процессов, протекавших исключительно сложно и противоречиво на предыдущем этапе развития литературного нидерландского языка (в XVI в.). Кодификация литературной нормы в XVII в. распространяется лишь на письменную форму языка, тогда как в устной его разновидности она реализуется значительно позже. Особенно это относится к выработке орфоэпической нормы. Ее отставание от фиксации письменной формы литературного национального языка характерно не только для Нидерландов, но, как известно, и для Германии [1]. Тем самым нидерландский литературный язык этой эпохи еще не достиг той функциональной универсальности, которую принято считать одним из отличительных свойств национального языка [2]. Тем не менее в XVII в. происходит интенсивное расширение функций литературного языка (как высшего страта функциональной парадигмы)<sup>1</sup> и углубление его жанрово-стилистической дифференциации (за счет выделения различных типов стилистического расслоения литературного языка). Это проявляется в распространении его на новые функциональные сферы и, в первую очередь, на новые прозаические жанры письменности, диапазон которых заметно расширяется. Здесь следует упомянуть об интенсивном развитии научной, научно-популярной, клерикальной и отчасти деловой прозы, а также об издании учебных пособий и популярной литературы для чтения, в которых постепенно выкристаллизовываются элементы и складываются основы промежуточного нейтрального стиля.

Расширение функций родного языка в области науки и техники относится преимущественно к сфере лексики. Научная проза обогащается специальной терминологией по различным отраслям знания (в частности, философии, естествознанию, языкознанию, праву, истории, географии, кораблестроению, инженерному делу и т. п.). Новая более разветвленная терминология в области науки и техники возникает преимущественно на базе родного языка в связи с типичными для этого периода пуристическими установками. Меньше это проявляется в сферах философии и права, где традиционное засилие латыни обнаруживается в большей степени.

<sup>1</sup> В XVII в. осуществляется стабилизация и закрепление сложившейся к концу XVI в. трехчленной модели функциональной парадигмы нидерландского языка (в составе высшего страта — литературного языка, промежуточного страта — городского койне Амстердама и низшего страта — территориальных диалектов). Ср. подробнее [3].

В области языкознания появляется целый ряд трактатов по орфографии и грамматике нидерландского языка, написанных уже на родном языке.

В сфере распространения жанра клерикальной литературы в XVII в. стояла важная задача (поставленная еще Реформацией) перевода Библии, сыгравшего значительную роль в регламентации и нормализации литературного нидерландского языка, а также в переходе школьного преподавания на родной язык. Нивелированный (сочетавший северные и южные черты) язык перевода Библии приобретал определенный наддиалектный, но вместе с тем архаизирующий и книжный характер, оторванный от живого обиходно-разговорного языка XVII в. Проявляясь здесь на всех уровнях языковой структуры, эти черты свидетельствуют о стилистической специфике языка перевода, обнаруживающего типичные приметы и признаки высокого стиля.

Значительно расширяется в XVII в. и сфера применения деловой прозы, связанная с интенсивным развертыванием деятельности различных учреждений, ведомств и канцелярий, с оформлением соответствующей официальной документации (постановлений, указов, посланий и писем). Язык деловой письменности также характеризуется значительной консервативностью, формальностью и архаизацией стиля. Однако одновременно обнаруживается процесс расслоения деловой прозы и вычленения из нее частной переписки (нередко окрашенной диалектально и тяготеющей к разговорному или нейтральному стилю). Таким образом, в XVII в. наблюдается значительное расширение диапазона функционирования нидерландского литературного языка в различных (ранее охваченных латынью) сферах коммуникации.

Художественная литература, издавна развивавшаяся на почве родного языка (хотя и под явным, но постепенно затухающим влиянием античной и французской литературной традиции), также характеризуется в XVII в. многообразием жанров, особенно в связи с исключительным подъемом и расцветом нидерландской классической литературы и появлением целой плеяды выдающихся писателей (Бредеро, Костера, Катса и Хейгенса), среди которых выделялись такие корифеи нидерландской литературы, как Хофт и Вондел. Все они внесли огромный вклад в выработку наддиалектной литературной нормы и в формирование функционально-стилистической системы литературного нидерландского языка. Язык художественной литературы обнаруживает еще большее многообразие, чем язык других, упомянутых выше функциональных сфер применения языка XVII в.

Характерной чертой нидерландской художественной литературы XVII в. является абсолютное превалирование в ней разнообразных стихотворных и драматических жанров: от «высокой» поэзии и классической трагедии (относящихся к возвышенному стилю) у Хофта и Вондела до жанровых песен, клуэтов и бытовых комедий (сниженного стиля) у Бредеро и Костера (отчасти и у Хофта, Вондела и Хейгенса), от едких эпиграмм и маньеристской лирики Хейгенса до морально-дидактических поэм Катса. В некоторых прозаических жанрах, возникших в эту эпоху, в процессе сближения и нейтрализации ведущих стилей (возвышенного и сниженного) и в сфере художественной литературы складываются и постепенно закрепляются элементы промежуточного нейтрального стиля. Он охватывает преимущественно такие новые прозаические жанры, как: описание путешествий, научно-популярные филологические заметки, исторические хроники и трактаты, принадлежащие перу писателей-классиков, их обширное эпистолярное наследие, а также их прозаические предисловия и введения к трагедиям высокого стиля и комедиям сниженного стиля. Сюда можно также отнести такие жанры, как басни и эпиграммы. Зачатки нейтрального стиля обнаруживаются также в произведениях, в целом относящихся либо к высокому, либо к низкому стилю. Таким образом, функционально-стилистическая система литературного нидерландского языка XVII в. складывается из двух ведущих, контрастно противопоставленных стилей: высокого (или возвышенного), представленного поэзией и классической трагедией (с вычленением книжного, архаизирующего

стиля перевода Библии и с зачатками нейтрального стиля), и низкого (или сниженного), присущего жанровым стихам, клухтам и комедиям, насыщенным просторечными элементами (в лексике) и проникнутым диалектными признаками и чертами городского койне (на фонетическом и отчасти морфологическом уровнях)<sup>2</sup>. Находящийся в процессе формирования нейтральный стиль, связанный со становлением на базе городского койне обиходно-разговорного нидерландского языка, занимает промежуточное положение между двумя основными стилями. Он сочетает в себе более или менее стертые и нивелированные признаки или маркеры высокого и низкого стилей, подвергающиеся постепенной нейтрализации.

Язык писателей-классиков XVII в., несмотря на их явное, сознательное стремление избежать употребления местных ареальных (как брабантско-фламандских, так и голландских) особенностей и просторечных элементов и на тенденцию их сглаживать и нивелировать (особенно если речь шла о произведениях высокого стиля), все еще сохранял локальную диалектную окраску, отмечаемую на различных уровнях языковой структуры. Голландская народно-разговорная речь, а в устах действующих лиц — даже диалект и городское койне чаще всего находили отражение в комедиях и клухтах Бредеро, а отчасти Хофта и Костера, наиболее активных и последовательных пропагандистов северного (голландского) варианта литературного языка. Однако и они не были свободны от воздействия южнонидерландской литературной традиции. В наибольшей степени последняя проявлялась в языке писателей-южан — Катса, Хейгенса и раннего Вондела. В первой половине XVII в. влияние канонической риторической грамматики с ее южнонидерландской спецификой было еще значительным и продолжало довлеть над языком писателей-классиков (а в некоторых сферах языковой структуры не затухало и во второй половине XVII в.). Правда, Вондел и Хофт в своих поздних классических произведениях сознательно шлифовали свой язык и добивались значительной его нивелировки, устрояя из него, с одной стороны, архаические черты, а с другой — местные диалектные особенности.

Специфической чертой нидерландского литературного языка XVII в. (отражающей в стертой и нивелированной форме его региональное членение эпохи средневековья) является, таким образом, сохранение в разножанровых литературных произведениях ряда более или менее устойчивых локальных признаков и диалектной окрашенности. Это проявлялось на всех уровнях языковой структуры, прежде всего (как и в немецком языке<sup>3</sup>) в лексике и синтаксисе, но, что особенно показательно, в значительной степени также (в отличие от немецкого языка) на фонетико-орфографическом и морфологическом уровнях. Все эти признаки и особенности постепенно утрачивают свой ареальный характер, переосмысливаются и, приобретая функционально-стилистическую значимость, широко используются нидерландскими писателями в чисто стилистических целях — как маркеры высокого или низкого (а отчасти и формирующегося нейтрального) стилей.

Язык писателей-классиков XVII в. многослоен в функционально-стилистическом плане на всех уровнях. Их поэзия и драматургия (трагедии, написанные по античному образцу) характеризуются возвышенным стилем. Язык их далек от обиходно-разговорного узуса, академичен и малодоступен, сложен по своей синтаксической структуре, насыщен неологизмами и богатой синонимикой. И в то же время он лишен элементов консервативности и архаизации, присущих высокому книжному стилю языка перевода Библии, осуществленного в XVII в. С другой стороны, в жан-

<sup>2</sup> Эти черты маркируют в свою очередь расслоение голландского городского койне на более «грубое», «низкое» и более нивелированное, диалектно менее окрашенное. Эта стратификация используется писателями XVII в. (особенно Бредеро, а отчасти Костером, Хофтом и Хейгенсом) для характеристики языка персонажей своих комедий.

<sup>3</sup> М. М. Гухман и Н. Н. Семенов, анализируя стилистическое варьирование немецкого языка, приходят к следующему выводу: «... стилистическое варьирование базируется главным образом на лексическом и синтаксическом материале, тогда как территориальное основывается преимущественно на явлениях графика-фонетического порядка, а отчасти и на морфологических и лексических разграничениях» [4].

ровых стихах, комедиях и клухтах он насыщен просторечными элементами городского койне и диалектизмами, обнаруживая явные приметы низкого стиля. Поэтому индивидуальный стиль ведущих писателей XVII в., писавших в разных жанрах и стилях, обнаруживает гетерогенное стилистическое расслоение и хронологически разновременное сочетание разных стилей.

Разноуровневая стилистическая система нидерландского языка, сложившаяся в XVII в., выявляется в целом комплексе специальных стилистических помет, маркирующих отнесенность тех или иных памятников или отрывков текста к тому или иному стилю.

Рассмотрим ниже в самых общих чертах их распределение и реализацию у наиболее видных писателей-классиков — Хофта и Вондела и некоторых других. Спецификой произведений Хофта было широкое использование северного (голландского) варианта, которому он (как уроженец Амстердама) на раннем этапе своей литературной деятельности был особенно привержен. Однако в дальнейшем он испытал значительное воздействие южнонидерландской (брабантско-фламандской) языковой и литературной традиции (тесно связанной с высоким стилем), а на позднем этапе своего творчества снова в известной степени отошел от нее. Вондел, напротив, будучи южанином (брабантцем) по своему происхождению, на раннем этапе находился под интенсивным влиянием южнонидерландской традиции риториков, от которой он постепенно освобождался, приближаясь к северному (голландскому) литературному варианту, тогда как в поздний период своей литературной деятельности он также шлифовал и нивелировал свой язык в плане создания компромиссного нейтрального стиля и закрепления определенных наддиалектных тенденций. Язык Бредеро обнаруживает в максимальной степени голландские черты, а язык Хейтенса проникнут определенными брабантскими особенностями.

Важнейшими фонетико-орфографическими стилистическими признаками, маркирующими высокий и низкий (а также формирующий промежуточный — нейтральный) стили, являются следующие пять противопоставлений.

#### I. Оппозиция широких вариантов кратких гласных — узким

Высокий (возвышенный) стиль	Нейтральный стиль	Низкий (сниженный) стиль
Широкие варианты кратких гласных <i>e</i> , <i>o</i> в корне (понижение) типа: <i>met</i> , <i>ben(t)</i> , <i>locht</i> , <i>konst</i> (первоначально — кижный фламандско-брабантский ареальный признак)	Компромиссное сочетание широких и узких вариантов типа: <i>met</i> , <i>ben(t)</i> , <i>lucht</i> , <i>kunst</i>	Узкие варианты кратких гласных <i>i</i> , <i>u</i> в корне (повышение) типа: <i>mit</i> , <i>bin(t)</i> , <i>lucht</i> , <i>kunst</i> (первоначально — северный, голландский ареальный признак)

Хофт в своих классических национально-героических трагедиях высокого стиля («Герардт ван Велзен», «Бато», а также в пасторали «Гранида»), относящихся к зрелому периоду его литературной деятельности, находился под влиянием престижной южнонидерландской письменно-литературной традиции. Он довольно последовательно использует широкие варианты гласных *e*, *o* в соответствующих лексемах [ср.: *met*, *ben(t)*, *brenghen*, *op*, *vol*, *bedorven*, *bestorven*], а в более поздней классической трагедии «Бато» и весьма типичные для высокого стиля брабантские варианты *locht* (наряду с голл. *lucht*), *konst*, *cunnen* (которые здесь еще устойчивы). С другой стороны, в более ранних «Герардте ван Велзен» и «Граниде» еще удерживаются исконные голландские узкие варианты этих лексем: *lucht*, *kunst*, *cunnen* (ср. также *burgher*, наряду с *borgher*). Превалирующим в произведениях высокого стиля широким вариантам *e*, *o* четко противопоставлены как маркеры сниженного стиля в городском койне Амстердама (в народной комедии «Простофиля») соответствующие узкие варианты *i*, *u* [ср.: *mit*, *bin(t)*, *dul*, *lucht*, *brdurven*, *besturf*]. Ср. также голландские диалектные формы с лабиализацией  $i > u$  (типа *wur*, *rubben*), маркирующие низкий стиль.

В то же время на позднем этапе литературной деятельности Хофта (в его «Письмах» и особенно в прозаических «Нидерландских историях») отмечается более четкое разграничение и закрепление тех или иных широких и узких вариантов (близкое современному узусу). Такое разграничение возникло в результате сознательной обработки и шлифовки им своего языка и стиля, что привело к постепенному формированию свойственного этим жанрам нейтрального стиля. Это находит свое выражение в переоценке и в компромиссном сочетании ряда широких (южных) вариантов с *e*, *o* и ряда узких (голландских) вариантов с *i*, *u* в корне. Первые утрачивают свою значимость маркеров высокого стиля и нейтрализуются [как, например, *met*, *ben(t)*, *hem*, *brenghen*, *op*, *vol*, *bedorven*], вторые теряют свою связь со сниженным стилем, приобретая большую престижность, и также нейтрализуются (как, например, *is*, *mis-*, *-nis*, *licht*, *gunst*, *kunnen*, *kund-schap*, отчасти *kunst*, т. к. престижный брабантский вариант *konst* всё еще применяется Хофтом в эпистолярном жанре). В то же время другие (типично брабантские) варианты с *o* в корне (*borgher*, *locht*, *konnen* и т. д.), подвергаясь переоценке, уже вытесняются или же не допускаются в произведения формируемого нейтрального стиля, заменяясь, как мы видели, вариантами с *u* в корне. Возникает характерное для этого стиля гетерогенное и компромиссное сочетание маркеров высокого и низкого стилей, подвергающихся нейтрализации.

Вонделу в своих ранних стихах и трагедиях (как южанину по происхождению) в еще большей степени присуще использование широких вариантов гласных (особенно браб. *o*) в качестве маркеров высокого стиля (ср.: *met*, *ben*, *brenghen*, *bos*, *locht*, *borger*, *konstig*, *konnen*, *storten* и т. д.). Характерно также наличие колебаний в огласовке ряда лексем (в частности: *rebbe/ribbe*, *rechten/richten*, *gonst/gunst*, *dol/dul* и т. п.), свидетельствующее о незакрепленности и неустоявшемся характере стилистических вариантов.

Низкий стиль проявляется у Вондела лишь в ряде сатирических стихотворений (например, «Свалка в курятнике» и др.), где (правда, довольно непоследовательно) используются голландские узкие варианты *i*, *u* (ср.: *mit*, *murge-zank*, *brootkurf*). В поздних трагедиях высокого стиля, относящихся к зрелому периоду литературной деятельности Вондела, отмечается еще более интенсивное, чем у Хофта, внедрение (воспринимаемых уже как наиболее престижные) узких (голландских) вариантов гласных, в особенности *u*, за счет элиминации южных вариантов с *o* в корне (ср. *licht* вм. *locht*, *burger* вм. *borger*, *gunst* вм. *gonst*, *kunst* вм. *konst*, *kunnen*, вм. *konnen*). Здесь наблюдается процесс постепенного формирования нейтрального стиля, сочетающего различные стилистические маркеры, подвергающиеся нейтрализации.

#### II. Спозация узких вариантов гласных широким перед сочетанием *r* + согласный

Высокий (возвышенный) стиль	Нейтральный стиль	Низкий (сниженный) стиль
Преобладающая фиксация узких вариантов гласных <i>e</i> , <i>ē</i> перед сочетанием « <i>r</i> + согласный» типа <i>hert</i> , <i>peerd</i> (южный, особенно брабантский ареальный признак, поддерживаемый и переводчиками Библии)	Преимущественное закрепление широких вариантов гласных перед « <i>r</i> + согласный» в сочетании с ограниченной фиксацией узких вариантов типа <i>hart</i> , <i>sterck</i> , <i>paard</i>	Расширение узких вариантов $e > a$ , $e > \bar{a}$ перед сочетанием « <i>r</i> + согласный» типа <i>hart</i> , <i>paard</i> (северный, голландский ареальный признак)

Хофт отдавал определенную дань внедрению этого стилевого признака в свои трагедии высокого стиля и стихи, однако осуществлял это весьма непоследовательно. Узкие варианты, маркирующие высокий стиль, встречаются у него в таких часто используемых лексемах, как *hert* (наряду с вариантным *hart*), *sterck*, *scherp* (наряду с *scharp*), *verw*, *perlen*, *versch* и др. Однако он часто сохранял и типично голландские расширенные варианты с *a*,  $\bar{a}$  (*ae*) в корне в таких лексемах, как *smart*, *hardt*, *arghe*, *star*, *harder*, *paerd*, *aerde* и т. д. Это противоречило установкам переводчиков

Библии и традициям риториков, усматривавших в применении этих вариантов признак сниженного стиля и нелитературного узуса. Хофт, будучи сторонником северного варианта литературного языка, не мог и не хотел строго придерживаться этих установок. Тем не менее, он даже в своей комедии не всегда последовательно устранял следы узких вариантов. Здесь преобладали широкие варианты *a*, *ā* в корне, что в данном случае соответствовало их стилевой специфике.

Произведения Хофта позднего периода обнаруживают более четкое разграничение сферы применения узких и широких вариантов (а также вариантов с кратким и долгим гласным). В связи с интенсивным ростом престижности северного (голландского) варианта литературного языка абсолютный перевес наблюдается на стороне широких вариантов *a*, *ā* (за последним Хофт закрепляет теперь четкое и недвусмысленное обозначение — *aa* вм. старого диграфа *ae*), ср.: *ter aarde* «на землю, в землю», *paarden* «лошади» или *hart* «сердце» вм. южного *hert(e)* (которое еще sporadически встречается в «Письмах» Хофта).

В ранних произведениях Вондела наблюдается иной подход к использованию узких вариантов *e*, *ē* перед «*r* + согласный» в качестве маркеров высокого стиля. Он широко, но не всегда последовательно применяет их в своих трагедиях (до 1625 г.), придерживаясь в этом отношении (больше, чем Хофт) рекомендаций переводчиков Библии и традиций риториков. Сюда относятся следующие лексемы: *hert*, *smert*, *sterk*, *ster*, *peerl*, *peerd*, *zwaard*, *weerd* (также *waerd*), *aanveerden*, *geerne*, *eerde* (но чаще уже *aerde*, *aerdrijc*). Однако для зрелого периода литературной деятельности Вондела (после переломного для него 1625 г.) характерна коренная перестройка в использовании им стилевых примет, маркирующих высокий стиль. Он резко снижает сферу применения узких (южных) вариантов (*e*, *ē* + *r* + согласный) за счет закрепления (в связи с интенсивным ростом их престижности) широких (северных) вариантов [*a*, *ā*(*ae*) + *r* + согласный]. Перестройка затрагивает в основном те же, приведенные выше лексемы (за некоторыми исключениями, например, *sterk*), которые принимают огласовку *a*: *hart*, *smart*, *star*, *paerl*, *paerd*, *zwaard*, *aerde* и т. д. Характерно, что Вондел в 2-м издании «Паламеда» (1652 г.) заменяет формы *sweerd*, *veersen* (1-е изд. 1625 г.) на *zwaard*, *vaerzen*. Одновременно широкие варианты продолжают использоваться и в произведениях сниженного стиля (в сатирических стихах) и формирующегося нейтрального стиля (например, в прозаических высказываниях Вондела о языке и др.). Здесь складывается компромиссное сочетание небольшого числа лексем, характеризующихся узкими вариантами гласных, с преобладающим набором лексем с широкими вариантами. Распределение узких и широких, кратких и долгих вариантов гласных в формирующемся нейтральном стиле у классиков XVII в. очень близко к узусу современного нидерландского языка<sup>4</sup>.

### III. Оппозиция монофтонга *ē* (*ee*) дифтонгу *ei*

Высокий (возвышенный) стиль	Нейтральный стиль	Низкий (сниженный) стиль
Сочетание двух вариантов отражения герм. <i>a</i> как монофтонга <i>ē</i> ( <i>ee</i> ) и дифтонга <i>ei</i> (лексемы типа <i>deel</i> , <i>steen</i> , <i>kleen</i> , <i>beide</i> , <i>heiligh</i> — диалектная примета высокого стиля (шервноначально фламандские, голландские и брабантские ареальные признаки)	Закрепление четкого разграничения двух вариантов — <i>ē</i> ( <i>ee</i> ) и <i>ei</i> — в группе лексем типа <i>deel</i> , <i>steen</i> , <i>klein</i> <i>beide</i> , <i>heiligh</i> как признак нейтрального стиля	Преобразования обоих вариантов: сужение монофтонга <i>ē</i> ( <i>ee</i> ) > <i>ie</i> и расширение дифтонга <i>ei</i> > <i>a</i> (лексемы типа <i>diel</i> , <i>stien</i> , <i>hailigh</i> ) как приметы сниженного стиля (брабантские и голландские диалектные признаки)

<sup>4</sup> Аналогичное распределение стилистических маркеров (как в синхронном, так и в диахроническом плане) наблюдается у Хофта и Вондела в сфере реализации долгого *ui* или дифтонга *ui* (*uy*) и их длабиализованного варианта *ie* < (*ui*, *uy*). Для высокого стиля характерно использование южного длабиализованного варианта в лексемах типа: *vier* < *vuur* «огонь», *stieren* < *sturen* «посылать», *lieden* или *liēn* < *luyder* «люди». Эти варианты преобладают в ранние периоды литературной деятельности

Как у Хофта, так и у Вондела осуществляется постепенная стабилизация употребления обоих вариантов  $\acute{e}(ee)$ ,  $ei$  — их закрепление (сперва как наддиалектного признака высокого стиля, а затем как приметы формирующегося нейтрального стиля) за определенной группой лексем при сохранении лишь за некоторыми из них известного диапазона варьирования. Ср. общие для обоих писателей варианты: *been*, *bleeck*, *deel*, *heel*, *steen* — *beide*, *eighen*, *dreighen*, *heiligh*, *reine* и т. д. Для раннего Вондела характерно превалирование дифтонга в лексемах *cleyd(t)*, *kleyrn*, *vleysch*, *teucken* и др. При наличии определенной тенденции к преимущественному закреплению монофтонга в возвышенном, а дифтонга в сниженном стиле Вондел в поздних своих трагедиях заменяет дифтонг монофтонгом [ср.: *cleed(t)*, *kleen*, *vleesch*, *teecken*]. Особенно показательно варьирование в лексемах *kleen/kleyrn*, *vleesch/vleysch* у Хофта и Вондела. Первые варианты присущи трагедиям высокого стиля, вторые комедиям и клухтам с их народно-разговорной и просторечной спецификой (особенно у Хофта, а также у Бредеро). Характерно, что в предписаниях для переводчиков Библии также регламентируются соответствующие монофтонгические варианты в этих же лексемах (как маркеры высокого книжного стиля). Дублиеты (с *ee* и *ey*) допускались лишь в лексемах *gemeen/gemeyn* и *deelen/deylen*. С другой стороны, такое диалектное преобразование, как сужение монофтонга  $\acute{e} > ie$ , проникает в язык персонажей комедии Хофта и в сатирические стихи Вондела (ср.: *briet*, *bien*, *diel*, *stien*, *sier*, *iersi*), маркируя низкий стиль, а голландское расширение дифтонга  $ei > ai$  обнаруживается спорадически в трагедиях Хофта (ср. *hayligh*).

#### IV. Оппозиция в сочетании согласных *cht* — *ft*

Высокий (возвышенный) стиль	Нейтральный стиль	Низкий (сниженный) стиль
Применение ассимилированного сочетания согласных <i>cht</i> ( $< ft$ ) в лексемах типа <i>achter</i> , <i>lucht</i> , <i>kracht</i> (первоначально южный ареальный признак)	Преимущественное закрепление сочетания <i>cht</i> со спорадическими вкраплениями сочетания <i>ft</i>	Применение исконного сочетания согласных <i>ft</i> в лексемах типа <i>after</i> , <i>luft</i> , <i>kraft</i> (первоначально северный, голландский ареальный признак)

В классических трагедиях Хофта (несмотря на его голландское происхождение) абсолютно превалируют формы с *cht*, что свидетельствует о сознательном их внедрении писателем как престижных вариантов, маркирующих возвышенный стиль<sup>5</sup> (ср. *achterhalen*, *verzachten*, *gehecht*, *lucht*, *sacht*). Формы с *ft* встречаются здесь лишь спорадически (ср.: *graf-ten*, *heften*, *gift*, *kraft* наряду с *kracht*). Эти исконно голландские варианты (особенно *graft* и *kraft*) пережиточно сохраняются в обиходе Хофта и довольно устойчивы. Как приметы сниженного стиля и городского койне они еще шире представлены в комедии Хофта (ср.: *after over* «навзничь», *hadd koft* «купил», *wat graft-waters* «немного воды из канала» в противовес заимствованной из литературного языка лексеме *verkracht* с *cht* в корне). При преимущественном закреплении *cht* в поздних произведениях Хофта (ср. *lucht*, *kraght*, *achter* и т. д.) еще наблюдаются спорадические вкрапления лексем с *ft* (ср.: *kraftelijk*, *met kraft*, *bruiloft*, *heften*).

Относительно меньшее число реликтовых форм с *ft* (при абсолютном преобладании вариантов с *cht*) обнаруживается у Вондела (ср.: *achterdocht*, *kracht*, *stichten*, *lucht*, *verkrachten* и т. д., но *gift*, *driftig*, *bruiloft*).

Хофта и Вондела. А в поздних произведениях высокого стиля преобладает северный лабиализованный вариант, выступающий в формах *viur* (*viur*) и *luiden* (*luyden*) и свойственный ранее сниженному стилю. Ср. также предпочтительное употребление переводчиками Библии вариантных лексем с *ie* в противовес менее литературным вариантам с *ii*, *ii* (*ii*) в корне.

<sup>5</sup> Ср. отмечаемый Г. В. Степановым [5] весьма показательный, сходный по результатам своей реализации выбор двух вариантов одной фонемы ([h] или [f], [h] или ноль звука) в испанском языке, определяемый социальным престижем конкурирующих форм в разных социальных слоях и на разных территориях.

Характерно, что эти лексемы, а также *schrift* «Священное писание» сохраняются в этой голландской форме и в современном нидерландском языке, т. е. издавна утрачивают свой первоначально стилистически сниженный и диалектный характер. Интересно, что Вондел в 1-м издании «Паламеда» (1625 г.) использовал южную форму *gracht* «канал», придерживаясь старой традиции в маркировании возвышенного стиля, а во 2-м издании (1652 г.) заменил ее северным вариантом *graft*, утратившим свою значимость приметы сниженного стиля.

#### V. Оппозиция интервокального *-d-* его стяжению и синкопе

Высокий (возвышенный) стиль	Нейтральный стиль	Низкий (сниженный) стиль
Сохранение и регенерация интервокального <i>-d-</i> (отсутствие синкопы и стяжения гласных, а также перехода <i>-d- &gt; j</i> ) типа <i>neder-, mede, lieden, oude, goede, vader</i> (первоначально голландский ареальный признак, переосмысленный как стилевой)	Регенерация интервокального <i>-d-</i> (как ведущая тенденция) в сочетании с частичным сохранением синкопы и стяжения гласных	Отражение синкопы интервокального <i>-d-</i> , стяжения гласных в лексемах типа <i>neer, mee, liên, ouwe, gozje, vaar</i> (первоначально фламандский и брабантский диалектный признак)

Различный диапазон распространения этого явления находится в особой зависимости от первоначальной ареальной специфики и хронологической отнесенности литературного памятника, на которые наслаивается его жанрово-стилистическая характеристика. В классических произведениях высокого стиля Хофта и особенно Вондела позднего периода абсолютно преобладают нестяженные формы, т. е. варианты, сохраняющие или регенерирующие интервокальное *-d-*. Это поддерживалось исконной голландской спецификой, на которую постепенно все больше ориентировался Вондел (и в меньшей степени Хофт, в связи с более интенсивным южным влиянием на него). Отметим, что рекомендации для переводчиков Библии значительно ограничивали допустимость употребления стяженных форм [ср. *vergaderen* вм. *vergaeren* «собирать(ся)»] вплоть до их гиперкорректного применения (ср. *bevrijden* вм. *bevrijen* «освободить»). Об этом свидетельствуют примеры из трагедий Хофта и Вондела: *neder, weder, lieden, goeden, moeder, souden, blijde* и др. Синкопированные и стяженные формы все же встречаются в ранних произведениях Вондела (под исконным брабантским влиянием), ср.: *scha < schade, bei < beide, weer, blaeren*; в рифме: *strijen : snijen*, замененные позднее *strijden : snijden*; у Хофта они представлены в еще большем числе (ср.: *mee, schae, liên, boôn, treên, weêr, moêr, verouwen* и т. д.). Особенно широко стяженные варианты распространены у Хофта как приметы сниженного стиля: *bayen, luy, liên, goen dach, eschayen < gescheiden, kyeren < kinderen* и т. д. Ср. также аналогичные примеры у Вондела: *neer, liên, broer, ouwe, besneên*.

В поздних прозаических произведениях Хофта и Вондела наблюдается как примета нейтрального стиля регенерация интервокального *-d-* (как ведущая тенденция) в сочетании лишь с частичным отражением его синкопы и стяжения гласных [ср. у Хофта: *broeder, moeder, weder, me(e)de, goeden, zoude, ghijfluiden, snyden*, наряду с *mee, steê, armoê*; у Вондела: *landslieden, goede, brede, vader*].

Существенными морфологическими и стилевыми признаками, маркирующими высокий и низкий (а также находящийся в становлении промежуточный — нейтральный) стили, являются три противопоставления (см. стр. 83).

Хофт на раннем этапе своего творчества (вопреки своей исконной локальной специфике) в целом придерживался южной традиции — в его трагедиях и пасторалях сохраняется конечное *-e* как примета высокого стиля (особенно в сфере жен. рода), но осуществляется это далеко не последовательно (отклонения касаются реже существительных жен. рода, чаще лексем муж. рода). Ср.: *vrouwe* «женщина», *helle* (также *hel*) «ад», *aerde* «земля», *sonne* (также *son*) «солнце», *harte* «сердце», *graeve* (также *graef*)

## I. Оппозиция неударного *-e* его апокопе

Высокий (возвышенный) стиль	Нейтральный стиль	Низкий (сниженный) стиль
Сохранение конечного неударного <i>-e</i> [-ə] в существительных жен. рода, а также в существительных слабого склонения муж. и ср. рода типа <i>minne</i> «любовь», <i>gifte</i> «дар», <i>mensche</i> , <i>herte</i> ( <i>harte</i> ) (архаизирующий признак высокого и книжного стиля, поддерживаемый переводчиками Библии и южной традицией)	Компромиссный процесс регенерации конечного <i>-e</i> (особенно в сфере жен. рода) в сочетании с апокопой, которая, проникая из низкого стиля, становится (наряду с <i>-z</i> ) маркером формирующегося нейтрального стиля	Апокопа конечного неударного <i>-e</i> [-ə] в существительных жен. рода, а также в существительных слабого склонения муж. и ср. рода типа <i>min</i> , <i>gift</i> , <i>mensch</i> , ( <i>hert</i> ) <i>hart</i> (признак голландского ареального варианта литературного языка)

«граф» и т. д. Показательно, что во 2-м издании (1636 г.) своей «Граниды» Хофт устраняет конечное *-e* в ряде существительных муж. рода (*prinsse* > *prins* «принц», *dienste* > *dienst* «служба», *wille* > *wil* «воля»), а спорадически и в существительных жен. рода (*sorge* > *zorgh* «забота» [6, 114—115]), что свидетельствует об определенной переоценке им старых вариантов с *-e* как маркером высокого стиля, особенно в сфере муж. рода. Однако конечное *-e* вновь в процессе регенерации закрепляется у него на позднем этапе в существительных женского рода (ср. *ziele* «душа», *meninge* «мнение» и т. д.) как примета высокого и даже формирующегося нейтрального стиля (по-видимому, под воздействием грамматистов-нормализаторов). Естественно, что в своей комедии он использует варианты с апокопой *-e* как маркером сниженного и просторечного стиля (ср. *vrouw* «женщина», *ziel* «душа», *armoed* «бедность», *warmt* «тепло», *mensch* «человек» и т. д.).

В значительной степени более последовательную и менее противоречивую эволюцию в отношении использования неапокопированных и апокопированных вариантов (с *-e* и без *-e*) в стилистических целях претерпел Вондел. В своих ранних произведениях он чаще применял *-e* (особенно в сфере женского, но также мужского и среднего рода, ср.: *hope* «надежда», *konste* «искусство», *mensche* «человек», *bedde* «постель»). Впоследствии (на позднем этапе своей деятельности) Вондел сознательно стремился устранить апокопированные формы в связи с повышением престижности северного голландского варианта, в котором апокопа переставала выступать приметой сниженного стиля и использовалась также как маркер находящегося в становлении нейтрального стиля (ср. поздние варианты этих лексем: *hoop*, *kunst*, *mensch*, *bed*, а также *hart* «сердце»). Вондел заменил во 2-м издании «Паламеда» форму *siele* «душа» формой *siel* (с апокопой *-e*) [7, с. 107]; ср. также варианты: *vrou* «женщина», *oogh* «глаз» в поздних трагедиях. Он, по-видимому, меньше, чем Хофт, следовал канону грамматистов, согласно которому существительные жен. рода характеризовались маркером *-e* (ср., однако, замену им формы *afkomst* «происхождение» вариантом *afkomste*). Тенденция эта была у Хофта, по-видимому, связана также с тем, что он как голландец не всегда четко разграничивал мужской и женский род и стремился поэтому к более последовательной формальной их дифференциации.

## II. Оппозиция номинативных форм артикля *de* — *den*

Высокий (возвышенный) стиль	Нейтральный стиль	Низкий (сниженный) стиль
Четкое разграничение номинатива артикля муж. рода <i>de</i> и аккузатива <i>den</i> как маркер высокого стиля. Недопустимость сохранения «эмфатического номинатива» (внедрения формы аккузатива артикля муж. рода в номинатив: <i>den</i> вм. <i>de</i> ) как приметы сниженного стиля	Четкое разграничение номинатива ( <i>de</i> ) и аккузатива ( <i>den</i> ) как переосмысленный маркер высокого стиля, используемый как примета нейтрального стиля	Пережиточное сохранение широко распространенного «эмфатического номинатива» ( <i>den</i> вм. <i>de</i> ) как примета сниженного стиля и брабантский ареальный признак

На раннем этапе как Хофт, так и Вондел все еще сохраняли пережиточно под влиянием брабантской традиции это весьма устойчивое явление, не воспринимая его как чуждую литературному языку форму сниженного стиля. Однако постепенно они все более отказывались от него, сознательно стараясь от него освободиться в связи с ростом престижности северного голландского варианта, которому он не был свойствен. Ср. некоторые примеры из ранних произведений Хофта: *den honger* «голод», *den prinsse* «принц», *den dag* «день», *den strael* «луч» (характерно, что во 2-м издании «Граниды» ряд этих форм был элиминирован [6, с. 104]). Ср. у Вондела (особенно в ранних трагедиях и стихах): *den wolf* «волк», *als enen stercken muir* «как прочная стена», *dijnen knecht* «твой слуга», *den dageraad* «утренняя заря» и т. д. Показательно, что и Вондел во 2-м издании «Паламеда» устранял их из чисто стилистических соображений, как несовместимых с высоким стилем (ср. следующие замены в «Паламеде»: *den hemel* > *de hemel* «небо», *den hel* > *de hel* «ад», *soo vuulen moord* > *zoo vuil een moord* «такое грязное (преступное) убийство» [7, с. 53—55]). В комедии Хофта «эмфатический номинатив» почти не встречается как чуждый голландскому узусу<sup>6</sup>. Во всех поздних произведениях Хофта и Вондела он уже не зафиксирован (всюду форма артикля *de* номинатива муж. рода четко противопоставит форме аккузатива *den*). Хофт устраняет также внедрение генитива на *-s* (типа *ziels* «души») в форму жен. рода.

### III. Оппозиция формата мн. ч. *-en* формату *-s*

Высокий (возвышенный) стиль	Нейтральный стиль	Низкий (сниженный) стиль
Нарастающее закрепление (преимущественно южно-нидерландского) формата мн. ч. <i>-en</i> в существительных как признак высокого стиля. Устранение формата мн. ч. <i>-s</i> (исконно севернонидерландского) как маркера сниженного стиля	Компромиссное сочетание преобладающего употребления формата мн. ч. <i>-en</i> и более ограниченного применения формата <i>-s</i> , используемого в качестве маркера развивающегося нейтрального стиля	Преобладающее употребление севернонидерландского формата мн. ч. <i>-s</i> в существительных как признак сниженного стиля и городского койне

Хофт и Вондел в ранних своих произведениях даже высокого стиля допускали наряду с постепенно нарастающим использованием южного окончания мн. ч. *-en* и довольно широкое применение северного, голландского (ингвеонского по своему происхождению) формата *-s*, еще не воспринявшего на том этапе в качестве маркера сниженного стиля. Ср. у Хофта: *lendenen* «поясница», *schouyderen* «плечи», *kindren* «дети», *cleeren* «одежда», но *soons* «сыновья», *burghers* «горожане», *heuvels* «холмы», *vogeltjens* «птички» и др.; у Вондела *wolven* «волки», *edelliën* «дворяне», *heideneu* «язычники», *voogouderen* «предки», но *schepsels* «создания», *vaders* «отцы», *kinders* «дети», *vleugels* «крылья» и т. д. Если в трагедии «Бато» у Хофта отмечается постепенное нарастание в применении формы на *-en* (ср. *riddren* «рыцари», *vingren* «пальцы», *blaedren* «листья», *achterwinklen* «укромные места»), то в комедии «Простофиля» абсолютно преобладает маркирующий сниженный стиль форматив *-s* (ср. *cocks* «повара», *meysjens* «девочки», *liens* «люди»); ср. у Вондела *broers* «братья», *roers* «ружья». Наблюдается и вариативность внутри парадигмы мн. ч. (ср. у Вондела *ons vaders* «наши отцы» имп. п., *aen ons vaderen* «нашим отцам» — дат. п.).

Позднее (в середине века) происходит определенная переоценка обоих формативов мн. числа. Окончание *-en* под влиянием южной письменнo-литературной традиции и рекомендаций для переводчиков Библии стало употребляться все предпочтительнее как маркер высокого стиля за счет северного формата *-s*, воспринимаемого уже как менее литературный, народно-разговорный, в стилизовом отношении сниженный вариант. В свя-

<sup>6</sup> В связи с ранним формированием (уже в XV в.) двухродовой системы («общего» и среднего рода) в голландском ареале в результате стирания различий между муж. и жен. родом. Здесь проявляется противоположный процесс — стирание флексии *-n* в аккузативе артикля муж. рода (*ten* > *de*) и выравнивание его по номинативу (*de*).

зи с этим, как Хофт (во 2-м издании «Граниды» [6, с. 113]), так и Вондел (во втором издании «Паламеда» [7, с. 64]) исправляют в стилистических целях формы мн. числа ряда существительных, заменяя форматив *-s* на *-en*, расценивая последний в качестве более литературной формы (в противовес более просторечному, маркирующему сниженный стиль формату *-s*). Ср. у Хофта: *der sangsters* (1-е изд.) > *zangstren* (2-е изд.) «певцы»; аналогично: *vechters* > *vechtren* «войны», *dienaers* > *dienren* «слуги» и др. Ср. целый ряд показательных примеров у Вондела: *in d'aders* > *in zijne schouderen* «в его жилах», *logens* > *logenen* «ложь», *sijne schouderen* > *zijne schoudren* «его плечи». Случаи противоположного преобразования, т. е. замены окончания *-en* формативом *-s* (у Вондела) — *standaerden* > *standerts* «знамена», *heuvelen* > *heuvels* «холмы», *eyeren* > *eyers* «яйца», *teekenenen* > *tekens* «знамения», *hoornen* > *horens* «рога» — свидетельствуют, по-видимому, уже о новом этапе в переосмыслении форматива *-s* и о замене пометы высокого стиля (*-en*) маркером находящегося в становлении нейтрального стиля (форматив *-s*).

В поздних произведениях Хофта также наблюдается сходная, но менее последовательно реализующаяся тенденция [ср.: *burghers* «горожане» (генитив также *-en*), *sprijkers* «гвозди», но *schouderen* «плечи», *poorteren* «горожане», *vendelen* «отряды», *beenderen* «кости»].

Стилистическую значимость у Хофта и Вондела имеют также следующие морфологические явления: 1) сохранение глагольной флексии *-e* в 1-м л. ед. ч. наст. времени как маркер высокого стиля (типа *wense ik* «желаю я», *ick jage* «я несусь») и апокопа *-e* в этой форме как примета сниженного (и нейтрального) стиля (типа *ik wens*, *ik geloof* «я верю») [8]; 2) отсутствие синкопы в окончаниях 2-го и 3-го л. ед. ч. наст. времени как маркер высокого стиля (ср. *bespiedet* «выслеживает») и наличие синкопы как признак низкого и нейтрального стилей (ср. *dient* «служит»); 3) употребление южного местоимения 2-го л. ед. и мн. ч. *ghij* «ты, вы» в возвышенном стиле и противостоящих ему голландские формы *jij*, *je* «ты» (вм. пережиточно сохраняющегося архаического *du*) как обиходно-разговорных форм сниженного стиля; 4) внедрение возвратного местоимения *zich* как признака высокого стиля, постепенно вытесняющего старые формы косвенных падежей местоимения 3-го л. ед. ч. (*hem*, *haar*), присущие диалектам и городскому койне. Они встречаются в ранних произведениях Хофта и Вондела еще не как маркеры низкого стиля, а как реликтовые формы, но используются впоследствии и в стилистических целях; 5) устойчивость префикса *ge-* в причастии II как маркер высокого (и нейтрального) стилей и его редукция (*ge* > *e*) как примета низкого стиля [9].

Следует отметить также стилистическое использование Хофтом и Вонделем в сфере словообразования уменьшительных суффиксов — южного варианта *-ken* как приметы возвышенного стиля (ср. *windeken* «ветерок», *bloemkens* «цветочки», *takskén* «веточка» и т. д.) и северного (голландского) варианта *-gen* > *je(n)*, *-tje (n)* *-pje (n)* (особенно у Хофта), маркирующего преимущественно народно-разговорный, сниженный (а также нейтральный) стиль (ср. у Хофта *hartje* «сердечко», *bosje* «лесок», *soontjen* «сыннок», *bloempjes* «цветочки»; у Вондела — *schuitjen* «лодочка», *neutjes* «орешки»). Для высокого стиля вообще не свойственно употреблять уменьшительные суффиксы. В низком стиле они, напротив, широко представлены.

Стилистическое расслоение нидерландского языка XVII в. находит свое отражение и в сфере с и н т а к с и с а [10—12], проявляясь в стилистическом маркировании синтаксической структуры в целом и отдельных синтаксических конструкций, в соотношении паратаксиса и гипотаксиса, в оформлении и закреплении порядка слов в предложении и в выработке сложной системы дифференцированных союзов в результате преодоления их пережиточной диффузности и многозначности.

Наиболее существенной стилистической приметой, маркирующей высокий (возвышенный) стиль в области синтаксиса (как у Хофта, так и у Вондела), является развитие наряду с паратаксисом различных структурно-семантических типов гипотаксиса и сложных многозвенных построений с развернутой системой дифференцированных союзов (типа *terwijl*, *indien*,

*nadat, totdat, zodat, opdat, omdat, hoewel* и др.). Ср. у Хофта: *...indien al-soo de saken sijn gesteld, jals ons de voester voor de waerheit heeft vertelt/Soo loov' jck danckbaerlijck uw goedtheit hooch van waerden, Hoewel jck eensuem blijv' en mis mijn lust op aerden* (Gr., 1358—61). «Если дела обстоят так, как нам правдиво рассказала кормилица, то я с благодарностью высоко оценю вашу доброту, хотя останусь одиноким и утрачу радость жить на земле»; у Вондела: *Nadat ick d'oversten een wijl had hooren tompelen/Van Amsterdam, al stil by duister t'overrompelen/Rees tusschen Diedrick zelf en Egmond een krackeel/Dat uitborst meer en meer en yeder trock een deel/Van't krijgsvolck op zijn zy, en zocht het stuck te stijven/En na zijn eigen hoofd den aenslagh door te drijven* (Gy., 233—37) «После того, как я немного послушал, как предводитель шепотом договаривались о том, как под покровом ночи врасплох захватить Амстердам, между Дидриком и Эгмонтом поднялся шумный спор, который все более разрастался, каждый старался привлечь часть войск на свою сторону, расколоть их и осуществить план заговора по-своему». На раннем этапе порядок слов был более свободен. В поздних произведениях структура предложений (особенно у Вондела) более проста и прозрачна, а порядок слов более устойчив и закреплён. Приметой высокого стиля является также широкое применение причастных оборотов (обычно в функции обстоятельств) и постпозитивных определений. Ср. у Хофта: *sich gegeven hebbende in dienst* «поступив на службу», *op de jacht afgedwaalt* «сбившись с пути на охоте»; у Вондела: *dees hinderpael hier mede verzet zijnde* «устранив это препятствие» и т. д. Постпозитивные определения, выраженные прилагательными, особенно свойственны ранним произведениям Хофта и Вондела, ср.: *d'aenstaende winter wreedt* «предстоящая суровая зима» (Хофт); *nu ploegt men d'aarde zwert* «вот вспахивают черную землю» (Вондел) и т. д. В качестве одной из характерных примет высокого стиля на позднем этапе выступает также элиминация двойного отрицания.

Низкий (сниженный) стиль в области синтаксиса характеризуется превалированием простых предложений ограниченного объема с преимущественным использованием паратаксиса (при слабом развитии гипотаксиса) и пережиточно сохраняющейся диффузностью и многозначностью союзов, а также наличием двойного отрицания и неупотребительностью причастных оборотов. Ср. у Хофта («Простофиля»): *Arm ben ick, dat weet ick wel, en draech't lijdzaam en geduldich* «Беден я, я это хорошо знаю, и переношу это покорно и терпеливо»; у Вондела: *Ik weet ien aar, zai Reyntjevaar/En die dient jou alderbest* «Я знаю другого, — сказал папаша Рейнике, — а он служит тебе великолепно».

На раннем этапе двойное отрицание (как архаизм) еще не воспринималось в качестве признака сниженного стиля, а употреблялось и в произведениях высокого стиля [ср. у Вондела: *die nooit en was besproken* «которая никогда не обсуждалась»; в более позднем издании этот вариант (как относящийся уже к низкому стилю) был устранен и заменен отрицательным наречием: *die nimmer was besproken*]. Естественно, что двойное отрицание больше удерживалось в комедии и сатире как маркер сниженного стиля. Ср. у Хофта: *Ick en weet me niet genoeg te verwonderen* «Я не перестаю удивляться». В поздних произведениях писателей отрицательная частица *en* уже не употребляется (заменяясь отрицаниями *niet* и *geen*).

Одной из типичных черт сниженного стиля является также плеонастическое дублирование подлежащего местоимением. Ср. у Хофта в комедии: *Den Heer die geeft* «Господин он дает»; у Вондела: *Kortebuof die zat en lachten* «Кортебуф, он сидел и смеялся». Представляет интерес стилистическое переоформление предложения (во 2-м издании трагедии) путем замены местоимения (как маркера низкого стиля) наречием: *De booswicht die is vast* «Злодей он схвачен» > *De booswicht is al vast* «Злодей уже схвачен».

Лексика Хофта и Вондела отличается большой многослойностью в жанровом и стилистическом планах. Ее необычайно широкий диапазон определяется всесторонним «хватом» самых различных сфер общественной жизни Нидерландов XVII в. В ней нашло отражение все богатство гуманистических идей и ренессансных художественных образов с их обилием

национально-героических, историко-патриотических, религиозно-философских, античных и комедийно-сатирических мотивов, обусловивших сложность функционально-стилистической дифференциации языка и выделение стилистически маркированных пластов в лексике.

Для произведений высокого стиля (поэзии и драматургии раннего периода) характерна насыщенность многочисленными неологизмами (абстрактными существительными, как производными, так и образованными путем словосложения, а также глагольными новообразованиями) часто в сочетании с редкими и напыщенными эпитетами-прилагательными. Ср. у Хофта: *boosheits leelijkheden* «мерзости разврата», *de leedtkauwende wraeck* «гложущее чувство мести», *overouwdere* «предки», *naektarmde reusen* «исполины с голыми руками», *verwinssen* «желать утратить что-л.», *groenfluwelen mos* «зелено-бархатный мох» и т. п.; у Вондела: *zoetvloeiende taal* «сладкозвучный язык», *hoorngetakte hert* «увенчаный ветвистыми рогами олень», *de tranen beeperlen onze wangen* «слезы жемчугом катятся по нашим щекам» и т. д. Вондел использует также архаизирующие мифологические образы, например, *Neptuns azure golven* «лазурные волны Нептуна» и др. У Хофта проявляется пуристическая тенденция к замене заимствованных слов автохтонными, ср.: *hooftsommen* вм. *kapitalen*, *gelove* «доверие» вм. *crediet*, *geluck* «счастье» вм. *avontuur*, ср. даже *verghetelbeeck* «река забвения» вм. *Lethe*. С другой стороны, он допускал для характеристики городского койне Амстердама внедрение ряда иностранных слов в свою комедию «Простофиля» (ср., например, *resolveren* «решать», *de courante nouwellen* «текущие новости» и т. д.). Однако маркером низкого стиля в этой комедии являются локальные (голландские) диалектизмы типа *nesk* «наивный, глупый», *kallen* «болтать», *beviijnen* «понимать» и некот. др. Весьма показательно также, что в своей пасторали Хофт последовательно заменяет лексему *malcander* «друг друга» как южную диалектную форму низкого стиля литературным вариантом *elckander*. Язык его «Нидерландских историй», являющийся образцом научно-популярной прозы, характеризуется строгим лексическим отбором, богатством синонимии, наличием устойчивых словообразовательных моделей, маркирующих формирующийся нейтральный стиль.

Особенно интересны и показательны лексические замены синонимов, внесенные в стилистических целях самим Вонделем во 2-е издание трагедии «Паламед» в 1652 г. [7, с. 13]. Прежде всего он устраняет грубо просторечную лексику низкого стиля. Ср.: *geylheid* «похотливость, сладострастие» > *minne* «плотская, чувственная любовь», но, с другой стороны: *met min en jonst* > *met grote liefde* «с большой любовью»; *zich vergapen (aan)* «заглядеться (на)» > *bezwijcken (voor)* «поддаться искушению»; *hoe-re kint, basterd* «внебрачный ребенок» > *vondeling* «подкидыш»; *deerne* «распутная девка» > *maeghd* «дева, девица»; *den ouden hondsvot* (груб.) > *den ouden suffer* «старый болван»; *hoorenbeesten* > «рогатый скот» > *stier en runderen* (нейтральный стиль); *aarzelen* «колебаться» (южн., вызывающее ассоциации с грубым *aars* «зад») > *wijken* (сев.) или *deinzen*; *beul* «палач» > *scherp-recht*; *boel* «любовница» > *bruid* «невеста»; *half versoope siel* > *half verdroncke siel* «едва не спившийся человек». Ср. также синонимические замены у Вондела, связанные с переключением стилистического маркера из более нейтрального (разговорного) стиля в высокий стиль [*elke* > *ieder* «каждый», *prijzen* > *loven* «хвалить», *trachten* > *pogen* «пытаться»; *gehuil* «вой, рёв» > *gekerm* «стоны, вопли»; *blaffen* > *bassen* (южн.) «лаять» и т. п.] и наоборот [*werpen* > *smijten* «бросать», *aengesicht* > *tronie* (совр. груб.) «лицо» = «морда»; *lenen* «одолжить» > *schenken* «подарить» и т. д.]. Для высокого стиля Вондела характерно исключение уменьшительных существительных, допустимых только в сниженном стиле (ср. замены *boschjen* «лесок» > *bosch*; *viskens* «рыбки» > *vischen* и др.). Ср. также некоторые замены, вызванные пуристическими тенденциями у Вондела: *prophecyen* > *wichlarijen* «предсказания», *Zodiaak* > *Dierenriem* «Зодиак», *Hydra* > *Poelslang* «гидра» и др. Таким образом, стилистическое расслоение отмечается в нидерландском языке XVII в. на всех уровнях языковой структуры.

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Гузман М. М.* От языка немецкой народности к немецкому национальному языку. Ч. I. М., 1955, с. 16.
2. *Ярцева В. Н.* Соотношение территориальных диалектов в разных исторических условиях. — В кн.: Энгельс и языковедение. М., 1972, с. 191—192.
3. *Миронов С. А.* Формирование функциональной парадигмы в нидерландском языке XVI в. — В кн.: Функциональная стратификация языка. М., 1985.
4. *Гузман М. М., Семенов Н. Н.* История немецкого литературного языка IX—XV вв. М., 1983, с. 124.
5. *Степанов Г. В.* Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской речи. М., 1976, с. 75—76.
6. *Kossmann F.* De varianten van Hooft's «Granida». — In: Tijdschrift voor Nederlandse taal-en letterkunde, 1917, 36.
7. *Walch J. L.* De varianten van Vandels «Palamedes». Den Haag, 1906.
8. *Зеленецкий А. Л.* Формирование глагольной системы нидерландского литературного языка (на материале памятников XIII—XVII вв.). М., 1966, с. 271—273.
9. *Миронов С. А.* К вопросу о социальной и функционально-стилистической дифференциации нидерландского литературного языка XVII в. — В кн.: Социальная и функциональная дифференциация литературных языков. М., 1977, с. 146.
10. *Overdiep G. S.* Zeventiende-eeuwse syntaxis. I—III. Groningen, 1931—1935.
11. *Weijnen A. A.* Zeventiende-eeuwse taal. 2-e dr. Zutphen, 1956, blz. 56—98.
12. *Weijnen A. A.* Schets van de geschiedenis van de Nederlandse syntaxis. Assen, 1971.

## МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ДЕНИСОВ П. Н.

### О ПОНЯТИИ СИНХРОННОГО СРЕЗА И СИНХРОННОГО СОСТОЯНИЯ ЯЗЫКА В ЛЕКСИКЕ И ЛЕКСИКОГРАФИИ

Лексика (словарный состав языка) исследуется в лексикологии, описывается в лексикографии. Моментальный снимок (слепок, копия, оттиск, срез) лексики живого языка практически невозможен ни в исследовательском (лексикологическом), ни в описательном (лексикографическом) плане. Если лексика изменяется непрерывно, то любое ее исследование и, тем более, фронтальное описание будут отставать, а синхронные лексикология и лексикография становятся как бы теоретически несостоятельными.

Следовательно, понятие синхронного среза надо рассматривать в единстве с понятием синхронного состояния языка. Синхронное состояние языка характеризуется качественной устойчивостью всех уровней (ярусов) языковой системы: звуковой (письменной), грамматической, словообразовательной, лексической, семантической (грамматические, словообразовательные, лексические значения и категории), экспрессивно-стилистической (эмоционально-оценочные коннотации) и функционально-стилистической (распределение форм и значений по сферам общения и видам текстов). Для литературного языка объективно существуют норма, отражаемая в орфоэпии, орфографии и ортологии, а также нормативный культурный фон, диктующий избирательный характер некоторых категорий, значений, оценок и оттенков.

Оба понятия (синхронный срез и синхронное состояние языка) были введены в научный обиход Соссюром более 70 лет назад [1]. Однако необходимость развития теоретических основ лексикологии и лексикографии заставляют нас уточнять как содержание указанных двух понятий, так и их взаимоотношения, тем более что Соссюр не детализировал эти понятия применительно к лексическому уровню языка.

Ввиду сложной истории формирования текста соссюровского «Курса общей лингвистики» (см. вступительную статью А. А. Холодовича в [1]) толкование этих понятий у Соссюра несколько противоречиво. С одной стороны, при сравнении языка с шахматами Соссюр говорит: «...система всегда моментальна; она видоизменяется от позиции к позиции» [1, с. 121]; «...каждый ход сказывается на всей системе; игрок не может в точности предвидеть последствия каждого хода» [1, с. 122]. Из этих высказываний иногда делается вывод о том, что возникновение одного-единственного нового слова меняет лексическую систему языка и число синхронных лексических срезов бесконечно (см., например [2]).

С другой стороны, Соссюр противопоставляет понятие синхронного среза синхронному состоянию языка: «Состояние языка не есть математическая точка. Это более или менее продолжительный промежуток времени, в течение которого сумма происходящих изменений остается ничтожно малой. Он может равняться десяти годам, жизни одного поколения, одному столетию и даже больше» [1, с. 133].

Если рассматривать современный русский литературный язык с точки зрения качественной устойчивости его произносительных, орфографических, грамматических, лексических и стилистических норм и их внутрисистемных и внешних (экстралингвистических) обусловленностей, то сра-

зу же можно заметить несколько универсальных свойств. Единое качественно определенное состояние языка допускает 1) вариативность форм и значений, 2) различие в скорости изменений в области фонетики, письма, грамматики, лексики, стилистики, культурного фона, 3) различные степени влияния на другие подсистемы языка резких изменений фонологической системы, перехода на другой алфавит, грамматических перестроек, лексических взрывов, стилистических новаций, радикальных перемен в экстралингвистической среде, 4) различные комбинации степеней изменения подсистем (включая в число влияющих факторов нормативный культурный фон), дающие основание для суждения о преобразовании интегральной системы языка, об утрате языковым состоянием его качественной определенности, о смене старого состояния новым.

Не отрицая непрерывности изменений языка на всех его уровнях, мы утверждаем, что язык изменяется дискретно. Некоторая величина накопившихся изменений становится критической, язык в сравнительно короткое историческое время преобразуется, переходит в новое качество, или — что то же — одно состояние языка заменяется другим. Изменения языка необратимы. Явления, бытовавшие в языках феодального общества, не повторяются позднее.

Известно, что в дописьменный период фонетические изменения в диалектах приводили к перестройке грамматической системы. Известно, что христианизация или приобщение к исламу не проходило бесследно для лексических систем многих литературных языков. Известны бурные лексические процессы в русском литературном языке петровского времени или столь же бурные процессы во французском языке времени Великой французской революции и Наполеона.

Вообще, если «язык есть механизм, продолжающий функционировать, несмотря на повреждения, которые ему наносятся» [1, с. 119], то какова мера допустимых деформаций языка, чтобы он 1) перестал быть тождественным самому себе, т. е. стал другим языком, 2) перешел в новое состояние, оставаясь тождественным самому себе?

Во всяком случае, фонологическая и морфологическая системы считаются трудно проницаемыми или вообще непроницаемыми для внешних воздействий. Синтаксис, лексика и стилистика как бы менее существенны для внутренней структуры языка, более подвержены внешним влияниям. Следовательно, для решения вопроса о синхронном состоянии лексики необходимо решение вопроса о стратификации языка, о выделении в нем ядра и периферии. Оказывается, что подсистемы языка при их несомненной связи и взаимообусловленности гораздо более автономны, чем обычно предполагается.

Можно сказать, что со времени Пушкина московское произношение и грамматический строй русского литературного языка мало в чем изменились. Но в то же время известно, что в течение XIX—XX вв. значительно упорядочилось русское правописание, заметно видоизменился синтаксис, постоянно трансформировалась система экспрессивных и функциональных стилей литературной речи. Однако самое главное, что произошло за этот период — это перестройка лексики русского литературного языка, радикальное изменение общественно-экономических, политических и культурных условий бытования лексической системы русского языка.

Роман «Евгений Онегин» мы воспринимаем сейчас не так, как его понимали современники Пушкина. В специальных комментариях отражается устаревание культурного фона, стилистических канонов, форм и значений (см. [3]). В. Г. Белинский, назвав этот роман «энциклопедией русской жизни», подразумевал, в частности, особую роль отражения в нем быта и бытовых представлений. Поэтому Ю. М. Лотман предпослал своему комментарию очерк дворянского быта онегинской поры. Это и есть социокультурная рамка лексической системы русского языка начала XIX в.<sup>1</sup> Весь круг представлений, связанных с ритуалом, например,

<sup>1</sup> В настоящее время вышли в свет два первых выпуска «Словаря русского языка XVIII в.», обосновывается замысел «Словаря русского литературного языка первой

дуэли, ныне мертв для нас. Столь же поверхностно поймет современный читатель функциональный смысл народных примет, преданий, предрассудков, суеверий в структуре пушкинского романа. Предсмертную элегию Ленского наш современник скорее всего примет всерьез. Маловероятно, что он догадывается, что вставная элегия допускает ряд интерпретаций — от иронической и пародийной до лирической и трагической [3, с. 297].

Конечно, культурный фон можно вывести за пределы лексической семантики. Слово или оборот своими денотатами и сигнификатами лишь вызывают «цепную реакцию» социокультурных ассоциаций, но отнюдь не всегда содержат их в себе. Культурный фон «разлит» в тексте:

Он по-французски совершенно  
Мог изъясняться и писал;  
Легко мазурку танцевал,  
И кланялся непринужденно;  
Чего ж вам больше? Свет решил,  
Что он умен и очень мил.

(А. С. Пушкин. Евгений Онегин, гл. I).

В этих строках перечислены признаки, по которым светская элита первой половины XIX в. отграничивала людей своего круга от «чужих»: знание французского языка, умение танцевать и непринужденно кланяться выступали как социальные знаки. В тексте видим как бы два содержательных плана 1) лексической семантики и слагаемого ею буквального смысла целого и 2) социокультурной, вторичной семантики и формируемого ею социально-актуализированного смысла целого. Вывод света об уме Онегина по таким случайным признакам звучит иронически. В этой иронии просвечивает «образ автора», диктуемая им оценочность. При переходе к значениям слов культурный фон редет. У слов *мочь*, *решишь*, *писать*, *легко*, *больше*, *очень* и у служебных слов его нет. У слов *кланяться*, *танцевать*, *мазурка*, *свет* культурный фон может быть, но он обнаруживается только в контексте. Следовательно, лексика как подсистема интегральной системы языка крайне неоднородна не только в материальном виде (например, английские вкрапления в «Евгении Онегине» — *dandy*, *vulgar* или заимствованное из английского слово *слим*, которое встречается три раза в романе «Евгений Онегин» и два в пушкинских письмах), но и в семантическом плане. В семантической плоскости лексика развивается крайне неравномерно, что требует дальнейших подразделений внутри самой лексической системы для правильного восприятия ее эволюции.

Л. В. Щерба противопоставлял академический (нормативно-системный) словарь, отражающий единое языковое сознание определенного человеческого коллектива в определенный момент времени, словарю-справочнику, который допускает смешение языковых сознаний, человеческих коллективов, неопределенность во времени [5].

Понятие языкового состояния в отличие от нереального требования синхронного среза, а также в отличие от произвольно выбранного временно-интервала, отражаемого словарем-справочником, делает возможным создание академического (нормативно-системного) словаря, т. е. такого словаря, которого, по мнению Ф. П. Филина [6], в отечественной лексикографии не существует. Для понятия языкового состояния оказывается важным понятие языкового сознания, анализ которого сам по себе весьма сложен. Ф. де Соссюр и Л. В. Щерба оперировали понятием языкового сознания коллектива, признавая важными для синхронного состояния языка единство языкового коллектива и единство территории. Не менее важно, на наш взгляд, единство языковой памяти коллектива, называемое культурной традицией (одинаковость образования, воспитания,

половины XIX в.» [4]. Но эти словари трактуются как исторические [4], а не как словари особых синхронных состояний русского литературного языка. Работа над «Словарем языка В. И. Ленина» показывает, что с начала распространения марксизма в России возникла ситуация, определявшая состояние русского литературного языка последнего десятилетия XIX в. — первых двух десятилетий XX в. как особое качественное синхронное состояние русского литературного языка, отличное как от состояния 60—90-х гг. XIX в., так и от состояния русского литературного языка советского времени.

природной и социальной среды, вкусов, привычек, одинаковость понимания языковой престижности как основы образцового языка). Разрыв культурной традиции, по Соссюру относимый к внешней лингвистике, по своим последствиям релевантен для лингвистики внутренней. Соссюр анализировал и антиномию индивидуального сознания и индивидуального языка (как отражения языка коллектива) по контрасту с коллективным сознанием и императивным по отношению к индивидам коллективным языком.

Действительно, сознание выступает в двух формах: индивидуальной (личной) и общественной. Формами общественного сознания являются наука, философия, искусство, нравственность, религия, политика, право. Содержание этих форм фиксируется в текстах на каком-либо языке, а частично в единицах, значениях и категориях самого языка, наконец, при помощи других семиотических систем и вне семиотики, т. е. непосредственно в общественной практике: в умениях, которые могут быть привиты человеку простой их демонстрацией, в запретах, в верованиях, в дисциплине, в обычаях и т. д. Конечно, содержательно-сохранительная функция текстов гораздо сильнее, чем таковая функция единиц языка (форм и значений), но, как мы видели выше, резкую грань между актуальными смыслами единиц языка в текстах и их потенциальными значениями в языке иногда провести бывает довольно затруднительно. Как бы то ни было, культурно-историческую функцию нельзя считать иррелевантной хотя бы по отношению к лексико-семантической системе языка. Вместе с тем, конкретное слово (конкретной части речи, конкретной сферы общения, конкретной историко-этимологической судьбы и т. д.) является фактом культурно-историческим в разной степени и в различных смыслах и отношениях.

Общественное сознание существует в различных степенях отчетливости и полноты. В ходе исторического развития человеческих обществ, культур и цивилизаций лидерство захватывалось разными формами общественного сознания: религией, наукой, политикой. Поэтому если производить историко-культурные «раскопки» в лексико-семантической системе языка как в своеобразном хранилище культурных ценностей, то в разных группах слов, в разных типах значений слов и фразеологизмов можно услышать отголоски разных исторических эпох. Языковое сознание, функционируя в определенном языковом состоянии, имеет как бы светлую зону активных значений и моделей и непрозрачную (ораque) зону традиционных значений и моделей, в которой живут отзвуки прежних состояний языкового сознания. Таковы, например, проклятья, божба, ругательства, в которых по языковой инерции узуса используются образы и понятия христианской и языческой религий, реализуются нравственные нормы, далекие от официально санкционированных.

По нашему мнению, теория семантических полей и идеографических словарей остается на сегодняшний день неадекватной единому (реальному) языковому сознанию определенного человеческого коллектива в определенный момент времени, а ведь именно это сознание лежит в основе языкового состояния и синхронного академического словаря.

Если степени отчетливости и полноты выявления существенны для общественного сознания, то и в языковом сознании мы вправе различать усредненное, массовое знание языка, опирающееся на обыденные, наивные представления в области науки, искусства, религии, политики и т. д., и глубокое теоретическое знание языка, опирающееся на достижения современного языкознания и других наук. Возникает вопрос о расщеплении значения почти каждого слова на два значения: обыденное (вспомним пример Л. В. Щербы с прямой в обычном представлении как с линией: не отклоняющейся ни вправо, ни влево, ни вверх, ни вниз) и теоретическое (терминологическое) (математическое понятие прямой линии последовательно углублялось на протяжении всей истории науки).

Анализируя виды русского глагола, А. А. Потебня сделал следующее, на наш взгляд, очень глубокое и проницательное замечание: «Так как язык развивается не трудами филологов, а средним уровнем народа, то естественно, что при распределении глаголов по видам принимается

в расчет не найденная учеными первообразность и производность глаголов, а такая, которая видна человеку, практически знающему свой язык» [7].

В русле наших рассуждений единство (реальность) языкового сознания народа может поддерживаться только усредненной, массовой лингвистической памятью. Вопрос о хронологических рамках, например, современного русского литературного языка не может быть решен вне понятия языковой памяти социальной группы носителей данного языкового сознания в данном его состоянии. Легко видеть, что понятие лингвистической памяти носителей языка будет иметь разное содержание для бесписьменных диалектов и для литературных языков: «Для носителя отдельного архаического говора все слова (общераспространенные и локальные), как правило, равноценны... Носитель архаического говора обычно не различает общераспространенные слова и диалектизмы» [8].

«Поскольку современная диалектная лексика — это лексика устной речи, постольку она отражает только такую историю, которая хранится в памяти только одного поколения, сохраняется только в устной традиции, „неглубокая“ по сравнению с языком, имеющим письменность» [9]. Сверх того, характер нормы, экспрессивно-оценочных оттенков, культурного фона, соотношения уровней языкового сознания в бесписьменных диалектах с малым числом носителей, конечно, совершенно иной в сравнении с аналогичными факторами литературных языков, имеющих миллионы носителей.

Когда счет идет на миллионы, то реальна ли реальность и действительно ли едино единство определенного (многомиллионного!) человеческого коллектива в определенный момент времени? Невольно приходит в голову мотив об известной искусственности литературного языка. Именно здесь уместно вспомнить о том, что языковое сознание как одна из форм интеграции всех форм общественного сознания (наряду с текстами, другими семиотическими системами, а также общественной практикой, не опосредованной знаками) существует в виде индивидуальных языковых сознаний, в виде того, что знают и помнят (твердо или не очень твердо) из литературного языка его статистические средние носители. Если же пытаться «подержать в руках» современный русский литературный язык целиком, то нельзя предложить ничего другого, как, например, словарь Ожегова, Граматику-80, а также книгохранилище ближайшей районной библиотеки.

Решение вопроса о существовании русского литературного языка в его современном состоянии требует предварительных данных 1) о числе и составе носителей, 2) о характере лежащего в его основе языкового сознания, интегрирующего другие формы общественного сознания, 3) о лингвистической памяти общества (собственно о его исторической глубине). Эти предварительные параметры являются, в основном, экстралингвистическими, относящимися к демографии, социологии и социальной психологии.

По необходимости усредненный характер этих параметров заставляет думать, что академический (нормативно-системный) словарь, ориентированный на одно, например, современное языковое состояние, будет начинаться не детерминистским, а статистическим закономерностям, поскольку, как мы видели, сам описываемый объект представляет собой «множество с расплывчатыми границами» и в отношении числа и «качества» носителей, и в отношении вариативности и избыточности самой языковой системы, подразумевающей отбор со стороны самих носителей языка.

Все эти сложности можно было бы попытаться объяснить искусственным характером литературных языков, но, как показывают исследования О. Н. Трубачева, наши представления о «простоте» и «естественности» лексико-семантических систем праславянских диалектов скорее эмоционально романтичны, чем доказательно научны. Древнейшие разделения труда, появление ремесел с их замкнутостью, а может быть, и секретностью (как, например, изготовление в глубокой древности булатной стали) и, соответственно, с их терминологиями, зарождение религий, возникновение государственных объединений, каст и классов — все это не могло

не делать лексико-семантические системы древних языков и диалектов столь же сложными и не строго детерминированными, сколь это характерно для современного состояния многих литературных языков. Что такое вообще гомогенность и «естественность» любой лексико-семантической системы, коль скоро она не может быть отделена от своих носителей, уровня их общественной организации, знаний, умений, обычаев, верований.

Каждое крупное общественное разделение труда разрушало былую гомогенность и «естественность» лексики, каждое крупное духовное движение (например, христианство) приводило к перегруппировкам слов и изменениям их значений, любая миграция населения приводила к возникновению новых слов и значений в области хозяйства, рельефа, растительности и т. д. Мы не говорим уже о столкновении больших этнических масс, каждой со своим языком и со своей культурой. С исторической точки зрения желательнее установить постепенность и порядок в наслоении категорий и значений, хотя по трудности воссоздания современного языкового состояния, когда мы располагаем всеми необходимыми данными и, в частности, имеем возможность проведения прямых массовых обследований, можно судить о трудности системного воспроизведения прошлых языковых состояний.

Ю. Н. Тынянов был прав, когда говорил: «Представление о том, что вся жизнь документирована, — ни на чем не основано: бывают годы без документов... Важные вещи проявляются иногда в мимолетных и не очень внушительных формах» (цит. по вступительной статье В. Каверина [10]). Если в общем плане Л. В. Щерба мог говорить, что «безусловно, единым является разговорный язык, определяемый исключительно единством коллектива в определенный момент времени» [5, с. 59], то, рассматривая конкретно, например, русскую литературную разговорную речь, можно усомниться, входит ли она вся в современное состояние русского литературного языка. Все из книжно-письменного языка даже в его современном состоянии документировать невозможно. Встает вопрос о границах, допустимости и лингвистической корректности реконструкций в описательной и микродиахронической лексикологии и лексикографии. Лексическая микродиахрония современного русского литературного языка не простирается далее конца XVIII в.

Когда Л. В. Щерба пишет, что «нельзя давать всего Пушкина, а только то из Пушкина, что не противоречит сегодняшнему словоупотреблению» [5, с. 60], то для нас ясно, что современное состояние русского литературного языка реконструируется, а не просто фиксируется. Предполагается наличие критерия отсева несовременного из лексики языка Пушкина, Гоголя и т. д. Поскольку современная и классическая литература и другие виды текстов-источников представляют в наше распоряжение только «языковой материал», из которого надлежит — Щерба говорил — синтезировать «языковую систему», а мы скажем — реконструировать ее как не данную в непосредственном наблюдении, постольку документированность сама по себе не может быть альфой и омегой ни синхронно-нормативной, ни справочно-исторической лексикографии. Дело не в том, что документ объективен, реконструкция субъективна. Дело в доказательности того и другого, дело в том, чтобы в любом словаре выписанное из документа и реконструированное резко отличались друг от друга самым способом подачи, чтобы читатель был в курсе всех сложностей лексикографа и ничего бы не принимал на веру.

Хорошим материалом для иллюстрации проблематики периодизации русского литературного языка могут быть слова особо разветвленной полисемии. Их анализ показывает, что может быть различная ширина того исторического шага, которым идет вперед лексико-семантическая система языка. Отдельные ее участки обновляются быстрее. На примере полисемантического слова можно видеть, что при сохранении первого или общего значения в течение многих веков (когда даже грамматическая система претерпела существенные изменения) вся гамма значений, оттенков и употреблений меняет свою конфигурацию гораздо быстрее, чем основное значение.

Тогда, когда обрывается непосредственная лингвистическая память смежных поколений, вступает в игру система языка. Можно сказать, что ключевые понятия язык и качественно определенное состояние языка имеют как бы несколько форм своего выявления. Мы получим одну шкалу языковых состояний, если возьмем в расчет общество, его культуру в их связи с языком. Если же перейти на учет только базовых, основных, общих значений слов, то можно прийти к другой шкале языковых состояний, на которой соседние деления будут отстоять друг от друга дальше, чем на культурно-исторической шкале языка. Лексика языка имеет двойственную природу: ядро и периферию. Лексическое ядро языка передается личности в первую очередь. Оно живет долго. В его состав входят основные значения (нетерминологических) существительных, глаголов и других частей речи. Лексическая периферия, зависящая от ядра, дает полную языковую картину культуры. Со времен Пушкина лексическая периферия значительно изменилась: мы больше не говорим на языке Пушкина, хотя и понимаем его в значительных пределах. На лексическом уровне мы сталкиваемся с одним из конкретных проявлений диалектического противоречия между внутренней и внешней лингвистикой.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Соссюр Ф. де.* Труды по языкознанию. М., 1977.
2. *Андреев Н. Д.* Полихрония и таухрония. — В кн.: О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков. М., 1960, с. 51.
3. *Лотман Ю. М.* Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (Комментарий). 2-е изд. Л., 1983.
4. *Сорокин Ю. С.* К замыслу «Словаря русского литературного языка первой половины XIX в.» — ИАН СЛЯ, 1985, № 2.
5. *Щерба Л. В.* Избранные работы по языкознанию и фонетике. Т. 1. Л., 1958.
6. *Филин Ф. П.* О новом типе толкового словаря современного русского языка. — В кн.: Тезисы докладов на VIII координационном заседании комиссии, посвященном вопросам составления нормативных словарей современного русского языка. М., 1962.
7. *Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. Т. IV. Вып. 2. М., 1977, с. 95.
8. *Филин Ф. П.* Некоторые проблемы диалектной лексикографии. — ИАН ОЛЯ, 1966, № 1, с. 5.
9. *Оссовецкий И. А.* Лексика современных русских народных говоров. М., 1982, с. 6.
10. *Гынянов Ю. Н.* Кюхля. М., 1978, с. 8.

КОГОТКОВА Т. С.

**СОВРЕМЕННЫЕ ОБЛАСТНЫЕ СЛОВАРИ В ИХ РЕТРОСПЕКЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЕ ДЛЯ ЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Заметные успехи областной лексикографии русского языка в последние два-два с половиной десятилетия, формирование на этой основе богатейшего и надежного картотечного фонда внелитературной лексики и фразеологии внесли весомый вклад в развитие лексикологических исследований современной русистики как исторического, так и синхронного направления.

Почти одновременно из разных научных центров страны исходила инициатива создания диалектологических словарей нашего времени. В мае 1959 года в Институте русского языка АН СССР в Москве академик В. В. Виноградов, открывая VII Всесоюзное диалектологическое совещание и подводя итоги долголетней диалектологической работы диалектологов нашей страны над атласами русских говоров, выдвинул две очередные задачи русской диалектологической науки — изучение говоров Сибири и составление областных диалектных словарей. И сразу же Институту русского языка АН СССР было поручено координировать и направлять работу пока еще разрозненных словарных коллективов. Несколько лет подряд, до 1965 года, Институт русского языка АН СССР в Москве проводил регулярные совещания по обмену опытом в лексикографической работе.

В итоге этих обсуждений появилась коллективная инструкция, ставившая целью ориентировать будущих наблюдателей диалектной лексики в их работе по сбору местных слов в экспедиционных условиях, прежде всего со стороны тематического (идеографического) членения этой лексики [1]. «Пособие-инструкция...» и по сей день является пока что единственным опытом идеографической дифференциации русской областной лексики<sup>1</sup>.

Одновременно были начаты работы и в Ленинграде: Институте языкознания АН СССР и Ленинградском университете.

Ф. П. Филин, руководивший в то время Словарным сектором Института языкознания АН СССР, выпустил в 1961 г. «Проект Словаря русских народных говоров» (СРНГ) [3], где не только теоретически обоснована концепция региональных словарей русского языка дифференциального типа, но и предложена словарная инструкция предполагаемого лексикографического издания. Вышедший в свет в 1965 г. первый выпуск СРНГ, составленный самим Ф. П. Филиным, содержащий слова на букву А, дополняет эти сведения фундаментальным списком источников словаря и другими справочными материалами.

В эти же годы в Ленинградском университете Б. А. Дарин выступает инициатором создания Псковского областного словаря, принципиально отличающегося от СРНГ по отбору слов. Это — словарь так называемого полного типа, т. е. фиксирующий всю реально существующую лексику в современных псковских говорах. «Инструкция Псковского областного словаря» вышла в свет в 1961 г. (Ленинград), первый выпуск словаря — в 1967 г.

В те годы многие теоретические и практические вопросы региональной лексикографии широко обсуждались в печати, на страницах как

<sup>1</sup> Именно такую оценку «Пособию...» дал И. А. Попов на одном из заседаний Международного симпозиума по этимологии, исторической лексикологии и лексикографии (май 1984 г.) при обсуждении своего доклада, связанного с размышлениями над возможностью подготовки идеографического словаря народных говоров [2].

центральных лингвистических журналов, так и в периодических изданиях на местах. Наиболее оживленная дискуссия прошла, пожалуй, о типе самого областного словаря, в частности, по проблеме — конструируется ли словник его по дифференциальному с литературным языком принципу отбора лексем и семем («областной словарь дифференциального типа») или в словарь берется вся зафиксированная в говоре наблюдателем лексика, семантика и фразеология («областной словарь полного типа»).

От основной проблемы отбора слова в областные словари неотделим и другой не менее важный и весьма непростой в различных лингвистических аспектах вопрос о включении туда обширного пласта просторечной лексики русского языка [4—8]. В горячих спорах и дискуссиях шлифовались точки зрения и выкристаллизовывались лексикографические концепции [9—22]. Для начинающих составлять областные словари сегодня публикации инструкторного характера начала 60-х годов сливаются в единые практические руководства, о чем, к примеру, прямо говорится в одном из последних по времени изданий — «Словаре вологодских говоров» [23].

Все вместе взятое дало мощный импульс для рождения молодой отрасли русистики — диалектной лексикологии. Сотни статей и несколько монографий [21, 24—26], серии периодических сборников — вот результаты этих разработок<sup>2</sup>. Такова самая беглая информация «исторического свойства» о работе над современными областными словарями.

Всем своим лингвистическим содержанием областные словари наших дней естественно отражают как общее состояние русских диалектов современной эпохи, так и уровень развития филологической науки и отечественной лексикографии в целом. Языковая структура диалектов нашего времени складывается в процессах устойчивого взаимодействия с кодифицированным литературным языком. В свою очередь само это взаимодействие поддерживается той коренной перестройкой, которая в послеоктябрьское время преобразила экономические, социальные и культурно-образовательные стороны жизни деревни.

Смешанный полудиалектный характер языковой организации говора самым непосредственным образом выражен в лексическом составе. Традиционная лексика, включая самые архаические единицы ее, и лексика литературная, объединяясь и взаимодействуя в речевой деятельности одного диалектного коллектива и полноценно обслуживая последний, представляют собой такой словарно-фразеологический сплав, который, будучи зафиксирован в словаре, может питать лексикологические исследования как в аспекте их ретроспективных построений, так и перспективных. При этом следует иметь в виду, что лингвистическую информацию для исследователя можно извлечь из всего текста областного словаря. Под лингвистическим текстом такого словаря принято понимать совокупность его словника и иллюстративного материала. Дефинитивная сторона областного словаря, полностью конструируемая автором-составителем, в лингвистический текст такого словаря не входит.

Словники областных словарей, как дореволюционных, так и современных, содержат бесчисленное множество примеров старины и архаики. Именно они питают лексикологические исследования историко-этимологической направленности. (Ср. слова, отмеченные Деулинским словарем в современном говоре и известные также разным памятникам древнерусского языка: *брюхо* «живот», *перепелёсина* «пятно, полоса на теле животного», *полый* «весенний разлив реки и заливаемый берег ее», *разлбй* «разлив реки», *улбгий* «хромой» и др.)

Второй стороной лингвистического текста современного областного словаря является иллюстративный материал. Как во всяком толковом филологическом словаре, цитатные подтверждения дополняют толкование слова (или его значения), указывают на широту употребительности

<sup>2</sup> Максимально полный библиографический список новейших областных словарей (тридцать одно издание) приведен в монографии [21]; сегодня этот список может быть пополнен новыми наименованиями.

его, очерчивают формально-грамматические пределы распространения той или другой семантики.

Вместе с тем иллюстративные тексты областного словаря могут быть и объектом выборки для того или иного лингвистического задания. Так, в свое время сплошное прочтение иллюстративного материала Деулинского словаря, полнота и разнообразие которого были высоко оценены рецензентами [27—32], дало возможность выявить новейшую лексику, освещая и адаптированную деулинским говором уже в наше, советское время. В итоге получилось 1395 слов; лексикологический анализ их позволил вскрыть разные стороны процесса освоения литературной лексики в деулинском говоре — в семантике, в лексической и фразеологической сочетаемости и многое другое. Так как слова этой новой выборки не были предметом фиксации в экспедиционный период из-за дифференциального принципа отбора слов в словарь, вторичность выборки слов придает характер полной достоверности полученным данным, лишает их какой бы то ни было «провокационности» и предвзятости, что нередко бывает в момент наблюдения и фиксации лексики в диалекте. Расположение словососвоений в карточке, т. е. концентрация контекстов на каж-дое слово, полученных методом вторичной выборки, позволяет объективно наблюдать за направлением семантизации при вхождении слов литературного языка в говоры, в частности, характерные для устной речи метонимические смещения в слове<sup>3</sup>.

Для ретроспективных лексикологических исследований особую ценность представляют дифференциальные диалектные словари с их словниками и дефинициями слов. Именно в словарях этого типа проявились наибольшие усилия составителей для фиксации и концентрации тематически детерминированной лексики. Предметно-тематическая лексика всегда была важна для истории материальной культуры, а с нею вместе и для истории языка и народа. В наши дни, когда смена предметно-понятийного фонда в деревне проходит необычайно интенсивно, регистрация ранее неизвестных слов, за которыми стоят предметы реальной жизни в каких-то звеньях уже уходящей, приобретает в некотором роде вид научных открытий. И чем больше будет таких слов-открытий в областном словаре, тем выше истинная ценность его.

Современные областные словари включают в состав своих словников такие слова (или дериваты древних корневых морфем), которые являются свидетельством исторически непрерывного семантического процесса в слове. Диалектная среда служит внеязыковой основой для бытования подобной лексики, а само развитие смысловой структуры слова, т. е. зарождение и развитие его новых значений, по большей части детерминируется семантическим потенциалом корневой морфемы, не выходя за пределы более или менее «определенной семантической зоны слова [26, с. 48]. Приведем один пример с др.-русским словом *яра* «весна». Из множества ассоциаций, которые возникают с *ярой* — «весной», в языке запечатлелись и утвердились в веках прежде всего те, которые так или иначе воспроизводят трудовую деятельность человека. В частности, в таких важнейших и древнейших сферах ее, как хлебопашество или животноводство, где обязательна зависимость от весеннего времени года. В древнерусском языке было немало слов, производных от *яра* «весна», показывающих эту связь: *ярина* «овечья шерсть, волна» (видимо, весенней, не осенней стрижки), *ярица* «зерно ярового хлеба», *яриченны* «прилаг. от слова *ярица*», *яровици* (о хлебных злаках) «яровой, посеянный весной». Аналогично сохранение исходного смыслового признака «весна» в словах, выбранных из новейших областных словарей: *ярь* «яровое поле, яровой посев» брянск., нвг., пск., калин., ярослав.; *ярица* «яровая рожь, пшеница», «яровой хлеб» калин., солик., зап.- и вост.-сиб.; *яровать* «сеять яровое», «обрабатывать поля под яровое» подмоск., *яровица* «яровая солома, употребляемая в корм домашнему скоту», «яровая рожь»;

<sup>3</sup> Подробнее об этом см. [21, с. 48; с. 159 и сл., с. 166—170 и др.]

*ярыш* «заяц июньского помета»; *ярыловое гулянье* «в последнее воскресенье перед петровками» ярослав.; *Яритина, пояррок* «шерсть первой стрижки овец» краснояр.; *яровище* «место после сжатых яровых культур» калин., «поле, засеянное яровым хлебом» томск.; *ярышка* «молодая овца, ярка» прибалт., подмоск.; *яритина* «первая шерсть с ягненка»; *яричный* «сделанный из зерен яровой ржи, ярицы» солик.; *яроводье* «сильный разлив вод весной» арх.

В лексическом фонде литературного языка также немало слов с корнем *-яра*, так или иначе отражающих «весеннюю» семантику. Из них особенно емко прилагательное *яровой* «посеянный весной и созреваемый до осени», «принадлежащий к таким злакам или полученный от таких злаков» (*яровая солома*), «засеянное такими злаками» (*яровое поле, яровой клин*); в значении существительного *яровое* и *яровые* «злаки весеннего посева», в противоположность озимым (*уборка яровых*). В толковых словарях литературного языка, помимо областных слов, отмеченных соответствующими пометами, помещены слова *ярка* «молодая, еще не ягнвившаяся овца», *поярок* «шерсть первой стрижки молодой овцы», *поярковый* «сделанный из поярка» (*поярковая шляпа*).

Многое из этой лексики является однословным корневым фондом в различных терминосистемах современного русского языка. Стандартизованная и унифицированная в языке науки и производства, получая статус термина, данная лексика не просто сохраняется в языковой памяти народа, но, обретая новую жизнь, служит базой для рождения новых слов и новых терминов, актуальных для современной жизни и деятельности людей. Обращение к диалектным словарям показывает генезис и «исходные» точки многочисленных терминологических единиц различных терминосистем. Специализированные однокоренные образования с *яра* (*ярища* «яровая рожь», *ярка*, *ярка-первокотка*, *ярка ремонтная*, *яровизация*, *яровизированный*, *яровизировать*, *яровой*, *яровость*, *яровые*, *яровка*, *ярь*), активизировавшиеся уже в наше, советское время, имеют соответствия во многих европейских языках, пройдя предварительный этап унификации и стандартизации [33].

В современных условиях терминологическая лексика постоянно пополняет словарные ресурсы литературных языков. Выход термина за пределы своей терминосистемы в общее употребление — это вторжение единицы одной языковой системы, терминологической, в другую — литературного языка. Естественно, это влечет трудности взаимопонимания между специалистами и неспециалистами.

Терминологические единицы, генетически восходящие к местной лексике, создают особые коммуникативные сложности, ибо в них больше, чем в других случаях, проявляется «коммуникативная ущербность» (выражение А. А. Реформатского [34]). В этом случае практические задачи ортологии выходят на первый план [35—36].

Как признают все исследователи и наблюдатели диалектного лексико-фразеологического обихода, многие особенности народно-диалектной речи определяются устной (разговорной) формой ее бытования. Если обратиться к одной из таких особенностей — повышенной эмоционально-экспрессивной тональности, свойственной диалектной речи, как и обиходно-разговорной речи в целом [37], то нетрудно увидеть, что диалектное слово реализует в своей семантической динамике именно те стороны смыслового потенциала, которые «предрасположены» к развитию экспрессивных коннотаций слова. Отмеченное в «Словаре русского языка XI—XVII вв.» *костра*, *кострика* «жесткая кора льна и конопля, остающаяся после их трепания и чесания», прилаг. *костриковатый* «содержащий кострику» в современном рязанском говоре д. Деулино, сохраняя свое номинативно-льноводческое значение, развивает вторичное, переносное. Глагол *костричить* — это и 1) «Трепать лен, отделяя кострику» и перен. 2) «Сорить, мусорить», связанное с тем, что само отделение кострики — это заполнение пространства своеобразным сором, льняной пылью. Слова *костричиться*, *костричный* полностью отходят от первоначальной семантики, означая «сориться, браниться» [38]. Достаточно вспомнить

саму внеязыковую ситуацию — трепание льна — как станет ясной причина появления и этой экспрессивно-смысловой коннотации.

В современных областных словарях недифференциального типа (однодиалектных и диалектных зон) словники организуются таким образом, что в них легко обнаруживается собственно языковая системность лексики. В этом случае лингвистический текст современных областных словарей может оказаться полезным для перспективных диалектно-лексикологических исследований. Известно, что в диалектно-некодифицированной речи порождающие функции языковой системы выражаются в своем наиболее естественном проявлении.

Первые заметные результаты перспективной диалектологии сказываются в изучении вариативно-словообразовательной лексики. Именно здесь диалектологи-лексикологи идут в ногу, а в некоторых моментах и опережают исследователей аналогичных лингвистических проблем, разрабатываемых на материале литературных языков<sup>4</sup>. Достаточно назвать инициативное обращение их к изучению таких явлений, как лексическая номинация [41—43], мотивация слов [44], ономаσιологический анализ тематических групп диалектной лексики [45]. Ономаσιологические исследования местных слов, осложняясь и дополняясь лингвогеографическими данными, не просто содействуют дальнейшему развитию общей теории номинации, но и, как говорят французский лингвогеограф Ж. Сеги, помогают диалектологии влиться в общее языкознание [46].

Высокая словообразовательная, морфологическая и звуковая вариативность лексических единиц современного диалекта [что наглядно демонстрируют словники именно новейших (не дореволюционных!) областных словарей] становится объектом изучения и такого перспективного направления, как социолингвистика. Исходя из того, что вариация элементов языковой структуры никогда не бывает «свободной» от социальных факторов [47], исследователи диалектной лексики устанавливают дистрибуцию в функционировании вариантов в зависимости от социально-возрастной дифференциации населения деревни нашего времени. Эти исследования являются составной частью разработки проблемы взаимодействия говоров с нормализованным литературным языком, вписываясь, таким образом, в самые актуальные задачи современной лингвистики [48].

Суммируя и объединяя разрозненные факты разных ярусов языка, перспективная диалектология выявляет тенденции языкового развития, намечает закономерности языковой эволюции (ср. неизменный рост образований в именах существительных жен. р. с суф. *-ка*). Этот процесс был активным в древние эпохи, активен он и в наши дни. Весьма продуктивным в народном языке с самых древних времен был и безаффиксный способ образования новых слов. Известно, что слова с нулевым суффиксом буквально «владеют» некоторыми собственно терминологическими областями, в частности, и сельскохозяйственными.

Полнота и надежность диалектно-лексикографических источников помогают выявить общезыковые тенденции не только русского языка, но и родственных славянских. Такие сведения получены В. М. Мокиенко при сравнительно-типологическом изучении славянской фразеологии. Например, структурная модель фразеологизма *дать + что* «бить», определяемая автором как «самая продуктивная структурно-семантическая схема при образовании фразеологизмов», наполняется многочисленными примерами из чешского языка и русских диалектов [49].

В русском языке участие глагольного компонента *дать* во фразеологизмах разной семантики наблюдается с древних времен до последних дней: *дати миръ* «заключить мир, помириться» (*Гюрги же и тому Святославу Всеволодовичу миръ дати*. Переясл. лет., 71) [50] и *дать выговор, дать высылку, дать голос, дать замечание, дать ответ, дать отказ* и под. в современных диалектах [51].

<sup>4</sup> Ср. также вторичные лексикографические издания на базе диалектных словарей, подготовленные сотрудниками кафедры русского языка Томского университета [39—40].

Выстроенные, таким образом, в один ряд исторические и диалектные словари являются справочниками, которые позволяют судить о нашем национальном языке как едином историческом образовании.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Пособие-инструкция для подготовки и составления региональных словарей русского языка. М., 1960.
2. Попов И. А. К проблеме идеографического словаря русских народных говоров. — В кн.: Международный симпозиум по проблемам этимологии, исторической лексикологии и лексикографии. Москва, 21—26 мая 1984 г.: Тезисы докладов. М., 1984.
3. Филин Ф. П. Проект «Словаря русских народных говоров». М.—Л., 1961.
4. Кац С. Д. К вопросу о так называемом «просторечии» в составе современной диалектной лексики. — В кн.: Тезисы докладов на IX диалектологическом совещании 15—18 мая 1963 г. М., 1963.
5. Гецова О. Г. О характере областного (диалектного) словаря. — ФН, 1964, № 3.
6. Филин Ф. П. Некоторые проблемы диалектной лексикографии. — ИАН ОЛЯ, 1966, № 1.
7. Гецова О. Г. К проблемам диалектной лексикографии. — ВЯ, 1969, № 3.
8. Орлов Л. М. Социальная и функционально-стилистическая дифференциация в современных русских территориальных говорах: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. М., 1970.
9. Ларин Б. А. Принципы укладання областних словників української мови. — В кн.: Діалектологічний бюлетень, VI. Київ, 1956.
10. Ларин Б. А. О работе над новыми словарями. — Вестн. ЛГУ, 1960, сер. истории языка и лит-ры, вып. 4, № 20.
11. Ларин Б. А. Инструкция «Псковского областного словаря». Л., 1961.
12. Толстой Н. И. Какой тип диалектного словаря нам нужен? — В кн.: XII Республіканська діалектологічна нарада: Тези доповідей. Київ, 1965.
13. Сороколетов Ф. П. О теоретических установках одного областного словаря. — В кн.: Современная русская лексикология. М., 1966.
14. Ивашко Л. А., Мжельская О. С. Общерусский лексический фонд в словарном составе диалекта. — Вестн. ЛГУ, 1966, сер. истории, языка и лит-ры, вып. 4, № 20.
15. Ивашко Л. А., Мжельская О. С. Псковский областной словарь и некоторые дискуссионные вопросы региональной лексикографии. — ВЯ, 1968, № 2.
16. Максимов В. И., Сороколетов Ф. П. — ИАН ОЛЯ, 1968, № 2. — Рец. на кн.: Псковский областной словарь.
17. Коготкова Т. С. — ВЯ, 1968, № 5. — Рец. на кн.: Псковский областной словарь с историческими данными. 1. Л., 1967.
18. Оссовецкий И. А. Словарь современного русского народного говора. Введение. М., 1969.
19. Мельниченко Г. Г. Новый региональный словарь. — РЯШ, 1971, № 6. — Рец. на кн.: Иванова А. Ф. Словарь говоров Подмосквья. М., 1969.
20. Филин Ф. П. Актуальные проблемы диалектной лексикологии и лексикографии. — В кн.: Славянское языковедение. VII Международный съезд славистов. Варшава, август 1973: Доклады советской делегации. М., 1973.
21. Коготкова Т. С. Русская диалектная лексикология (Состояние и перспективы). М., 1979, с. 31 и сл.
22. Сороколетов Ф. П. Областные словари и диалектная лексикология. — ВЯ, 1981, № 3.
23. Словарь вологодских говоров. А—Г.: Учебное пособие по русской диалектологии. Вологда, 1983, с. 3.
24. Блинова О. И. Введение в современную региональную лексикологию. Томск, 1973; 2-е изд. Томск, 1975.
25. Лукьянова Н. А. Некоторые вопросы диалектной лексикологии. Новосибирск, 1979.
26. Оссовецкий И. А. Лексика современных русских народных говоров. М., 1982.
27. Палагина В. В. — РЯШ, 1970, № 5. — Рец. на кн.: Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области). М., 1969.
28. Iwanośa-Perczyńska N. — Poradnik językowy, 1971, № 1. — Рец. на кн.: Словарь современного русского народного говора.
29. Ивашко Л. А., Мжельская О. С. Словарь говора деревни Деулино. — Вестн. ЛГУ, 1971, сер. истории, языка и лит-ры, вып. 1, № 2.
30. Сороколетов Ф. П. — ВЯ, 1971, № 2. — Рец. на кн.: Словарь современного русского народного говора.
31. Мокиенко В. М. [Хроникальный отчет] — ВЯ, 1971, № 1.
32. Стреляный А. Так говорят в Деулине. — Журналист, 1971, № 1.
33. Восьмязычный сельскохозяйственный словарь. Москва — Прага, 1970.
34. Реформатский А. А. Введение в языковедение. М., 1955, с. 109.
35. Коготкова Т. С. Терминология и межфункционально-стилевая «омонимия». — В кн.: Проблематика определенных терминов в словарях разных типов. Л., 1976.
36. Коготкова Т. С. Профессионально-терминологическая лексика в газете. (Способы

- бы раскрытия и введение в текст).— В кн.: Терминология и культура речи. М., 1981.
37. *Ожегов С. И.* О формах существования современного русского национального языка.— В кн.: Вопросы культуры речи. Вып. 7. М., 1966, с. 8.
  38. Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области). М., 1969, с. 244.
  39. Опыт обратного диалектного словаря. Под ред. Янценецкой М. Н. Томск, 1973.
  40. Мотивационный диалектный словарь. (Говоры Среднего Приобья). Под ред. Блиновой О. И. Т. 1. Томск, 1982; Т. 2. Томск, 1983.
  41. *Голев Н. Д.* Система номинации конкретных предметов в русском языке. Томск, 1974.
  42. *Голев Н. Д.* Ономазиология как наука о номинации.— В кн.: Русское слово в языке и речи. Вып. 2. Кемерово, 1977.
  43. *Янценецкая М. Н.* Семантические вопросы теории словообразования. Томск, 1979.
  44. *Блинова О. И.* Явление мотивации слов. Томск, 1984.
  45. *Оленева Т. Б.* Наименование сельскохозяйственных орудий и их деталей. (На материале русских народных говоров; период XIX — начало XX в.): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук, М., 1981.
  46. *Павел В. К.* Проблема ономазиологии в лингвогеографическом исследовании.— В кн.: Сопещение по вопросам диалектологии и истории языка (лингвогеография на современном этапе и проблемы межуровневого взаимодействия в истории языка). Ужгород, 18—20 сентября 1984 г.: Тезисы докладов и сообщений. М., 1984, с. 184.
  47. *Швейцер А. Д., Никольский Л. П.* Введение в социолингвистику. М., 1978, с. 3.
  48. *Лютикова В. Д.* Социальная дифференциация лексики говора на территории позднего заселения: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1984.
  49. *Мокиенко В. М.* Славянская фразеология. М., 1980, с. 46.
  50. Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 4. М., 1977.
  51. *Ивашко Л. А.* Очерки русской диалектной фразеологии. Л., 1981, с. 89.

ВАСИЛЕВИЧ А. П., СКОКАН Ю. Н.

К МЕТОДИКЕ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

(На примере лексики цветообозначений)

Известно, что одной из характерных черт восприятия человеком окружающего мира является способность к типизации: адекватное восприятие было бы просто невозможным, если бы отражение действительности в мозгу было хаотическим. Указанная способность к членению непрерывного потока впечатлений и выделению категорий (типов) предметов и явлений основана, прежде всего, на способности выявлять объективно существующие общие черты этих последних. Решающая роль в этом мыслительном процессе отводится языку. Именно с помощью языковых средств, как правило, осуществляется та или иная категоризация действительности. При этом, поскольку разные языки обладают сильно различающейся номенклатурой лексических и грамматических средств, языковеды не могли пройти мимо идеи, согласно которой у разных народов должно быть разное «видение» мира, обусловленное соответствующим языком. Очевидно, первым, кто сформулировал эту идею, был В. фон Гумбольдт: «...в каждом языке заложено самобытное мирозерцание... Человек окружает себя миром звуков, чтобы воспринимать в себя и перерабатывать мир вещей... (он) живет с предметами так, как их преподносит ему язык» [1, с. 80]. Позднее эта идея была наиболее полно воплощена в теории лингвистической относительности, известной также как гипотеза Сепира—Уорфа. Работы Э. Сепира и Б. Уорфа положили начало целому направлению в языкознании; об их популярности можно судить по сотням публикаций в отечественной и зарубежной литературе.

Частным случаем гипотезы Сепира—Уорфа является тезис о том, что восприятие цветового пространства зависит от особенностей языка данной общности людей. Отметим, что именно этому частному случаю уделяется наибольшее внимание при сопоставительных исследованиях языков. Последнее связано, по-видимому, с тем, что соответствующая лексика легко выделяется и для ряда языков хорошо описана. Примеры различий в членении цветового пространства в разных языках представлены в работах не только сторонников теории лингвистической относительности, но и представителей самых разных школ и направлений в лингвистике [2—4].

Конечно, сам факт существенных различий языков по составу (в особенности, количественному) лексических средств цветовыражения сомнению не подлежит. В некоторых случаях указанные расхождения могут быть объяснены различными условиями жизни и труда людей и, соответственно, необходимостью более детализированного или, наоборот, более обобщенного отражения действительности в языке. Возможны и другие объяснения. Интересной представляется, например, гипотеза, устанавливающая связь между дробностью членения цветового пространства и этапом развития языка [5].

Следует отметить, что гипотеза Сепира—Уорфа неоднократно критиковалась в литературе с самых разных точек зрения, в том числе и в той ее части, которая связана с привлечением фактического материала [6—10]. Не разделяя позиции сторонников обсуждаемой гипотезы в целом, мы, со своей стороны, в особенности критически относимся к применяемым ими методам исследования. Здесь нам хотелось бы выделить два аспекта.

Во-первых, практически во всех случаях, проводя сопоставительный анализ, исследователи оперируют так называемыми «основными цвето-

наименованиями» (basic colour terms), принципы выделения которых носят порой весьма субъективный характер и не выдерживаются последовательно для всех языков [11]. Нам представляется, что при исследовании нельзя ограничиваться рассмотрением только двенадцати цветообозначений (традиционно рассматриваемых в русском как «основные») и игнорировать сотни других цветообозначений, среди которых есть такие общеупотребительные слова, как *алый*, *малиновый*, *бурый* и т. д. Во-вторых, сопоставительный анализ языков осуществляется обычно исследователем-билингвом, который полагается на свое собственное языковое чутье. Однако даже «чутье» одного исследователя не всегда может служить эталоном, верно отражающим коллективное языковое сознание. Исследование категоризации цветового пространства в языке (языках) обязательно должно включать опрос носителей соответствующих языков.

В предлагаемой работе будет показано, как можно практически осуществить подход к сопоставительному анализу лексики цветообозначений, при котором, во-первых, привлекаются в с е сколько-нибудь употребительные цветоименования данного языка и, во-вторых, используется психолингвистический э к с п е р и м е н т с соответствующей обработкой полученных результатов.

Настоящая работа основана на сопоставительном анализе двух языков — русского и узбекского, хотя мы применяли описанную здесь методику и для ряда других языков (английского, французского, таджикского, сербскохорватского, венгерского и др.). При этом во всех случаях использовалось достаточно большое количество цветоименований (так, в русском и английском языках рассматривался словник объемом более 400 слов, в венгерском и узбекском — порядка 150 и т. д.). Однако в целях экономии места в настоящей работе мы подробно остановимся лишь на тех словах русского и узбекского языков, которые обозначают оттенки желтого цвета. Это оправдано, в частности, потому, что свою основную задачу мы видели в описании методики исследования. Результаты же сопоставительного анализа в полном объеме (для разных языков) будут представлены в других публикациях (серия этих публикаций открылась работами [12—14]).

Дальнейшее изложение будет строиться следующим образом. Вначале мы опишем методику получения достаточно полного перечня слов-цветонаименований. Затем будет описан эксперимент, позволяющий исследовать характер членения цветового пространства носителями русского и узбекского языков. В заключение мы проведем собственно сопоставительный анализ данных (для оттенков желтого цвета) и покажем, что помимо чисто теоретического интереса (особенно в плане обсуждения гипотезы Сепира — Уорфа), эти данные имеют и практическое значение — в частности, для нахождения узбекско-русских цветовых эквивалентов.

П о л у ч е н и е с л о в н и к о в. Для того, чтобы получить достаточно полные перечни слов, употребляющихся в русском и узбекском языках для обозначения желтого цвета, мы использовали различные словари, а также результаты опроса большой группы носителей языка (в русском эксперименте участвовало более 200 человек, в узбекском — 80). Методика опроса подробно описана в упомянутых выше наших публикациях; она позволяет не только получить хорошее представление о составе активной лексики современного языка, но и оценить степень употребительности тех или иных цветоименований. Так, из 23 слов узбекского языка, относящихся к области желтого участка цветового пространства, одно слово — *сарик*<sup>1</sup> — называлось практически всеми участниками эксперимента; слова *оч сарик* и *тўқ сарик* встретились соответственно в 18 и 29 протоколах (из 80); слова *малла*, *нос ранг* и *олтин ранг* появились в ответах 2—5 человек; 6 слов были названы всего по 1 разу, а остальные 11 слов (зафиксированных в словаре) не вспомнил никто из 80 информантов. Таким образом, можно говорить, что активный словарь узбекского языка для

<sup>1</sup> Переводы см. в табл. 2.

обозначения оттенков желтого цвета включает примерно 10 слов. В русском языке общее число цветоименований исследуемой группы было существенно большим (порядка 50); соответственно больше была и группа активной лексики (*желтый, золотистый, темно-желтый, светло-желтый, янтарный, лимонный* и т. д. — всего около 30).

Исследование членения цветового пространства. На первый взгляд кажется очевидным, что русский язык, располагая большим числом слов для обозначения оттенков желтого цвета, соответственно более дробно и членит их. Вообще, как видно из литературных данных, вопрос о членимости пространства чаще всего сводится к простому количественному сопоставлению словников (напомним при этом, что рассматривается только определенная часть всех цветоименований, которая кажется исследователю заслуживающей внимания). Нам представляется принципиально неверным считать каждое слово своего рода ярлыком отдельной категории и отождествлять число категорий, отражающих процесс восприятия, с числом разных слов, наличествующих в языке. При восприятии действительности число вычленяемых в ней категорий невелико и заведомо меньше числа слов, соответствующих тем или иным сенсорным ощущениям. Сказанное согласуется с давно установленным фактом «языковой избыточности», который проявляется, в частности, в существовании лексической синонимии.

Что такое «синоним» применительно к цветоименованиям? Допустим, что во всем множестве оттенков желтого цвета русский информант вычленяет  $n$  разных категорий. Это не означает, конечно, что в пределах каждой категории оказываются оттенки, которые он не в состоянии различить «на глаз». Разрешающая способность зрения позволяет различать гораздо большее число оттенков, что легко можно показать, поставив человека в соответствующие экспериментальные условия. Однако реально, на практике, чрезмерно тонкие различия человеку не нужны; напротив, как мы говорили, он склонен к минимизации числа выделяемых категорий. Поскольку носитель русского языка «обходится»  $n$  категориями желтого цвета, можно предполагать, что число разных слов-цветообозначений для оттенков желтого цвета будет превышать  $n$ . Тогда правомерно допустить, что каждой категории соответствует в среднем по нескольку слов. При этом уместна такая аналогия: если в пределах одной категории человек не делает явных различий между входящими в нее оттенками, то точно так же в речевом общении он не чувствует существенных смысловых различий между словами, относящимися к одной и той же категории цветового пространства. Такие слова, в сущности, и являются синонимами (примерами синонимических рядов могут служить группы русских слов *канаречный, ярко-желтый, лично-желтый* или же *бледно-желтый, светло-желтый, блекло-желтый* и т. д.).

Итак, наш основной постулат состоит в следующем. Если носитель русского языка членит цветовое пространство на  $n$  категорий и каждая категория должна как-то «называться», т. е. быть представленной в языке одним или несколькими словами, то выделив во множестве всех цветоименований  $k$  разных синонимических рядов, мы можем поставить знак равенства между найденными рядами и гипотетическими категориями ( $k = n$ ). Понятно, что связывая членение пространства (на уровне восприятия) с делением множества слов на синонимические группы, мы обращаемся к денотативному значению, а выделяемые нами синонимические ряды включают денотативные синонимы. На этом и строится основная схема нашего подхода к выделению синонимов.

Группе информантов предлагается набор цветообразцов и дается пачка карточек со словами-цветообозначениями. Задача информантов — отождествить каждое слово с каким-то образцом цвета, исходя из своего представления о денотативном значении этого слова. Индивидуальные представления о денотативном значении группируются вокруг некоторого «истинного» денотативного значения, которое можно извлечь из усредненного мнения группы опрошенных информантов. Слова, имеющие близкие «истинные» денотативные значения, как раз и составят синонимические

ряды. Приведенная схема ставит перед нами несколько частных задач.

1) **Ц в е т о о б р а з ц ы**. При изготовлении цветообразцов мы воспользовались таблицами Манселла, в которых все образцы выравнены по насыщенности [15]. Каждый цветообразец представлял собой прямоугольник размером  $20 \times 15$  мм, наклеенный на нейтральный серый фон (размер всей карточки —  $70 \times 100$  мм). Не простым был вопрос о количестве образцов. С одной стороны, хотелось включить в эксперимент как можно больше разных оттенков. С другой стороны, число вариантов, даваемых испытуемым, должно быть обозримым; в частности, важно, чтобы два любых образца легко различались на глаз.

Напомним, что объектом нашего анализа выступают только оттенки желтого цвета. Однако информантам было бы утомительно работать с оттенками только одного цвета. Поэтому, помимо желтых, мы включили в набор также коричневые, белые, серые и черные цвета. Отобранный набор включал 21 цветообразец. В эксперименте они раскладывались перед информантами в три ряда (по семи в каждом).

Как показал эксперимент, информанты использовали для определения значения слов, обозначающих желтый цвет, 16 различных образцов. На наш взгляд, такое количество вариантов вполне соответствует поставленной задаче. Однако, разумеется, всегда можно спросить: не изменятся ли результаты группировки, если число образцов будет иным. Чтобы ответить на этот вопрос, мы провели вспомогательный эксперимент, в котором тот же набор слов оценивался информантами с помощью 12 цветообразцов, причем в этом новом наборе, кроме желтых, были представлены синие и зеленые цвета. Мы надеялись получить примерно одну и ту же группировку слов, обозначающих желтый цвет, в столь разных условиях эксперимента. Обсуждение полученных в дополнительном эксперименте результатов мы пока отложим.

2) **С л о в а - с т и м у л ы**. Как уже говорилось, мы хотели проверить в эксперименте по возможности все слова, так или иначе связанные с обозначением желтого цвета. Однако мы убедились в том, что не имеет смысла включать в экспериментальные наборы слова пассивной лексики типа узб. *новот ранг*, *макка ранг* или русск. *дроковый*, *нанковый*, *ноготковый*. Такие слова либо вообще неизвестны большинству информантов, либо известны, но не вызывают достаточно определенного денотативного представления. С другой стороны, излишне «отягощали» бы набор и дублиеты типа *канареечный* — *канареечно-желтый*. Устранив указанные слова из словников, мы оставили для анализа 13 узбекских и 29 русских слов.

3) **П р о ц е д у р а э к с п е р и м е н т а**. Эксперимент проводился индивидуально. Перед информантом выкладывался набор цветообразцов и давалась пачка карточек со словами-стимулами. Задача состояла в том, чтобы для каждого слова указать тот образец, который наилучшим образом соответствовал бы представлению информанта о денотативном значении этого слова. В случае затруднений разрешалось указывать для слова 2—3 образца. Иногда информанты отказывались от ответа (либо по причине незнания слова, либо потому, что никак не могли найти в наборе цветообразцов подходящий денотат). В результате общее число ответов для разных слов было несколько различным. Всего в эксперименте участвовало 25 носителей русского и ровно столько же — узбекского языка.

4) **О б р а б о т к а р е з у л ь т а т о в**. Результаты эксперимента обрабатывались вначале отдельно для русского и узбекского языков. Для каждого слова определялось, сколько человек соотнесли его с тем или иным цветообразцом, и выписывалось соответствующее распределение суждений. Поскольку общее число ответов для разных слов было различным, для удобства дальнейших сопоставлений мы рассматривали распределение суждений в виде доли информантов (в %). Например, мы говорили: 87% русских информантов соотнесли слово *темно-желтый* с образцом № 6, 5% — с образцом № 13 и т. д. В результате для каждого языка была составлена матрица данных, фрагмент которой приводится в табл. 1.

Каждая строка в табл. 1 — не что иное, как денотативное значение соответствующего слова, представленное числами, которые допускают по-

Распределение суждений о денотативном значении слов  
(в % к общему числу информантов)

Язык	Слова-стимулы	Цветовые образцы					
		№ 6	№ 7	№ 12	№ 13	№ 14	№ 21
русский	темно-желтый	87	—	6	5	—	2
	ярко-желтый	—	—	100	—	—	—
	интенсивно-желтый	4	—	96	—	—	—
	капаречный	7	6	82	5	—	—
	светло-желтый	—	—	3	93	4	—
	бледно-желтый	—	3	—	72	25	—
	желтый	—	—	62	38	—	—
узбекский	<i>сарик</i> «желтый»	1	5	69	25	—	—
	<i>оч сарик</i> «светло-желтый»	—	2	10	64	24	—
	<i>заррин</i> «золотой»	49	5	4	4	6	32
	<i>тўқ сарик</i> «темно-желтый»	80	—	11	1	2	6

следующую обработку. Напомним, что наша основная задача — получить разбиение слов на группы синонимов. С этой целью необходимо было применить такой метод расчета, который позволил бы, исходя из данных матрицы, оценить числом степень денотативной близости слов.

Для определения семантической близости (или, что то же самое, семантического расстояния) любых двух слов А и В подсчитывалась величина  $R$  по формуле:

$$R = \sum_i \left| \frac{a_i}{\sum_i a_i} - \frac{b_i}{\sum_i b_i} \right|,$$

где  $a_i$  и  $b_i$  — доля информантов, сопоставивших слова А и В с образцом  $i$  ( $i = 1, 2, \dots, 21$ ).

Величина расстояния  $R$  изменяется от 0 до 2, причем минимальное расстояние между значениями слов ( $R = 0$ ) соответствует случаю, когда распределения суждений для слов А и В полностью совпадают, а максимальное ( $R = 2$ ) возникает тогда, когда слова не имеют ни одной совпадающей оценки (ср. слова *ярко-желтый* и *бледно-желтый* в табл. 1). Для подсчета величины  $R$  была создана специальная программа, реализованная на программно-управляемом микрокалькуляторе марки БЗ—34.

Итак, меньшая величина  $R$  соответствует большей близости слов по своему денотативному значению. По данным табл. 1 мы получили, что  $R$  {*ярко-желтый*, *интенсивно-желтый*} = 0,08;  $R$  {*светло-желтый*, *бледно-желтый*} = 0,17, в то время как, например,  $R$  {*желтый*, *светло-желтый*} = 1,18. Эти данные, вообще говоря, вполне соответствуют нашим интуитивным представлениям о степени близости слов в приведенных парах. В дальнейшем величина  $R$  как раз и будет рассматриваться нами как численная оценка, характеризующая степень расхождения смысла слов. Для наглядности мы увеличим все значения  $R$  в 50 раз и округлим их до целого. Полученные таким образом данные для набора узбекских слов представлены в табл. 2 (аналогичные данные для русских слов мы не приводим здесь в целях экономии места).

Чтобы определить, какую степень близости слов мы будем считать достаточной, чтобы объявить эти слова «синонимами», необходимо было выбрать соответствующее пороговое значение  $R$ . Перебрав несколько вариантов, мы остановились на пороговом значении  $R = 40$ . Таким образом, в дальнейшем мы будем считать слова А и В синонимами, если  $\{A, B\} \leq 40$ . В табл. 2 этому условию удовлетворяют пары {*заррин*, *зар ранг*}, {*похол ранг*, *оч сарик*} и др.

Данные о семантическом расстоянии между узбекскими словами

			№№	I		II		III				IV		V		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	<i>сариқ</i> <i>сап-сариқ</i>	«желтый»	1	0	30	63	69	86	85	74	60	51	88	75	91	77
		«очень желтый»	2		0		88	93	79	86	87	68	69	91	84	100
II	<i>оч сариқ</i> <i>похол ранг</i>	«светло-желтый»	3			0	35	86	82	75	70	54	68	56	94	81
		«соломенный»	4				0		92	80	73	62	49	44	51	86
III	<i>тўқ сариқ</i> <i>заррин</i> <i>зар ранг</i> <i>олтин ранг</i> <i>олтинсимон</i>	«темно-желтый»	5					0	38	51	59	53	87	85	98	83
		«золотой»	6						0	27	41	48	58	82	88	63
		«цвета золота»	7							0	42	39	58	67	85	55
		«цвета золота»	8								0	29	55	70	83	56
		«золотой»	9									0	66	61	80	67
IV	<i>заҳил</i> <i>заъфорон</i>	«желтоватый»	10										0	44	87	67
		«шафран»	11											0	87	80
V	<i>малла</i> <i>сарғиш жи- гар</i> <i>ранг</i>	«буровато-жел- тый»	12												0	46
		«желтовато-ко- ричневый»	13													0

Тот же критерий «синонимичности» использовался при формировании групп слов: в одну группу включались такие цветонаименования, которые были синонимами по отношению друг к другу. Если какое-либо слово не обнаруживало достаточно близкой связи ни с одной из групп, оно оставалось изолированным и образовывало свою, отдельную группу<sup>2</sup>. В результате в узбекском языке удалось выделить следующие группы: 1) *сариқ*, *сап-сариқ*; 2) *тўқ сариқ*, *заррин*, *зар ранг*, *олтин ранг*, *олтинсимон*; 3) *оч сариқ*, *похол ранг*; 4) *заҳил*, *заъфорон*; 5) *малла*, *сарғиш жигар ранг*.

Применение аналогичной процедуры привело к следующему разбиению русских цветонаименований: 1) *желтый*, *лимонный*, *канареечный*, *золотой*, *ярко-желтый*, *насыщенно-желтый*, *интенсивно-желтый*, *ядовито-желтый*, *яично-желтый*; 2) *светло-желтый*, *бледно-желтый*, *блекло-желтый*, *банановый*; 3) *темно-желтый*, *охряный*, *горчичный*, *медовый*, *янтарный*, *луково-желтый*; 4) *кремовый*, *сливочный*, *пергаментный*, *цвета слоновой кости*; 5) *грязно-желтый*, *мутно-желтый*, *песочный*; 6) *золотистый*.

Обсуждение результатов. Прежде чем провести сопоставительный анализ полученных данных, убедимся в обоснованности наших разбиений. Как уже упоминалось выше, мы провели вспомогательный эксперимент, в котором число вариантов (цветообразцов) для слов, обозначающих желтые оттенки, было существенно меньшим. В этом эксперименте 18 носителей узбекского языка и 22 русских информанта, не принимавших участия в основном эксперименте, работали с тем же набором цветонаименований оттенков желтого цвета. Применив описанную выше процедуру обработки данных, мы получили разбиение русских и узбекских слов на синонимические группы. Результаты разбиения мало отличаются от тех, что были получены в основном эксперименте. В русском наборе вместо шести групп выделилось пять (в одну группу слились слова, составляющие в основном эксперименте группы 2 и 4, хотя и здесь между ними намечалось небольшое различие). Кроме этого слово *канареечный* перешло в группу «золотистый», а слово *лимонный* из группы «ярко-желтый» перешло в группу 2 (*светло-желтый*, *бледно-желтый* и т. п.). Эти незначительные

<sup>2</sup> У нас подобная «группа» оказалась единственной — в русском языке. Однако в других случаях (красные, синие и др. цвета) их было больше.

Семантические расстояния в объединенном множестве слова  
(выборочные данные)

		№№	I							II				III					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	желтый	1	0	39	39	15	33	14	39	59	64	54	61	97	84	97	94	73	
	ярко-желтый	2		0	4	25	18	31	10	97	100	90	100	100	100	100	100	86	
	интенсивно жел- тый	3			0	27	15	30	6	97	100	90	96	100	100	100	95	86	
	лимонный	4				0	20	10	25	73	77	69	76	97	83	86	71	73	
	канареечный	5					0	22	12	92	94	85	84	91	89	91	84	80	
	сариқ	6						0	30	73	73	63	69	95	82	95	88	75	
	сап-сариқ	7							0	95	97	88	93	98	97	98	91	84	
II	светло-желтый	8								0	29	29	54	97	81	94	87	80	
	бледно-желтый	9									0	10	32	72	59	72	65	63	
	оч сариқ	10										0	35	74	61	74	68	56	
	похол ранг	11											0	55	52	55	88	75	
III	кремовый	12												0	53	36	47	40	
	сливочный	13													0	36	46	39	
	цвет слоновой кости	14														0	38	39	
	захил	15																0	44
	заффорон	16																	0

изменения носят скорее случайный характер; общая картина разбиения осталась прежней. Аналогичный результат получен и для узбекских слов.

Итак, группировка слов в обоих языках отражает глубокий процесс восприятия цветового пространства и потому имеет устойчивый характер. Уместно в этой связи упомянуть результаты другого нашего исследования. Несколько групп билингвов участвовали в эксперименте описанного нами типа в двух экспериментальных условиях: в одном случае им предъявлялись слова родного языка, а в другом — набор слов неродного языка. Затем мы сопоставляли группировки слов, полученные в разные условия (например, группировки английских цветоименований, полученные, с одной стороны, в эксперименте с англичанами, а с другой — в экспериментах с русскими и эфиопами, хорошо владеющими английским языком). Оказалось, что общая картина группировки слов неродного языка более или менее точно повторяет картину группировки слов, полученную в эксперименте с родным языком (например, группировка английских слов у эфиопов была более похожа на группировку амхарских слов, чем на группировку тех же английских слов, полученную в английской аудитории). Таким образом, влияние когнитивной организации цветового пространства на характер группировки слов столь велико, что проявляется даже при работе со словами неродного языка.

Вернемся теперь к сопоставлению данных эксперимента с русским и узбекским языками. Заметим, что число выделяемых в обоих языках категорий примерно одно и то же, хотя число разных слов в них отнюдь не одинаково: русский набор в два раза больше. Итак, число лексических единиц, связанных с обозначением цвета, само по себе еще не определяет степень дробности членения цветового пространства в речевых механизмах носителей языка. Это первый важный вывод, который следует из нашего исследования. Напомним, что в работах сторонников гипотезы Сепира—Уорфа различия в восприятии цветового пространства иллюстрируются именно фактом разного объема словарей.

Попробуем теперь провести качественное сопоставление полученных группировок, т. е. найти соответствия между категориями узбекского и русского языков. Нас по-прежнему в первую очередь будет интересовать методическая сторона исследования, поэтому мы рассмотрим лишь часть

нашего материала. Отберем по несколько слов из групп 1, 2 и 4 русского языка и 1, 3 и 4 узбекского языка. Теперь применим к этому объединенному множеству слов описанную выше процедуру выделения синонимических рядов. Результаты подсчетов представлены в табл. 3. Как видим, русские и узбекские слова в равной мере участвуют в образовании групп, причем слова каждого из языков делятся на группы точно так же, как в случае анализа каждого из языков в отдельности. Таким образом, можно говорить о том, что категории I—III, представленные в табл. 3, носят универсальный характер. Конечно, мы не утверждаем, что совпадение категорий для русского и узбекского языков будет прослеживаться на всем цветовом пространстве. Однако сам факт наличия совпадающих категорий у носителей столь разных языков представляется нам важным и составляет еще один теоретический итог нашей работы.

Нам уже приходилось отмечать [12], что существующие двуязычные словари далеки от совершенства в той части, которая связана с цветоименованиями. Каким образом можно было бы улучшить положение вещей, опираясь на наши данные? Допустим, нам надо найти наилучший русский эквивалент узбекскому слову *похол ранг*, которого нет в узбекско-русском словаре. Буквальный перевод этого слова — «цвета соломы», однако напрашивающийся перевод *похол ранг* как «соломенный» может оказаться далеко не лучшим. Гораздо более действенным является подход с использованием матрицы, фрагмент которой представлен в табл. 1. Выпишем из нее строку, соответствующую слову *похол ранг*, и сравним ее последовательно со всеми строками в русской матрице, фиксируя каждый раз силу связи *R*. Выберем наименьшее *R*. Это и будет самое близкое по значению русское слово, слово-эквивалент. В нашем случае им оказалось слово *блекло-желтый*. Аналогичная процедура с узбекским словом *малла* выявила в качестве наилучших русских эквивалентов слова *коричневый* и *шоколадный* (ср. с предлагаемыми узбекско-русским словарем вариантами *светло-желтый*, *палевый* и т. д.).

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языковедению. М., 1984.
2. Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику. М., 1959.
3. Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. М., 1974.
4. Бородина М. А., Гак В. Г. К типологии и методике историко-семантического исследования. Л., 1979.
5. Berlin V., Kay P. Basic color terms: their universality and evolution. Berkeley — Los Angeles, 1969.
6. Бляк М. Лингвистическая относительность (Теоретические воззрения Б. Уорфа). — В кн.: Новое в лингвистике. Вып. I. М., 1960.
7. Серебрянников В. А. О материалистическом подходе к явлениям языка. М., 1983.
8. Фрумкина Р. М. Об отношениях между методами и объектами изучения в современной семантике. — Семантика и информатика, 1979, вып. 11.
9. Василевич А. П. К методике исследования гипотезы Сепира — Уорфа. — В кн.: Национально-культурная специфика речевого общения народов СССР. М., 1982.
10. Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф., Уфимцева Н. В. «Культурный знак» Выготского и гипотеза Сепира — Уорфа. — В кн.: Национально-культурная специфика речевого общения народов СССР.
11. Василевич А. П., Плевак К. Цветонаименования в бамана (Проблема полноты материала при исследовании гипотезы Сепира — Уорфа). — В кн.: Лексико-грамматические сопоставительные исследования в развитых и младописьменных языках. М., 1985.
12. Василевич А. П., Аллмере Р. А. Об одном способе поиска двуязычных лексических соответствий (денотативно-психолингвистический подход). — В кн.: Всесоюзная конференция «Совершенствование перевода научно-технической литературы и документов». М., 1982.
13. Василевич А. П., Аллмере Р. А. Психолингвистический подход к сопоставлению эстонских, русских и английских цветоименований. — Уч. зап. Тартуского гос. ун-та, 1983, вып. 656.
14. Василевич А. П. Психолингвистический подход к установлению лексических соответствий (на материале болгарских, русских и английских цветоименований). — Сопоставительно языковедение, 1983, № 5.
15. The Atlas of Munsell color system. Baltimore, 1929.

ТАБАЧЕНКО Л. В.

ОБ ОДНОЙ ИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ  
ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ XI—XVII вв.

(На примере конструкций с глаголами  
*обстояти, обсьдѣти, облежати*)

Накопленный опыт описания исторических изменений в области падежных и предложно-падежных форм выдвинул на первый план вопрос о том, «какими активно действующими тенденциями в языке они вызваны и каковы направления этих тенденций» [1]. Для решения этой задачи наиболее плодотворным представляется функциональный подход к изучению изменений в синтаксисе простого предложения, в частности, определение структурно-семантических изменений, стоящих за сменой беспредложных конструкций предложными. Наиболее показательными в этом плане представляются изменения в конструкциях с глаголами *обстояти, обсьдѣти, облежати* и именем существительным в винительном беспредложном падеже. Предлагаемое исследование проведено на материале картотеки Словаря русского языка XI—XVII вв. (далее — КДРС) <sup>1</sup>, памятников письменности и словарей.

Словообразовательный тип «приставка *об-* (*о-*, *обь-*, *оби-*) + глагол положения в пространстве» представлен в русском языке XI—XVII вв. глаголами *обстояти* (*обьстояти, обистояти, остояти*), *обсьдѣти* (*обисьдѣти, осьдѣти*), *облежати*, зафиксированными в летописях и церковно-богослужебной литературе. В качестве зависимого члена при глаголах *обстояти, обсьдѣти, облежати* выступает имя существительное в винительном беспредложном падеже или местоимение, его заменяющее: (1421): Еще же и монастыри мнози обьстоить вода <sup>2</sup>. Новг. II лет. <sup>3</sup>, 47. КДРС; (1247): Не токмо бо послании отъ Батыя стужаху святому, но и князи русстии мнози обсьдѣяще его моляху его ласканми, воспоминающе ему жены любление и ласкание чядь... и леть богатства. Ник. лет. X, 241. КДРС; (1097): И приде С<вя>т<о>ша и Путята авгус<та> въ ъ-е-день, Д<а>в<ы> довым воемь облежащим град... и нападоша на нь, и почаша съчи. Лавр. лет., 272.

Следует заметить, что глаголы *стоять, сидеть, лежать* в русском языке донационального периода значительно шире, чем в современном, употреблялись в значениях «располагаться, находиться, пребывать, жить где-либо». Если в субъектной позиции употреблялись одушевленные существительные, глаголы *сьдѣти* и *лежати* могли реализовывать значение «находиться, пребывать в каком-либо месте»: (1224): Мьстиславу же и другому Мьстиславу сѣдѣама во стану не вѣдущема. Мьстиславъ же не повѣда има зависти рад<и>. Ипат. лет., 743; А седит нынеча отць твой гсдрь мой на Лядской граници в королевском замку. (Пис. Лит. плен. А. Горб.) В. А. 104, 1535—1538 гг. КДРС; А какъ де они Иванъ съ товарищи вышли изъ Албазина на низъ по Амуру, и лежали

<sup>1</sup> Автор благодарит сотрудников Сектора исторической лексикологии и лексикографии ИРЯ АН СССР Л. Ю. Астахину, Г. Я. Романову, А. А. Пычхадзе за помощь в подготовке предлагаемого материала.

<sup>2</sup> Здесь и далее упрощаем графику по правилам, принятым в СлРЯ XI—XVII вв.

<sup>3</sup> Названия памятников приводятся в соответствии с правилами, принятыми в СлРЯ XI—XVII вв.

на острове восемь дней, потому что де караулы частые, выдти не можно, и до Нерчинского шли три недѣли. ДАИ X, 265. 1687 г. КДРС. Глагол *сѣдѣти* мог употребляться и в более узком значении: не просто «находиться в каком-либо месте», а «иметь где-либо постоянное место жительства»: Сѣдяще Кии на горѣ гдѣже ныне увозъ Боричевъ. а Щекъ сѣдяще на горѣ. гдѣже ныне зовется Щековица. Лавр. лет., 9; А что твое село Переславичи в моем удѣле твоего брата. а сядят в нем твои холопи Шипиловы. Пам. Ряз., 13. 1496 г.; О чаровницахъ же оныхъ такъ печашесь Василий III, посылаетъ по нихъ тамо и овамо, ожъ до Корѣлы, еже есть Филя. сидитъ на великихъ горахъ, подле Студеного моря. Курб. ист., 291. XVII в. — XVI в. КДРС. Глаголы *стояти*, *сѣдѣти*, *лежати* употреблялись по отношению к названию войска (или имени его предводителя), реализуя значение «располагаться на каком-либо участке местности для ведения боевых действий» (в современном русском языке в этом значении сохранился лишь глагол *стоять*): (1206): Олговичи же в землю ихъ внидоша и слышавше оже король стоять у Володимеря. Лавр. лет., 427; (1196): Всѣволодъ иде на Чѣрниговъ... а новгородцемъ повеле ити на Луки. Идоша съ Ярославомъ, и сѣдѣвше на Лукахъ, воротшася домовъ. (Син.) Новг. I лет., 42—43; (1118); Слышавъ же Рюрикъ оже Сѣослав же привель к собѣ Половцѣ в помощь и лежать со Игоремъ по Долобъску. Ипат. лет., 621; На Кумѣ де донскихъ казаковъ всѣхъ девяносто человекъ, да на урочищѣ въ Карагузонѣхъ восьмьдесятъ человекъ, да отъ ихъ же де казаковъ пошло, лежатъ на Кумскую дорогу, сорокъ человекъ. АИ IV, 384. 1667—1672 гг. КДРС.

Глаголы *стояти*, *сѣдѣти*, *лежати* могли иметь значение «находиться, располагаться где-либо» также в том случае, если в качестве субъекта при них выступали существительные, обозначающие двухмерные объекты, административные единицы: И тѣ ихъ монастырские пустоши стоятъ подлѣ ихъ монастырской вотчины деревни Чергицѣ, подлѣ поль и около поль, смежна. Гр. мен. Ш., 24. 1683 г. КДРС; И шли они подлѣ той стѣны с приходу 10 день, а подлѣ стѣны сидятъ села и деревни Манчики царицы. Петлин, 286. 1618 г. КДРС; А та де Грузинская земля сидитъ за горами на украинѣ, к Черному морю, а царь де въ неи сидитъ собѣ удѣломъ. Посольство Брехова, 382. 1615 г. КДРС; А всѣ де тѣ пустоши съ давнихъ лѣтъ заустѣли и поросли лѣсомъ, а лежатъ де онѣ около вотчины Иверского монастыря села Выдропуска. АИ IV, 240. 1655 г. КДРС.

С приставкой *об-* (*о-*, *обь-*, *оби-*) глаголы *стояти*, *сѣдѣти*, *лежати* приобрели значение «быть, находиться (реже — стоять, сидеть, лежать) вокруг около чего-то, кого-то». Наличие приставки обуславливало переходность описываемых глаголов и функционирование формы имени, обозначающего место или предмет, вокруг которого кто-то или что-то находится, как прямого объекта. Эту объектную по значению форму винительного падежа существительного можно назвать, пользуясь терминологией Г. А. Золотовой, связанной синтаксической формой, не обладающей «структурно-смысловой самостоятельностью» [2, с. 53]. Ситуация расположения, пребывания вокруг, около чего-то (кого-то) может передаваться другой конструкцией — «бесприставочный глагол положения в пространстве + предлог *около*, *вокруг* + род. пад. существительного»: (1160): Рогъволодъ же стоя около города ·с· нед(е)ль. и створи миръ с Ростиславомъ. Ипат. лет., 505. В этой конструкции предложно-падежная форма имени имеет обстоятельственное значение, эта синтаксическая форма семантически самостоятельна<sup>4</sup>, она служит для номинации места и может реализовывать это значение вне глагольной конструкции. В памятниках письменности русского языка XI—XVII вв. и те и другие конструкции сосуществовали при преобладании вторых: (988): Володимеръ же обстоя градь. изнемогаху въ градѣ людье. Лавр. лет., 109; (1093): И стояша около града недѣль ·д· (там же, 221); (1097): И приход

<sup>4</sup> О типологии синтаксических форм (синтаксем) см. [2—4].

к нему и съдяху около его дружина. Лавр. лет., л. 265 (ср. выше: *обсѣдѣе* его из Ник. лет.); Того же мѣста облежаше многия непроходимыя лѣсы и дебри и дрязги. Ж. Герас. Б., 172. XVII в. ~ XVI в. КДРС; А всѣ де тѣ пустоши съ давнихъ лѣтъ запусѣли и поросли лѣсомъ, а лежать де онѣ около вотчины Иверскаго монастыря села Выдропуска. АИ IV, 240. 1655 г. КДРС.

Непродуктивность конструкций с приставочными глаголами, некоторая их фразеологизированность проявляются в ограниченном круге употреблявшихся в них существительных. Это, прежде всего, существительное *город*, названия городов (*Киев, Корсунь, Москва, Иерусалим*), существительные с предметным значением (*монастырь, храм, собор, церковь, престол, одр, рака*), существительные со значением лица (*Богородица, Христос, святой*), а также личные и лично-указательные местоимения. В сочетании с существительными со значением предмета или лица глаголы *обстояти, обстоѣти, облежати* обычно реализуют первоначальное значение «располагаться, находиться вокруг чего-то, окружать»: Честную его многоцелебную раку обстоае любезно облобозаемъ. Ж. Авр. Смол., 113. XVI в. КДРС; Честное тѣло... положено бысть и многими иноки честно обстоимо. Ж. Серг. Р. Епиф., 68. XV—XVI вв. ~ 1418 г. КДРС; Ученикомъ же обстоющимъ одръ зрящимъ на святаго. Ж. Пафн. Бор., 147. XVI в. ~ XV—XVI вв. КДРС; Иже по плоти родитише, егда имуть сына и послѣднимъ издыханиемъ съдержима видять, обсъдѣять, словесъ конечныхъ послужаютъ, руцѣ его обиемлють любезнѣ и жалостнѣ. (Маргарит) ВМЧ, Сент. 14—24, 1160. XVI в. ~ XV в. КДРС. Когда же эти глаголы управляютъ существительными, обозначающими города, они реализуютъ значение «осаждать», поскольку войска неприятеля располагались вокругъ города обычно с целью осады: И боряхуся крѣпко изъ града, Володимер же обстоа градъ. Изнемогаху в градѣ людѣ. Сл. крещ., 11. XV в. КДРС; При благочестивомъ царѣ Иезекѣи обстоаше Иеросалимъ градъ Сенафиримъ царь Ассирийскій съ вои своими... (Посл. митр. Макария царю), АИ, I, 292. 1552 г. КДРС; (1093): Половцемъ же осѣдѣемъ Тороцьскій. противящимъ же ся Торкомъ и крѣпко борющимся. из града убиваху многы отъ противныхъ. Лавр. лет., 221; (1240): И бѣ Батыи у города и <о>троци его обсъдѣяху градъ. Ипат. лет., 784; А туроцькь поднялся и хочетъ городъ Венецьскіа оседетъ. Куранты<sup>3</sup>, 118. 1646 г.; (1151); И силы многи облежаше градъ. Ник. лет., 187. КДРС; В первую же ночь, егда хъ Казани прииде царь и великій князь и градъ облеже, и виде сонъ страшенъ самъ про себе Казанскій царь. Казан. ист., 174. XVI в. КДРС; Со многимъ собраниемъ онъ же, Карача, прииде ко граду Сибири и облежа его. Князь Ермакъ съ товарищи отъ города прогна его, Карачу. Сказ. Сиб., 217. XVII в. КДРС.

Употреблялись также и отглагольные существительные *остоя, обстояние, обседеише, облежение* «осадное положение, осада»: (997): И удолжися остоя в городѣ, и бѣ гладъ великъ, и створиша вѣче в городѣ. Лавр. лет., 127; И прииде к Качаносу въ остою. Палая Толк.<sup>2</sup>, 192об. 1477 г. ~ XIII в. КДРС; И во городѣхъ изомре въ остою Бѣимъ гнѣвомъ. бесчисленное множество. Ипат. лет., 893; (997); И бѣ гладъ великъ въ градѣ томъ, и не бѣ лѣзъ помощи имъ, и удолжися обстояние граду... и сотвориша въ градѣ вѣче. Новг. V лет., 97. КДРС; И малы прѣдъ тѣмъ: руцѣ женѣ щедръ ихъ, не пиюще дающе чядомъ, обседеишу обдыржанцу (*πολιорχία* «осада») Гр. наз. 248. XI в.; А ваша милость изволи насъ въ поможении всего отъ подвижнаго со именующимъ порубежнымъ обседеишемъ впередъ велми и во все приятелю зберечи. Швед. д., 69. 1560 г. КДРС; А подъ замокъ Лютинъ хотѣлъ быть Жерданъ съ полкомъ своимъ на облежение, а хорунки де его стоятъ Лютинскаго уѣзду въ волостѣхъ и въ слободахъ. АИ, IV, 309. 1661 г.; И дошедшимъ самья матерѣ градовомъ, вся тоя входы же и исходы, облежениемъ обседеши, затвориши и на много оставиши. (Пов. о нек. брани) Смутн. врем., 376—377. XVII в. КДРС; И видя королевское величество, что Каменца взять и добыть невозможно. оставя при Каменцѣ въ облежение съ тритцать тысячъ человекъ пѣхоты.

ДАИ XI, 152. 1684 г. КДРС. С утратой глаголов *обстояти*, *обсѣдѣти*, *облежати* утратились и их дериваты. Параллельно употреблялось и существительное *осада*, сохранившееся в современном русском литературном языке: Нам, холопом твоим, пойтить опять в Синбирск, и будет Иван сидеть, — чтоб ево от осады освободить. Разин. восст. II, 225. 1670 г. (Сравни также в значении «осада»: серб.-хорв. *opsada*; болг. *obsada*; чеш. *obležení*; польск. *obleżenie*; ст.-польск. *obsiedzenie* SI. stol., т. 5, с. 368; укр. *облога*: *обсідання* — перен. разг. от *обсідати* — «не давать покоя»).

На основе значения «расположиться вокруг, окружить» при управлении существительными в вин. пад. обычно со значением лица глаголы *обстояти* и *облежати* могли реализовывать значение «осиливать, охватывать, преследовать», если субъект действия выражался абстрактными существительными, обозначающими враждебные, негативные явления: Аще точию страсть обстоить тя, всяку въможеши утолити бурю и тишину съдѣлати и миръ многъ души (*πάθος πολιορκή; πολιορκέω* «осаждать, блокировать», перен. «преследовать, мучить») (Маргарит) ВМЧ. Сент. 14—24. 846. XVI в. ~ XV в. КДРС; И многа суть обстоющая наша душа; и требѣ суть божественныя лѣчбы намъ, яко и да бываемыя язвы уврачуемъ (там же, 1060), КДРС; Волци отвсюду овца обстоеть, и стадо не изнуриется. Мятежей зима и буря обстоеть священный сии корабль воину, и иже в немъ плавающей не погружаемы суть (там же). Не дадут ми длго бесѣдовати обстоющая муки (*ἐχούσιν δέ μου τὰς σαρκίς ὀδύνας; ἔχω* «брать, хватать, держать») (Иов. XXI, 6) Библи. Генн. 1499 г. КДРС; Убожествомъ яти или нищетою обстоими. Ж. Серап. Новг., 9. XVI в. КДРС; Памянем же святыя мученици. И тръпинию их кто не по почюдится, видя их толицѣми страстьми облѣжаща, яко и самую плоть ту презрѣти Христа ради. Феод. Печ. (Ер.) XV в. ~ XI в. 177, КДРС; Вѣдѣ бо ся и самъ немощию облежимъ. (*περικείμενος; περιχεῖμαι* «лежать вокруг, обволакивать»). Гр. Наз. 13. XI в.

Глаголы *обстояти* и *облежати* в переносном значении «охватывать, преследовать» встречаются только в церковно-богослужебной литературе, переводной и оригинальной. Конструкции с глаголами *обстояти*, *обсѣдѣти*, *облежати* в переносных значениях «осаждать» и «охватывать, преследовать» преобладают количественно в памятниках русской письменности XI—XVII вв. над конструкциями с этими глаголами в прямом значении, что также свидетельствует о непродуктивности этого словообразовательного типа.

Как показывают греческие параллели, в ряде случаев описываемые глаголы являются словообразовательными кальками соответствующих греческих глаголов, например, глагол *περικείμεται* «лежать вокруг, обволакивать» (см. выше). Ряд других фактов показывает, что переводчики использовали глаголы *обстояти*, *обсѣдѣти*, *облежати* и производные от них существительные не только калькируя соответствующие греческие слова, но и для перевода слов с другой словообразовательной структурой: *обстояти* в переносном значении «охватывать» для перевода глагола *ἔχω* «брать, хватать, держать» (см. выше); *обстояние* для перевода существительного *περιοχή* «окружность, оболочка»: Сиа рече Сенахиривъ црѣ асириискии, на что имате необиновение съдяще въ обстоинии въ Иерлимѣ (*ἐν τῇ περιοχῇ*) (2 Парал. XXXII, 10) Библи. Генн. 1499 г. КДРС; *обсѣдѣти* для перевода глагола *πολιορκέω* «осаждать, окружать»: Пребыша обсъдѣя Кепеталионъ сущихъ ради в немъ боляръ и имѣнни ихъ (*πολιορκέων τὸ Καπεταλιόν*) Хрон. И. Малалы VII, 27. XV в. ~ XIII в. КДРС; *объсѣдение* для перевода существительного *πολιορκία* «осада»: И обшедшю Ироду градъ, и боле того не смѣяше ни выникнути, и претръпѣша обсъдѣние за 5 мѣсяць. Флавий, Полон. Иерус. I, 52. XVI в. ~ XI в. КДРС. Для перевода же глагола *πολιορκέω* в переносном значении «преследовать, мучить, охватывать» использовался глагол *обстоять* (см. выше), поскольку глагол *обсѣдѣти* в древнерусском языке в этом значении не употреблялся. Эти примеры показывают, что глаголы *обстояти*, *обсѣдѣти*, *облежати* в переводных текстах чаще всего не калькировались с греческих, а использовались как семантически эквиваленты.

Семантическая идентичность предложных конструкций при бесприставочных глаголах и беспредложных при приставочных обусловила появление в памятниках письменности русского языка XI—XVII вв. контаминированных конструкций, в которых предложно-падежная свободная форма имени употребляется при приставочном глаголе. При этом приставка *о-* теряет свою транзитивирующую функцию: (1174): Остояща около города ·θ· недѣль. Ипат. лет., 576; Херувими и серафими окресть прѣстола обстоющь и шестокрилци покрывають прѣстоль его поюще тихом голосом прѣд лицем гнѣмь (*cherubim t seraphim thronum circumstantes*). Кн. Енохова, I. 19—20. XV в. ~ XIII в. КДРС; В восточнѣи же странѣ ес(ть) иная самоѣдь каменская, облежит около югорские земли, а живут по горам высокым. Сл. челов. незн. I, 235. XV в. КДРС; Нетокомо съ Персидами, но и съ иными народы облежащихъ вкругъ того моря, гдѣ катарги будутъ приходить, мочно въ пристанищахъ промыслять торговой учинить. ДАИ V, 405. 1668—1669 гг. КДРС; Окресть острова того многия езера всюду облежаху. Ж. Ант. С. 107, XVII в. ~ 1578 г. КДРС.

Глаголы *обстояти, обстоѣти, облежати* употреблялись в качестве переходных и в сочетании с наречиями, дублировавшими значение приставки: И бѣше же предъ стѣми тѣми мужи оружье остро и стрегуще твердо, змиеве со ехиднам, обстояхуть около. Сл. о трех мнисех, 138, XIV в. КДРС; Вздѣ кругом обстоять горы превысокия. Спафарий. Сибирь. XVII в. КДРС; Посылалъ попа Алексѣя Симонова в Колский уѣздъ в окресть облегающа погосты. Белокур. I, 152. 1682 г. КДРС.

Описываемый словообразовательный тип с глаголами положения в пространстве, непродуктивный для современного русского языка, следует отличать от похожего типа, включающего глаголы движения и активно функционирующего в современном русском языке: *обступать, обходить, объезжать* и проч. При приставочных глаголах движения значение места передвижения как объекта, охватываемого этим движением, является довольно устойчивым и успешно конкурирующим с собственно обстоятельством значением места, ср.: *обходить город, идти вокруг города, обходить вокруг города*. Последняя конструкция, по-видимому, тоже является результатом контаминации.

При приставочных глаголах положения в пространстве (подтипом глаголов состояния), не обозначающих какого-либо действия, направленного на объект, объектное значение зависимой формы имени существительного оказывается неустойчивым. Вследствие этого конструкции с объектными связанными формами имени существительного и приставочными переходными глаголами положения в пространстве полностью уходят из употребления, хотя еще фиксируются в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля: *Облежать* что, лежать вкруг чего-либо, облегать. Даль, т. II, стлб. 1523. *Обстоять* кого, что, обставъ стоять, окружить и стоять. *Меня обстоятъ люди чужіе*. || Црк. и стар. *обстоять городъ*, облагать, осаждать. Даль, т. II, стлб. 1600. Эти глаголы и их производные употреблялись также (обычно в целях стилизации) в произведениях художественной литературы вплоть до XIX в.: *Сенные девушки и вновь наряженные мамы, обстоявшие ложе спящей барышни, стали замечать, что долгий сон боярышни начинает проходить*. Леск. Стар. годы в с. Плодомасове. [Воевода]: *Вот ты увидишь, Что этот день начало избавленья От всех напастей, обстоящих нас*. А. Остр. К. З. Минин. ССРЛЯ, т. 8, стлб. 449. *Ярослав, князь новгородский, явился со многочисленную ратью под стенами юного Ревеля: четыре недели облежал город, метал стрелы и каменья*. Марл. Поездка в Ревель. ССРЛЯ, т. 8, стлб. 196. *Стефан [Баторий] дал повеление оставить укрепления, вывезти пушки, снять туры и деятельную, жестокою осаду превратить в тихое облежание*. Карамз. И. Г. Р. [Шереметев]: *Король не даром Уж пятый месяц осаждает Псков ... Бог вестъ, насколько времени еще Продлится облежанье*. А. К. Толст. Смерть Иоанна Грозн. ССРЛЯ, т. 8, стлб. 195—196.

Конструкции с глаголами данного словообразовательного типа зафиксированы в памятниках письменности старосербского книжного языка,

сохранявшего, как известно, связь со старославянской традицией: Градь нѣкы обстояще. Г. XI. 90. Дан., с. 194; Облежаху стрѣгушеи стльь. Д. 18., Дан., с. 184. Глагол *oblezeć* в значении «окружить, осадить» отмечен также в памятниках письменности старопольского языка, не имевшего связи со старославянской письменной традицией: *obsidere...id circumsedere vel cingere oblezeć* ca 1500 Erz 53. Sl. stpol., т. 5, с. 344.

В современных славянских литературных языках и диалектах конструкции со статальными глаголами данного словообразовательного типа отсутствуют, однако имеются конструкции с процессными глаголами, образованными по следующему словообразовательному типу: «приставка об- + глагол изменения положения в пространстве»: в сербскохорватском *oncedati (oncedeti)* «осаждать, обкладывать (город, крепость)», в чешском *obléhat (oblehnout)* «осаждать, блокировать», *oblehatel* «осаждающий», *oblehaci* «осадный»; в польском *oblegać (oblec)* «осаждать», перен. «обступать, окружать»: *tlum oblegl gmach* «толпа осадил здание». БПРС, т. 1, с. 564; *obsiadać (obsiąść) kogoś, coś* «садиться, усаживаться вокруг кого-л., чего-л.», а также перен. «обступать, охватить»: *obsiadły go myśli (wspomnienia)* «его обступили мысли (воспоминания)». БПРС, т. 1, с. 575. В украинском языке *облягати (облягти)* — воен. «осаждать», *обсідати (обсісти)* — перен. разг. «осаждать» (не давать покоя). Процессность этих глаголов, близость к глаголам движения обусловили их большую «живучесть» (по сравнению со статальными глаголами) и функционирование в качестве переходных, способных управлять формой имени существительного с объектным значением. Однако эти глаголы в основном не сохранили своих первоначальных значений — «садиться (сесть), ложиться (лечь), шире — располагаться (расположиться) вокруг чего-то, кого-то» и употребляются в более узком значении «осаждать».

Что касается функционирования этих глаголов в русском языке XI—XVII вв. и их соотношения с глаголами *обстояти, обсесть, облежати*, то для выяснения этого соотношения можно выстроить следующие цепочки:

*обставати* — *обстати* — *обстояти*  
*обсідати* — *обсести* — *обсесть*  
*облягати* — *облечи* — *облежати*.

«Первый элемент в каждой тройке — глагол несовершенного вида — обозначает процесс (действие); второй элемент — парный глагол совершенного вида — конечный момент этого процесса (конец, предел), третий элемент — глагол или глагольное выражение — обозначает то состояние, которое возникает в тот момент, когда процесс закончился (т. е. результат). Таким образом, глагол совершенного вида, как двуликий Янус, обращен одновременно и к процессу, конец которого он обозначает, и к состоянию-результату этого процесса, начало которого он обозначает» [5]. В силу этого свойства результативные глаголы совершенного вида в ряде контекстов были семантически неразличимы и взаимозаменяемы с глаголами положения в пространстве (подтипом глаголов состояния). Особенно это касается глагола *обсести (обисѣсти)*, который в памятниках письменности русского языка XI—XVII в. значительно чаще, чем глагол *обсесть*, употреблялся в значениях «осаждать», «окружать»: Не мощно же ему быс обисѣсти весь град, зане пропасти страшны не дядяху (ⲕⲁⲗⲟⲥⲁⲥⲁⲃⲁⲓ ⲡⲓⲗⲁⲕⲓ ⲧⲓⲛ ⲡⲟⲗⲓⲛ; ⲕⲁⲗⲟⲥ «окружать, обступать, опоясывать», от существительного ⲕⲁⲗⲟⲥ «круг окружность, колесо»). Флавий, Полон. Иерус. II, 4.XVI в. ~ XI в. КДРС. Для перевода глагола ⲡⲟⲗⲓⲟⲗⲁⲗⲟⲥ «осаждать, окружать» глагол *обсесть* употреблялся параллельно с глаголом *обсесть* (см. выше): В той же годъ Антигонъ обседе Масаду и за маломъ не взя Иродова роду безводием (ἐπολιόρησε τοὺς ἐν Μάσαδα). Флавий, Полон. Иерус. I, 42.XVI в. ~ XI в. КДРС. Иногда при переводе с греческого такая взаимозаменяемость глаголов *обсесть* и *обсесть* была отражением совпадения в одной лексеме греческого языка глаголов процессных и глаголов статальных: *καθίξω* «сажать, сидеть, садиться», *περικαθίξω* букв. «садиться, располагаться, сидеть вокруг», «осаждать»: И обисѣде Ферсу

(περιχθίσια ἐπὶ Θερσῶν букв. «если (сидели) кругом у Ферсы, осадили Ферсу») (3 Цар. XVI, 17—18) Библия. Генн. 1499 г. КДРС.

Такая семантическая близость глаголов, обозначающих процесс, его результат и состояние, возникающее в результате этого процесса, обуславливает функционирование в современном русском языке процессных глаголов *обступать*, *окружать* в стательном значении: *город обступают*, *окружают леса* «вокруг города стоят, находятся леса». Сам же словообразовательный тип, включающий стательные глаголы положения в пространстве, в современном русском языке исчез. Глаголы *обстояти*, *обсѣдѣти*, *облежати* в значении «осаждать» вытеснены глаголом *осаждать* (*осадить*) — по происхождению каузальным процессным глаголом изменения положения в пространстве, в значении «преследовать, мучить» — соответствующими глаголами, а в значениях «стоять, сидеть, лежать вокруг чего-то, кого-то» и шире — «располагаться вокруг чего-то, кого-то» — конструкциями с бесприставочными глаголами и предложно-падежной формой имени. Путь развития ряда форм от беспредложных к предложным (ср. древнерусские архаичные конструкции: *отшѣдѣша моего дому*. Выг. сб., 145 об. XII в.; (1112); И дождоша града Осенева и Сугрова. Лавр. лет., 289; (1147): Ульбѣ же вниде Черниговъ (там же, 315) не отрицает дублирования приставками предлогов (современные формы: *отойти от дома*, *дойти до города*, *войти в Чернигов*). Появление предлогов обеспечило структурно-смысловую самостоятельность формы имени, но не отрицало возможность сохранения приставки с этим же значением у глагола движения. Однако словообразовательные типы, включающие стательные глаголы положения в пространстве и приставки с пространственным значением (ср. также глаголы *простояти*, *присѣдѣти*, *прилежати*, *прѣдѣстояти*, *прѣдѣсѣдѣти*, *прѣдѣлежати* и др.), в процессе развития русского языка оказываются непродуктивными. В конструкциях с глаголами *обстояти*, *обсѣдѣти*, *облежати* наблюдаются следующие изменения: приставочный глагол вытесняется бесприставочным, а связанная объектная беспредложная форма имени заменяется свободной обстоятельственной предложной. Конструкции с собственно обстоятельственной формой имени существительного более соответствуют сути семантических отношений, ими выражаемых: состояния (положения в пространстве, местонахождение) и места протекания этого состояния: *стоять* (где?) *вокруг города*. Этот процесс является одним из проявлений тенденции к семантизации синтаксических отношений между глаголом и формой имени с потенциальным обстоятельственным значением, обнаруживается «явное тяготение к обобщенным и семантически мотивированным синтаксическим связям, а не к индивидуальным, обусловленным лексико-грамматически» [2, с. 115].

#### ИСТОЧНИКИ

- Сл РЯ XI—XVII вв. — Словарь русского языка XV—XVII вв. Тт. 1—10, М., 1975—1983.  
Sl. stol. — Słownik staropolski. Т. 5. Warszawa, 1967.  
Даль — *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. 3-е изд. Т. I—IV. СПб. — М., 1903—1909.  
ССРЛЯ — Словарь современного русского литературного языка. Т. 8. М. — Л., 1959.  
Дан. — *Даничић Д.* Рјечник из книжевних старина српских. Део I—III. У Биограду, 1863—1864.  
БПРС — *Гессен Д., Стыпула Р.* Большой польско-русский словарь. Т. 1—2. Москва Варшава, 1979.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Тарланов З. К.* О предмете исторического синтаксиса русского языка (к постановке проблемы). — Вестник ЛГУ, 1983, № 2. Сер. истории, языка, литературы. Вып. 1, с. 67.
2. *Золотова Г. А.* Очерк функционального синтаксиса русского языка. М., 1973.
3. *Золотова Г. А.* О конструктивной синтаксической единице. — ИАН СЛЯ, 1981, № 6.
4. *Золотова Г. А.* Слово в «Синтаксическом словаре». — ИАН СЛЯ, 1983, № 1.
5. *Гловинская М. Я.* Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. М., 1982, с. 10.

КУЗЬМЕНКОВ Е. А.

ЛАБИАЛЬНАЯ АССИМИЛЯЦИЯ В СРЕДНЕМОНГОЛЬСКОМ

Термин «лабиальная ассимиляция» мы используем по традиции, установившейся в монголистике [1, с. 85; 2, с. 129], в узком смысле — для обозначения губной гармонии гласных среднего подъема заднего (о) или переднего (ö ~ ö) ряда:

после слога, содержащего			следует		
о	или	о:	о	или	о:
ö	или	ö:	ö	или	ö:

ЛабIALIZED гласные высокого подъема и, и:, й, й:, находящиеся в начальных слогах, за редким исключением (ордосский диалект) не вызывают уподобления гласных последующих слогов. Более того, в большинстве диалектов действует «лабиальная диссимиляция» в гласных высокого подъема, по крайней мере, в отношении кратких гласных. Так, в халхаском и й встречаются только в первых слогах. В дальнейшем, говоря «лабиальная ассимиляция», мы будем иметь в виду только ассимиляцию гласных среднего подъема.

Губная гармония по вышеприведенной схеме — характерная черта большой группы восточных и южных диалектов. К этой группе можно отнести все халхасские диалекты и большинство бурятских, а также многие диалекты Внутренней Монголии в КНР, исключая дагурский. В дагурском лабиальная ассимиляция выражена слабо — она не выходит за пределы корня, в ойратских и калмыцких диалектах — отсутствует.

В могольском, судя по описаниям Г. И. Рамстедта, С. Ивamuры, Г. Ф. Шурмана и М. Вайерса [3, 4, 5], в непервых слогах нет о или ö, возникших в результате ассимиляции. Такие формы, как РМ, 35 — *oiro* «близкий», возникли в могольском в силу иранского воздействия. О том, что могольское оканье не является результатом ассимиляции, свидетельствуют следующие примеры: РМ, 23 — *arbo:n* «десять», РМ, 27 — *emo:l* «седло» и т.п. Ср. с раннемогольскими ЗМ, 120 — *oira* «близкий», ЗМ, 86 — *arban* «десять»<sup>1</sup>.

Лабиальная ассимиляция обычно рассматривается как сравнительно недавнее явление в монгольских языках. Многими безусловно отрицается ее существование в обще- и древнемонгольском<sup>2</sup>. Исходя из этой «правдо-

<sup>1</sup> Обозначение источников, используемых в данной работе: №М, Р — страницы — данные по могольскому языку Г. И. Рамстедта в его работе [3]; ЗМ, № — страницы — раннемогольские формы по Züri Manuscript [6]; ТМ, № — страницы — монгольские данные Б. Х. Тогаевой [7]; МА, № — страницы — словарь Мукадима ал-Адаб [8]; КП, № — памятник, № строки — примеры из памятников квадратного письма [9]; СС, № параграфа — примеры из китайской транскрипции «Сокровенного сказания», цитируются по [10]; МА (ИМ), № — страницы — примеры из глоссария ибн-Муханны, цитируются по изданию [8].

<sup>2</sup> Б. Я. Владимирцов говорит о том, что в монгольском диалекте, из которого развился письменный литературный язык, о, ö выступало только в первом слоге. Учтем, что Б. Я. Владимирцов считал монгольский письменный язык отражением одной из древнейших стадий развития монгольского языка [11, с. 315—317]. По этому поводу см. также [1, с. 94; 12, с. 26 и 3\*].

подобной», как говорит В. Л. Котвич [13, с. 94], мысли, неизбежно приходим к выводу, что западные диалекты, включая могольский, консервативны, архаичны, а восточные, исключая дагурский, — развитые с точки зрения лабиальной ассимиляции.

Сложнее обстоит дело с кукунорскими языками — монгорским, дунсянским и баоаньским. А. Мостер и А. Смедт считают, например, что в монгорском существуют лишь следы бывшей гармонии гласных [14, с. 160], однако не вполне ясно, что можно считать сохранившимся, а что приобретенным в таких монгорских словах, как ТМ, 354 — *olion* «много», ТМ, 346 — *to:ro-* «мыть», если сравнить их со среднемонгольскими МА, 264 — *olan*, МА, 230 — *olon* «много», МА, 241 — *to:re-* «мыть».

Большая часть других монгольских языков и диалектов может быть возведена непосредственно к среднемонгольскому по ряду параметров<sup>3</sup>, в том числе и по развитию лабиальной ассимиляции. Ее проявление началось, по-видимому, в период, предшествующий среднемонгольскому, т. е. во всяком случае до XIII в. В источниках XIII—XV вв. засвидетельствован этап развития, который можно считать переходным от полного отсутствия *o* и *ö* в первых слогах к их преобладанию в восточных диалектах и новому исчезновению в западных.

Основные источники по среднемонгольскому, которые позволяют судить об интересующем нас явлении, — это — квадратное письмо, китайские транскрипции и памятники в арабской графике.

Квадратное письмо наиболее дифференцировано среди указанных источников отражает гласные — там существуют знаки-буквы и знаки-огласовки для гласных *a*, *o*, *u*, *e*, *é*, *ö*, *ü*, *i* [9, с. 31—34].

Китайские транскрипции позволяют различать *o* и *a*, *o* и *u*, но различие по ряду (т. е. *o* и *ö*, *u* и *ü*) отражено только в некоторых типах слогов с заднеязычными инициальными согласными (например, *qo* и *kö*). Последнее, впрочем, для нас в данном случае большого значения не имеет.

Особенность памятников, представляющих монгольский материал в арабской графике, — одинаковое обозначение лабиализованных гласных разного подъема, например, *o* и *u*: МА, 269 — *oḡal* «место» и МА, 365 — *uḡal* «искусный» — записываются тождественным образом. В первых слогах не различаются по ряду гласные *a* и *e*, *o* и *ö*, *u* и *ü*, ср. МА, 280 — *öre:n* «сам» транскрибируется арабскими буквами точно так же, как и два предыдущих слова. Таким образом, по арабским источникам можно только отличить лабиализованный гласный от нелабиализованного (в том случае, если он вообще обозначен буквами «алиф», «вав» или огласовкой)<sup>4</sup>.

Л. Лягети классифицировал среднемонгольские формы этих источников по характеру второго слога<sup>5</sup>: в ряде слов *o* и *ö* второго слога устойчивы, в других варьируются *a* ~ *o*, *e* ~ *ö*, в третьих — ассимиляции нет [2, с. 130—131]. Далее мы рассмотрим эту классификацию, но прежде отметим некоторые закономерности, связанные с морфонологией второго слога.

В служебных морфемах (как словоизменительных, так и в деривационных) лабиальная ассимиляция в среднемонгольском, как правило, не встречается: КП, I, 15 — *ögbei* «дал», СС, § 87 — *o-g-be*, МА, 102 — *ögbe* «то же» — здесь суффикс финитной формы проп. времени (Praeteritum per-

<sup>3</sup> В соответствиях среднемонгольского и современных диалектов не все ясно — достаточно вспомнить о спорных вопросах в развитии долгих гласных [15, 16]. Тем не менее, в отношениях между современными монгольскими языками и языком среднемонгольского периода нет противоречий, которые казались бы принципиально непреодолимыми.

<sup>4</sup> Неясностью в отражении гласных отличаются все монгольские источники в арабской графике [8, 17, 18]. В необходимых случаях мы даем альтернативную транскрипцию, например, МА, 325 — *oḡal* «место», хотя нельзя быть уверенным и в том, что в данном случае мы имеем дело с последовательным отражением лабиализации.

<sup>5</sup> Имеет смысл говорить только о лабиальной ассимиляции второго слога, поскольку в последующие слоги она проникает очень редко. Так, гласный *o* в третьем слоге встречается лишь в «Сокровенном сказании» в некоторых собственных именах, ср. СС, § 3 — *To-ro-ḡo-l-jin*.

fecti)-ba/-be (-bai/-bei). Он никогда не выступает в среднемонгольском в лабиализованном варианте (ср. халх. *ögöw* ~ *ögwö* «дал» или *olow* ~ *olbo* «нашел»), но подчиняется нёбной гармонии. Ср.: КП, XII, 2 — *bosqabayi* «воздвиг», СС, § 255 — *bo-l-ba* «стал». Правда, в СС нёбная гармония отражена не вполне регулярно — часто встречается окончание *-ba* в мягкорядных словах, например, СС, § 1 — *i-re-ba* «пришел». Что касается МА, то наша транскрипция *ögbe* носит условный характер — во всех случаях суф. *-ba/-be* записывается одинаково.

Не знает лабиальной ассимиляции суф. каузатива *-gal/-ke*, который присоединяется к основам, оканчивающимся на согласный, например, КП, XII, 2 — *bosqabayi* «воздвиг», СС, § 185 — *bo-s-qa-jiu* «воздвигнув», МА, 122 — *bosqaba* «поднял». Ср. также суф. пассива *-dal/-de*: КП, XII, 3 — *oldaqu* «найтись», МА, 265 — *oldaba* «нашелся». Аналогично ведут себя и другие суффиксы.

Таким образом, грамматические морфемы не поддавались лабиализации. Менее устойчивым элементом были соединительные гласные, появлявшиеся на стыках морфем. В памятниках КП встречаем форму: КП, XII, 3 — *olon* «найдя» (основа *ol-*, суффикс деепричастия *Converbum modale -n*). Но в этих же источниках в большинстве случаев в качестве соединительного гласного выступает все же *u(ü)*, а не *o(ö)*, например, КП, XIII, 1 — *olu'ad* «найдя», КП, XIII, 1 — *bolu'ad* «став», КП, I, 8 — *ögin* «дав».

В китайских транскрипциях также чаще встречается *u(ü)*, а не *o(ö)*, ср. СС, § 272 — *bo-lu-q-san* «ставший», СС, § 99 — *bo-su-a-t* «встав», СС, § 111 — *bo-lun* «став». Реже встречается соединительный *o*: СС, § 111 — *qo-ro-qin* «спастись» (от архаичного *qor-*, например, СС, § 129 — *qor-ba* «укрылся», ср. халх. *zorγo* «убежище»).

Арабские источники позволяют лишь заключить, что соединительный гласный часто бывал лабиализованным: МА, 231 — *olu/o-qsan* «обрел», МА, 122 — *bosu/oqsan* «встал», МА, 256 — *odu/o-nam* «идет», МА, 226 — *ögü/öbe* «дал».

Рассмотрим теперь среднемонгольские формы, в которых гласный второго слога принадлежит корню, но связан с историческим суффиксом.

Элемент *\*-r* (возможно, древний суффикс), который также мог, вероятно, входить в состав сложного суффикса прилагательных *\*-yar* (*-ger* и т. д.), является конечным звуком многих слов, например, *\*hoqar* «короткий», *\*soqar* «слепой», *\*qonqar* «саврасый» (здесь мы пишем реконструируемые протомонгольские формы). Гласный второго слога в этих словах мог быть исторически корневым или соединительным<sup>6</sup>.

В среднемонгольских памятниках для гласных перед конечным *\*-r* наблюдается устойчивое соответствие: СС — *o*, МА — *a*, например: СС, § 255 — *o-qor* «короткий», МА, 267 — *oqar*, МА (ИМ), 438 — *hoqar* «то же»; СС, § 3 — *Soqor* Сокор (и.с.м.), МА, 324 — *soqar* «слепой».

*\*-ra/-re* в последнем слоге наречий и прилагательных (например: *\*dora* «внизу», *\*degere* «наверху», *\*bora* «серый», *\*sira* «желтый» и проч.) в китайских транскрипциях встречается с лабиализованным гласным во втором слоге и с нелабиализованным — в третьем; в арабских источниках гласный в этом элементе никогда не бывает лабиализованным; квадратное письмо дает мало материала — единственный пример: КП, XII, 4 — *dot'ora* «внутри». Ср.: СС, § 232 — *do-ro* «внизу», МА, 143 — *dora* «то же», СС, § 3 — *bo-ro* «серый», МА, 121 — *bora* «то же». В МА находим также форму: МА, 121 — *boru/on* «сероватый» с лабиализованным, но неопределенным гласным. В третьем слоге *\*-ra* во всех источниках выступает с нелабиализованным гласным: СС, § 84 — *do-to-ra-ban* «про себя [подумал]», МА, 119 — *dotu/ora* «внутри»; пример КП см. выше. Интересно отметить, что в среднемонгольском слове *oira* «близкий» конечный гласный не лабиализуется: СС, § 31 — *o-ire* ~ *o-i-ra* МА, 263 — *oira*. Возможно, дело в том, что *oi*

<sup>6</sup> Этимологизировать *\*-r* как суффикс трудно: возможно, приведенные формы сопоставимы со среднемонгольским *ogo-* ~ *oqu-*, с халхасскими *sozo* «совсем» (синоним: *sozortol*) и *zorγo* «задняя часть бедра», но здесь мы не имеем достаточного материала.

в среднемонгольском надо рассматривать как сочетание двух слогов, и, таким образом, конечное *a* приходится на третий слог <sup>7</sup>.

Непродуктивный суф. существительных *\*-sun(-sün)* в среднемонгольском сохраняет *u(ü)* после любой основы и в любой позиции. Ср.: СС, § 274 — *to-sun* «масло», КП, I, 18 — *yosu* «закон»; СС, § 139 — *yo-sun* «то же», СС, § 254 — *qo-o-sun* «пустой; голодный», СС, § 170 — *to-o-sun* «пыль». Арабские источники в этих словах, по-видимому, также отражают звук *u*, т. е. МА, 351 — *tosu/on* «масло», МА, 299 — *qo'asu/on* «сухой», МА (ИМ), 448 — *to:su:/o:n* «пыль» следует транскрибировать как *tosun*, *qo'asun*, *to:sun*.

Элемент *\*-dun* (возможно, древний суффикс существительных) в словах *\*hodun* «звезда», *\*yodun* «лапа», *\*modun* «дерево» также не подвергается ассимиляции в среднемонгольском: СС, § 230 — *ho-du* «звезда», СС, § 114 — *qo-dun* «лапа», СС, § 57 — *mo-dun* «дерево», КП, XIII, 11 — *modun(u)* «то же». Показания МА следует оценить аналогично, т. е. МА, 185 — *hodu/on* «звезда», МА, 237 — *modu/on* «дерево» — вероятнее всего, отражают формы *hodun*, *modun*.

В словах с *\*-sun* и *\*-dun* содержался устойчивый *u*, который не только не уподоблялся до известного момента гласному первого слога, но иногда и сам его ассимилировал. Уже в СС находим: СС, § 141 — *tu-du-ni* «дерево» (вин. падеж). Потом этот процесс в ряде диалектов усиливается и становится регулярным в ордосском: *dusu* «масло», *yusun* «закон», *udu* «звезда», *tudu* «дерево». По-видимому, ордосские формы могут служить ориентиром для восстановления *u* второго слога в средне- и даже прото-монгольском [1, с. 28].

Гласный *u* в третьем слоге не вызывает регрессивной ассимиляции в ордосском: *xo : son* «пустой», *to:son* «пыль». Здесь возможна и другая версия: дело не в том, что и находится в третьем слоге, а в том, что первый слог содержит долгий гласный, и, следовательно, надо предполагать раннее (уже в среднемонгольском) образование долгих гласных из комплексов *\*oʷa*, *\*oge*. Последнее представляется вполне вероятным, если учесть МА, 306 — *qo:su:n* «сухой», МА(ИМ), 445 — *qo:sun* «сухость», МА(ИМ), 448 — *to:su:n* «пыль».

Противоречащий факт: ордосское *urdu* «дворец» [халх. *ordo(n)* «то же»] должно происходить из *\*ordun*, но имеется только СС, § 232, 233 — *or-do* «дворец» с вероятным прототипом *\*orda*. Предположение Г. Дёрфера о заимствовании в прото-монгольский прототюркского *\*ordo* [19, с. 34] не объясняет ордосскую форму.

Наиболее устойчиво лабиальная ассимиляция проявляется в корневых гласных второго слога. Примеры из СС и КП: СС, § 254 — *qo-to-lai-yan* «все свое», КП, XII, 3 — *got'ola* «все», КП, II, 19 — *onqoč'as* «из лодки» (исх. падеж), КП, XII, 1 — *bodo* «субстанция», СС, § 17 — *to-o-ri* «обходить», КП, XIII, 8 — *t'o'ori* «то же», СС, § 240 — *to-o-tu* «с числом», КП, XII, 3 — *t'o'on* «число», СС, § 224 — *do-to-na* «близкий» (ср. выше примеры с *dotora*), СС, § 117 — *o-to-gu-sun* «старше», КП, IV, 5 — *öt'ö-gus(e)* «старшины», СС, § 224 — *so-no-su-ad* «слушая», СС, § 147 — *ko-ko* «синий», КП, XI, 7 — *t'öröl* «перерождение». Примеров такого рода в СС довольно много, КП дает в большинстве случаев параллельные формы. Единичны случаи несовпадения данных этих двух источников: СС, § 208 — *o-ro* «место», КП, I, 13 — *orana* «то же». Чаще встречаются вариации *o ~ a*, *ö ~ e* среди форм самого «Сокровенного сказания»: СС, § 224 — *qo-lo ~ qo-la* «далекий», СС, § 254 — *jo-bo- ~ jo-ba-* «мучиться».

В арабских источниках лабиализация гласного второго корневого слога происходит значительно реже, большинство форм содержит *a(e)*, но не *o(ö)*: МА, 300 — *qola* «далекий», МА, 350 — *to'an* «число», МА, 324 — *sonasba* «слышал». Однако и здесь наблюдается варьирование *a ~ o*, *e ~ ö*: МА, 264 — *olan* «много», МА, 230 — *olon* «то же», МА, 269 — *oran* «место», МА, 325 — *oron* «то же», МА, 143 — *dotar* «утро», МА, 119 — *dotora* «в», МА, 221 — *köke* «небо», МА, 128 — *kökö* «то же».

<sup>7</sup> Есть основания считать, что первые два звука представляют собой начальную стадию стяжения гипотетических комплексов *\*oʷi ~ \*oʷi* [1, с. 76].

Во всех источниках чередования в одних и тех же словах лабиализованных и нелабиализованных гласных носят характер исключений, но исключений разного рода: если в СС неустойчивая лабиализация присутствует на фоне общей тенденции к лабиализации гласного второго слога, то в МА то же самое происходит на фоне общего отсутствия лабиальных во втором слоге.

В СС и КП тенденция к лабиальной ассимиляции проявляется достаточно регулярно в корневых слогах, чтобы рассматривать противоречащие факты как исключения. К таким фактам можно отнести отсутствие лабиальных гласных в корнях, финальные компоненты которых соответствуют современным дифтонгам, например: СС, § 254 — *ho-rai-ta-la* «доверху», КП, XIII, 10 — *hotaui* «макушка» (халх. *oro* «верх, макушка»), СС, § 189 — *no-qa-no* «собаки» (род. падеж), СС, § 78 — *no-qai* «собака», КП ЗМ, 120 — *noqai* «то же» (халх. *noxo* «то же»), СС, § 102 — *mo-qai-ya* «змея» (дат. падеж) (халх. *toxo* «змея»). Это соответствие является вполне регулярным и может трактоваться не как исключение, а как дополнительный фонетический закон<sup>8</sup>.

Возвратимся к классификации Л. Лигети [1] лабиализованные, 2) неустойчивые, 3) нелабиализованные формы] и сопоставим с ней морфологические данные, дополнив классами форм с узким лабиализованным вторым слога *u* (*ü*) и неясным по подъему гласным *u/o* арабских источников. В представленной ниже таблице знак «+» означает наличие формы с данным гласным в указанном источнике, знак «—» — ее отсутствие<sup>9</sup>. Знак «(+) показывает, что примеров соответствующего типа очень мало.

	Гласные продуктивных морфем		Соединительные гласные		Гласные непродуктивных элементов		Корневые гласные	
	СС/КП	МА	СС/КП	МА	СС/КП	МА	СС/КП	МА
<i>o</i> ( <i>ö</i> )	—	—	(+)	—	+	—	+	—
<i>o/u</i> ( <i>ö/ü</i> )	—	—	—	+	—	+	—	(+)
<i>u</i> ( <i>ü</i> )	—	—	+	—	+	—	—	—
<i>o ~ a</i> ( <i>ö ~ e</i> ) *	—	—	—	—	+	—	+	(+)
<i>a</i> ( <i>e</i> )	+	+	—	—	+	+	(+)	+

Мы сочли нужным отразить неясность передачи гласных в арабских источниках (строка *o/u*). Для чередования *o ~ a* оставлена одна строка (для наглядности сравнения), хотя и в ней подразумевается, конечно, альтернативная транскрипция МА — *u/o*.

Таблица делает очевидными два обстоятельства: во-первых, вероятность лабиализации зависит от степени «прикрепленности» второго слога — максимальная вероятность у корневых гласных, нулевая — у продуктивных морфем; во-вторых, восточный и западный среднемонгольский материал существенно различается по лабиализации второго слога.

Различный «морфологический вес» гласных второго слога допускает только диахроническое толкование. Процесс лабиальной ассимиляции начался сравнительно давно, он захватил и восточные, и западные диалекты на раннем этапе их расхождения, а может быть, и в так называемый общемонгольский период. К среднемонгольскому периоду лабиализация в восточных диалектах усиливается, в западных отстывает, т. е. «гласный *a*(*e*) второго слога... в МА все же не механическое сохранение примитивного состояния, но напротив, это состояние развилось последовательно в группе западных монгольских диалектов и довольно поздно» [2, с. 132]<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> Пользуясь внешним сравнением, элемент *\*-qai* можно возвести к древнему суффиксу существительных (ср. маньчжурские слова — *nioge* «волк», *teyige* «змея»). Это обстоятельство также делает лабиализацию второго слога менее вероятной.

<sup>9</sup> Точнее сказать: такая форма не попала в поле зрения автора статьи.

<sup>10</sup> О другой точке зрения см. [20, с. 195].

Если лабиализация, действительно, начиналась с «нуля» и если ближневосточные источники мы по праву относим к калмыцко-ойратскому диалектному континууму, то такой путь развития представляется единственно возможным.

Обращает на себя внимание тот факт, что отсутствию лабиальной ассимиляции сопутствует сильнейшая редукция гласных (например, в калмыцком), а наиболее отчетливая лабиализация проявляется в тех диалектах, где редукция минимальна (в бурятских), умеренна или интонационно обусловлена (в халхасских). Можно предположить, что в определенный момент, скорее всего из-за просодических изменений (может быть, передвижения ударения), в среднемонгольском началась редукция непервых слогов, и именно она спротогонировала или облегчила возникновение лабиальной ассимиляции. После отделения западных диалектов редукция в них усиливается и лабиальная ассимиляция приостанавливается и начинает исчезать. В восточных же диалектах процесс равномерно идет дальше: редукция нарастает постепенно или останавливается на определенном уровне, а лабиализация продолжается. К сожалению, проверить это предположение трудно, поскольку нет достоверных сведений о редукции в среднемонгольском.

При всех диахронических рассуждениях мы исходили из положения о том, что в среднемонгольском не было во втором слове исконных *o(ö)* [11, с. 316], и, следовательно, в протомонгольском, т. е. до возникновения лабиальной ассимиляции, *o* и *ö* во втором слове вообще не могло быть. Эта гипотеза многое объясняет, но она же требует доказательств вторичности *o* в таких формах, как СС, § 1 — *či-no* «волк», СС, § 121 — *i-go-ai* «земля», КИ: I, 22 — *ṣirqo'an* «шесть».

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Poppe N.* Introduction to Mongolian comparative studies. Helsinki, 1955.
2. *Ligeti L.* Notes sur le vocabulaire mongol d'Istanboul. — АОИ, 1963, т. XVI, fasc. 2.
3. *Ramstedt G. I.* Mogholica. Beiträge zur Kenntnis der Moghol-Sprache in Afghanistan. — JSFOu, 1905—1906, XXIII.
4. *Iwamura S., Schurman H. F.* Notes on Mongolian groups in Afghanistan. — In: Silver Anniversary Volume of Zinbun-Kaga-ku-Kenkyusyo. Kyoto University, 1954.
5. *Weiers M.* Die Sprache der Moghol der Provinz Herat in Afghanistan. Goettingen, 1972.
6. *Iwamura S.* The Zirni Manuscript. Kyoto, 1961.
7. *Тодаева Б. Х.* Монгорский язык. М., 1973.
8. *Поппе Н. Н.* Монгольский словарь Мукаддимат ал-Адаб. Ч. I—II. М. — Л., 1938.
9. *Поппе Н. Н.* Квадратная письменность. М. — Л., 1941.
10. *Юань-чао Би-ши.* Секретная история монголов. Т. I. Текст. М., 1962.
11. *Владимирцов Б. Я.* Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и халхасского наречия. Л., 1929.
12. *Салжеев Г. Д.* Лингвистическое введение в изучение истории письменности монгольских народов. Улан-Удэ, 1977.
13. *Ромаш В.* Исследование по алтайским языкам. М., 1962.
14. *Mostaert A., de Smedt A.* Le dialect Monguor parlé par les mongols du Kansu Occidental. I. Phonétique. — Anthropos, 1930, т. XXV.
15. *Doerfer G.* Langvokale im Urmongolischen? — JSFOu, 1964, № 65.
16. *Poppe N.* On the long vowels in common Mongolian. — JSFOu, 1967, № 68.
17. *Ligeti L.* Un vocabulaire mongol d'Istanboul. — АОИ, 1962, т. XIV, fasc. 1.
18. *Poppe N.* Das mongolische Sprachmaterial einer Leidener Handschrift. — Bull. de l'Académie des Sciences de l'URSS, 1927, № 15, 16, p. 1009—1040, 1251—1274; 1928, № 17, p. 55—80.
19. *Doerfer G.* Türkische Elemente im Neupersischen. Alif bis Ta. — Wiesbaden, 1965.
20. *Poppe N.* Remarks on the vocalism of the second syllable in Mongolian. — HJAS, 1951, XIV.

## НАПРАВЛЕНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

КОНОНОВ А. Н.]

### ОБ АКАДЕМИЧЕСКИХ ГРАММАТИКАХ И СЛОВАРЯХ ЯЗЫКОВ ЗАРУБЕЖНОГО ВОСТОКА

Востоковедение в России и в Западной Европе зародилось как комплексная наука, занимающаяся изучением языков, литератур, истории, этнографии, философии, идеологии (в частности, религий) народов Востока.

В силу исторически сложившихся культурной и, часто, религиозной общности изучение Востока и преподавание востоковедных дисциплин осуществлялось с учетом того общего, что объединяло народы Востока в культурно-идеологическом отношении. Не случайно Факультет восточных языков (ФВЯ) Санкт-Петербургского университета (осн. 1855) делился на кафедры, объединенные в разряды: китайско-маньчжуро-корейско-японский, арабско-персидско-турецко-татарский, монголо-калмыкско-татарский, армяно-грузинско-татарский и др. Востоковеды прошлого столетия — начала нынешнего века были, в большинстве, универсалами: арабист-иранист-тюрколог, арабист-иранист-санскритолог, китаист-монголист-маньчжурист, монголист-тибетолог-тюрколог и т. п.

Исходной основой научного востоковедения в России и на Западе было, как правило, изучение письменных памятников: составление критических текстов, перевод, снабженный историко-филологическими комментариями, глоссариями и (редко!) грамматическими очерками издаваемого текста, — все это вместе взятое именовалось восточной филологией. Таким образом, востоковед был прежде всего филологом.

«Востоковедение, — писал академик В. М. Алексеев, — есть комплексная наука или, точнее, комплекс разных наук, изучающих восточные страны при помощи восточных текстов, — изучение этих стран без помощи восточных языков не есть востоковедение. Таким образом, востоковедение расшифровывается как наука Востока и Запада о Востоке, а не только наука одного лишь Запада о Востоке» (Наука о Востоке. М., 1982, с. 191). Точно так же определяли основные цели и задачи востоковедения И. Ю. Крачковский (Очерки по истории русской арабистики. М. — Л., 1950, с. 6) и Н. И. Конрад (Запад и Восток. М., 1966, с. 11).

Основным инструментом филологического исследования являются грамматика (включающая фонетику) и словарь. Как это ни парадоксально может показаться, составлению грамматики фундаментального плана уделялось (см. ниже) и сейчас уделяется недостаточное внимание: ряд восточных языков до сих пор не имеет грамматик, удовлетворяющих высоким требованиям академических изданий; несколько лучше обстоит дело со словарями восточных языков.

Постепенно из универсальной дисциплины — восточной филологии во второй половине прошлого века в России стали выделяться: история Востока (в 1863 г. на ФВЯ была учреждена впервые в мире кафедра истории Востока во главе с В. В. Григорьевым), восточное литературоведение, идеологии Востока (буддизм и исламоведение), восточное языкознание. Однако для всех этих постепенно обособившихся дисциплин исследовательской методой оставалась и есть восточная филология.

В предоктябрьское время единственным учебным заведением, готовившим востоковедов-филологов, был ФВЯ Петербургского университета.

Специалистов-практиков, драгоманов и чиновников со знанием восточных языков для административной, военной, дипломатической, коммерческой деятельности на Востоке или в связи с Востоком готовили: Лазаревский институт восточных языков в Москве (1815—1918 гг.), Учебное отделение восточных языков при Азиатском департаменте МИД в Петербурге (1823—1918 гг.) и Офицерская школа при нем, Восточный институт во Владивостоке (1899—1916 гг.), Практическая Восточная академия в Петербурге (1910—1918 гг.), Курсы восточных языков в Ташкенте (1905—1913 гг.) и некот. др.

В 20-х годах текущего столетия в Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве, Ташкенте, Баку, Казани, Тбилиси, Ереване, Владивостоке были созданы учебные и научно-исследовательские учреждения, основной задачей которых была подготовка 1) специалистов для практической деятельности на Востоке или в связи с Востоком; 2) специалистов по новейшей истории, экономике, политике стран Востока (подробнее см.: А. Н. Кононов, И. И. Иориш, Ленинградский Восточный институт. М., 1977, с. 23).

В этих учебных заведениях восточная филология не была представлена в полном ее объеме; здесь обращалось преимущественное внимание на практическое владение языком и необходимыми навыками практической работы на Востоке.

В 30—40-е годы исследовательская деятельность профессорско-преподавательского состава названных учебных заведений была подчинена составлению необходимых учебных пособий по языкам, истории, литературе и экономике стран Востока (см., например, список изданий Ленинградского восточного института в указ. кн. А. Н. Кононова и И. И. Иориша, с. 123—125).

Востоковеды-лингвисты Института востоковедения АН СССР (профессионально наиболее сильный коллектив) в указанные выше годы занимались преимущественно составлением словарей, что отвечало насущным запросам научного и практического востоковедения. Именно в это время были заложены фундаменты «Большого японо-русского словаря», «Большого китайско-русского словаря», хинди-русского, персидско-русского и др. словарей, которые продолжили традиции русского востоковедения XVIII—XIX вв., когда особое внимание уделялось составлению словарей (С. Хальфин, Дамаскин, Паллас, Шифнер, Ковалевский, Голстунский, Вербицкий, Будагов, Радлов и др.).

Изучение фонетики грамматического строя восточных языков — составление грамматик — шло медленно и трудно.

В течение всего прошлого столетия и первой четверти текущего века, — наряду с целым рядом опубликованных практических пособий, — грамматик восточных языков, удовлетворявших строгим научным требованиям, насчитывалось единицы. К ним в первую очередь относятся: «Китайская грамматика» (СПб., 1838) И. Бичурина, «Грамматика монгольского языка» (СПб., 1832) и «Грамматика тибетского языка» (СПб., 1839) Я. И. Шмидта, «Общая грамматика турецко-татарского языка» (Казань, 1846) А. К. Казем-Бека, «Грамматика монгольского языка» (Казань, 1849) А. Бобровникова, «Якутская грамматика» (СПб., 1851; на нем. яз.) О. Н. Бётлингга, «Грамматика персидского языка» (Казань, 1853) И. Н. Березина, «Заметки по грамматике пашто или языка афганцев» (СПб., 1839, 1842, 1845; на нем. яз.) Б. А. Дорна, «Осетинская грамматика с кратким словарем...» (СПб., 1844) А. М. Шёгрена, «Маньчжурская грамматика» (СПб., 1879) И. И. Захарова, «Грамматика алтайского языка» (Казань, 1869) под ред. Н. И. Ильминского, «Краткая грамматика новоперсидского языка» (СПб., 1890) К. Г. Залемана и В. А. Жуковского (четыре раза переизданная на нем. яз.), «Краткая грамматика казак-киргизского языка» (СПб., 1894—1897) П. М. Мелиоранского, «Материалы для исследования чувашского языка» (Казань, 1898) Н. И. Ашмарина, «Опыт исследования урянхайского языка» (Казань, 1903) Н. Ф. Катанова.

Этим кратким перечнем почти полностью исчерпывается список грамматик, вошедших в историю восточного языкознания в России дооктябрьского периода.

С 1930 по 1941 г. сотрудниками Института востоковедения АН СССР были подготовлены и изданы исследования по синтаксису японского, арабского, персидского языков, по грамматике ряда новоиндийских, турецкого и арабского (Н. В. Юшманов) языков.

Издававшаяся Ленинградским университетом в 30-е годы серия «Строй языков» (под общей редакцией А. П. Рифтина), основанная в 1959 г. Г. М. Сердюченко серия «Языки народов Азии и Африки», наряду с лингвистической энциклопедией «Языки Азии и Африки», которую дополняет созданная в Институте языковедения АН СССР пятитомная лингвистическая энциклопедия «Языки народов СССР», а также подготавливаемая там же энциклопедия «Языки мира» — являются солидными трудами, содержащими обобщающие характеристики большинства языковых семей Азии и Африки.

Эти издания — энциклопедии и очерки — безусловно крупное научное достижение, свидетельствующее о высоком исследовательском потенциале советских языковедов-востоковедов и африканистов.

Однако эти издания следует рассматривать как первый шаг к созданию академических грамматик, которые они не могут заменить. Тем не менее, они являются основой для дальнейшего углубленного исследования и описания фонетико-грамматического строя восточных и африканских языков.

Критически оценивая достижения советских языковедов, следует ясно отдавать себе отчет в том, что некоторые крупнейшие представители языковых семей стран Востока не получили даже простого описания. Так, например, арабский язык достаточно исчерпывающе описан только в его письменно-литературной форме; ни один из многочисленных национальных народно-разговорных арабских языков не имеет полного описания фонетико-грамматического строя, как нет и словарей этих языков. Точно так же дело обстоит с изучением многочисленных языков Индии, Юго-Восточной Азии, Китая, Пакистана, Бангладеш, Шри-Ланки, Непала, Индонезии, японского, корейского и др.; при оценке положения изученности языков этих регионов имеются в виду труды, удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к изданиям АН СССР.

Своеобразный евроцентризм, выражающийся в строгом использовании грамматической схемы, разработанной еще в пору расцвета александрийской лингвистической школы, преобладавший в Западной Европе и США, встречался и в Советском Союзе при описании грамматического строя языков Азии и Африки.

На Востоке — Китай, Индия, Япония, Иран, Средняя Азия, арабские страны — много веков тому назад были разработаны свои лингвистические теории, свои схемы описания фонетико-грамматического строя, свои системы подачи и толкования лексики, свои схемы составления словарей [ср., например: В. Гиргас. Очерк грамматической системы арабов. СПб., 1873; Гао Мин-кай. Проблема частей речи в китайском языке (ВЯ, 1955, № 3); Вэнь Лянь и Ху Фу. Части речи в китайском языке (ВЯ, 1955, № 3); М. Кизада. Грамматика японского языка (Т. I. М., 1958; Т. II. М., 1959); Люй Шу-сян. Вопрос о слове в китайском языке (ВЯ, 1959, № 5); Нгуен Куанг Хонг. Общий принцип и разные подходы к выделению основных единиц языка. Опыт сопоставительного изучения европейской и китайской лингвистических традиций (ВЯ, 1985, № 1); см. также: Языковедение в Японии. Под ред. И. Ф. Вадруля (М., 1983)]. Этот ценнейший опыт ученых-лингвистов Востока у нас, в Западной Европе и в США пока недостаточно используется.

На современном Востоке, — в первую очередь, в Японии, Китае, в странах Юго-Восточной Азии, Индии, Пакистане, Иране, Турции, Египте и ряде других арабских стран — созданы и успешно функционируют академии и различные научно-исследовательские учреждения, изучающие языки, литературы, историю стран Востока; их опыт должен быть внимательно и критически изучен.

Изучение стран Азии и Африки в последние годы чрезвычайно активизировалось в США; это обстоятельство должно быть принято во внимание

при разработке наших исследовательских планов и программ. Опыт востоковедов стран Востока (как, впрочем, и Запада) следует активно изучать для использования их достижений, их положительного опыта. Замечу в связи с этим, что наши библиотеки получают далеко не всю необходимую научную литературу по восточному языкознанию, издающуюся за рубежами нашей Родины, что не может не сказаться отрицательно на уровне и полноте наших исследований.

Для осуществления огромных задач, стоящих перед отечественным востоковедением (в части лексических, фонетических и грамматических исследований), необходимо:

1) разработать план дальнейшего развития исследований, описаний и издания трудов по фонетико-грамматическому строю языков Востока;

2) продолжать углубленную разработку лексики восточных языков, имея целью создание академических словарей разных профилей и назначений, обратив особое внимание на лексикологические исследования (малоизученная область восточного языкознания);

3) разработать наиболее целесообразные и отвечающие природе данной семьи языков схемы исследования ее фонетики и грамматики;

4) организовать систематическое изучение опыта национальных — восточных и западных — востоковедных школ;

5) разработать многолетний план подготовки кадров лингвистов-востоковедов;

6) составить план пополнения академических библиотек специальной литературой по восточным языкам;

7) регулярно составлять и издавать библиографические справочники по восточному языкознанию.

Для детальной разработки этой большой и ответственной программы необходимо создать специальную комиссию из числа наиболее квалифицированных востоковедов-лингвистов\*.

---

\* Академиком А. Н. Кононовым затронуты важные вопросы развития советского востоковедения. Редакция журнала надеется, что специалисты по конкретным областям восточной филологии откликнутся аналитическими статьями.

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

### РЕЦЕНЗИИ

**Проблемы лексикографического анализа языка произведений В. И. Ленина.**  
Отв. ред. Денисов П. Н. — М.: Наука, 1984. 318 с.

Сборник «Проблемы лексикографического анализа языка произведений В. И. Ленина» — третья публикация Сектора Словаря языка В. И. Ленина Института русского языка АН СССР. (Первый сборник «Слово в языке произведений В. И. Ленина» вышел в 1979 г., второй — «Исследования по языку и стилю произведений В. И. Ленина» — в 1981 г.).

Имея широкий диапазон тематики, рецензируемый сборник подчинен в то же время двум основным задачам: а) решению насущных лексикографических проблем; б) определению главных направлений изучения ленинского периода в истории русского литературного языка. В его двенадцати статьях охвачены проблемы терминологии, синонимии, полисемии, фразеологии, словообразования, «технические» проблемы лексикографического искусства — дефиниции и пояснения, цитирование и иллюстрирование, однородность подачи производных слов и т. д.

В кругу проблем, касающихся лингвистического наследия В. И. Ленина, наиболее актуальным и важным, на наш взгляд, является изучение основополагающей роли В. И. Ленина в формировании терминологии социализма. В этом смысле несомненный интерес представляют статьи П. Н. Денисова «О теоретических проблемах Словаря языка В. И. Ленина», В. П. Даниленко «Специальная лексика в произведениях В. И. Ленина (к проблеме лексикографического описания)», Ю. А. Бельчикова «Замечания В. И. Ленина о словах как историко-лексикологический источник».

Нельзя не согласиться с утверждением П. Н. Денисова, что «такие разделы науки о русском языке, как история литературного языка, историческая лексикология, историческая семасиология и историческая стилистика, еще не достигли желаемой полноты и ясности» (с. 10). Исследования языка произведений В. И. Ленина, «классического образца русской научной и публицистической речи конца XIX — первых десятилетий XX в.» (с. 10), несомненно, восполнят пробел в истории стилиевой дифференциации русского литературного языка, обогащения и унификации его лексического состава, семантического обогащения лексем, приводящего нередко к образованию общественных терминов, выражающих новые понятия.

Язык В. И. Ленина, говорил Ф. П. Филин в статье «О словаре языка В. И. Ленина», принадлежит не только истории, «его серьезное воздействие на состояние и развитие русского литературного языка продолжается и будет продолжаться, поскольку мы все изучаем сочинения В. И. Ленина, идеи которого лежат в самой основе всей нашей общественной жизни» [1]. Это относится и к другим языкам, на которые постоянно переводятся труды вождя мирового пролетариата. Следовательно, авторы сборника объективно ставят вопрос о необходимости интенсивного изучения ленинского наследия в переводах.

Основываясь на терминологию марксизма, В. И. Ленин создал новую общественно-политическую терминологию, отражающую специфику общественных отношений в России в период строительства социалистического общества. Владея в совершенстве понятийными системами как классических, так и современных языков, их научной терминологией, В. И. Ленин использует национальные и интернациональные языковые средства для создания новых терминов, дает рекомендации о возможности применения старого термина для нового понятия путем наполнения его новым содержанием. На этот аспект при анализе языка произведений В. И. Ленина необходимо обращать особое внимание, потому что термины как выразители новых отношений, рождаясь в русском языке, тотчас заимствовались или калькировались украинским и белорусским языками, тем самым предопределяя синхронное развитие восточноевропейской терминологии социализма и, конечно, закладывая фундамент общего лексического фонда многонациональных языков Советского Союза.

П. Н. Денисов формулирует принципы переноса идей системности языка и его уровней (в частности, идеи системности словарного состава как лексического уровня языка, основной единицей которого является слово) на составление словаря. В то же время она заявляет, что «и после создания Словаря языка В. И. Ленина изучение основ марксизма-ленинизма будет происходить не по словарю, а по первоисточникам, т. е. по текстам ленинских работ. Эта известная „семантическая прибавка“, получающаяся в тексте, если его содержание сопоставлять с суммой лексических значений со-

ставляющих данный текст слов, онтологически является частью иных систем: культуры, науки, общественного сознания в целом» (с. 33). Отсюда логический вывод автора: «Системный анализ ленинского лексикона должен показать, что для лексики возможна своя микропериодизация истории русского литературного языка в XIX—XX вв.» (с. 33).

Мы склонны считать, что уже имеющиеся исследования языка В. И. Ленина показывают правомерность выделения ленинского этапа в развитии определенных подсистем русского литературного языка конца XIX — первой половины XX в., в первую очередь общественно-политической терминологии.

В. П. Даниленко, подчеркивая роль В. И. Ленина в формировании терминологии, утверждает, что «для составителей будущего Словаря языка В. И. Ленина конкретные материалы с ленинскими дефинициями, представляющими собой строго логические, научные определения, или этимологические справки, или другие виды пояснений слов-терминов, должны стать исходными, отправными материалами для отработки моделей определения» (с. 46). Говоря о целесообразности рассмотрения терминов как самостоятельных лексических единиц, В. П. Даниленко не случайно останавливается на образовании русских терминов путем структурного калькирования или семантической интерференции. Прежде всего имеются в виду, несомненно, русские термины марксизма, нашедшие в трудах В. И. Ленина свое дальнейшее развитие. Располагает к размышлению вывод автора о необходимости изучения тех внутрисистемных связей, которыми соединяются (на разных основаниях) термины (и соответственно понятия) в науке (например, парность категорий в философской терминологии и др.), о потребности учитывать деривационную однотипность слов-терминов, а также их словообразовательную и смысловую производность.

Представляют интерес рекомендации В. П. Даниленко относительно «реального комментария» к терминам, выражающим понятия, которые носят «энциклопедический» характер, соотносятся с определенными явлениями общественной жизни, ограниченными хронологическими рамками. «Элемент энциклопедизма» в комментариях к терминам такого рода, как правило, содержит необходимые, хотя иногда только частичные сведения о мотиве образования слова-наименования, о времени распространения данного явления, о конкретных его представителях и т. д. Считаю, что В. П. Даниленко выдвинула принципиально важные лексикографические положения, исходя из которых изложила обоснованную концепцию описания терминологической лексики в Словаре языка В. И. Ленина.

Основой филологического и политического аспектов изучения общественно-политической терминологии является ленинская теория отражения, предусматривающая подход к термину не только как к лингвистической, но и как к отражательно-познавательной единице. В этом смысле интерес представляет ста-

тья Ю. А. Бельчикова, посвященная за мечаниям В. И. Ленина о словах как историко-лексикологическом источнике.

Специфика репрезентации социальных явлений языковыми знаками состоит в том, что один из элементов гносеологической ситуации — познающий субъект, фиксируя познаваемый объект (реальную действительность) в языковом знаке (термине), не всегда заинтересован в отражении настоящей сущности данного объекта. Именно поэтому В. И. Ленин утверждал, что злоупотребление словами — самое обычное явление в политике. В то же время он придавал громадное значение социальной оценке слов, которые приобрели высокий авторитет в силу обозначаемых ими понятий среди рабочего класса, всего трудового народа.

Убеждение Ю. А. Бельчикова в целесообразности отражения в Словаре языка В. И. Ленина социальной оценки слов политического содержания базируется на марксистско-ленинской концепции общественно-политического термина. В наше время, когда антикоммунизты из числа буржуазных и социал-реформистских теоретиков предпринимают все более яростные атаки на социализм, защищая устои капитализма, задачу составителей Словаря языка В. И. Ленина мы видим в том, чтобы политические замечания вождя использовать как оружие борьбы против современных буржуазных идеологов. Поставленный в статье Ю. А. Бельчикова вопрос о необходимости дальнейшей разработки положений В. И. Ленина, в которых затрагивается теоретический, концептуальный характер политических терминов, ждет своего углубленного изучения с точки зрения отражения идеологемной сущности общественно-политических терминов в Словаре языка В. И. Ленина.

Конкретная реализация принципа деления лексики на слова, не имеющие толкований, и слова, имеющие толкование, требует определенной модификации применительно к лексике промыслов и кустарной промышленности, широко используемой в трудах В. И. Ленина по экономике дореволюционной России. Этому вопросу посвящена статья Е. В. Карпинской, в которой намечены принципы группирования исследуемой лексики и ее толкования в Словаре языка В. И. Ленина.

Интересной представляется статья Е. Л. Лилеевой, написанная на основе анализа свыше четырех тысяч слов из произведений В. И. Ленина, не зафиксированных в толковых словарях современного русского языка. Ценность статьи усматриваем прежде всего в том, что анализ этих слов дает богатый материал для изучения закономерностей развития словарного состава конца XIX — первых десятилетий XX в., наименее изученного в истории русского литературного языка.

Проект Словаря языка В. И. Ленина предполагает широкое использование ленинских пояснений, включение их в состав словарных статей. Ввиду этого требуется их описание, классификация и, очевидно, истолкование. Именно эти задачи ставит статья В. В. Бакеркиной «Ви-

ды пояснений в тексте произведений В. И. Ленина». Автор статьи предлагает отдельные приемы ввода пояснений в авторский текст, определяет специфику поясняемых единиц.

Нам кажется, что рядом с определением, описанием, расшифровкой сложносокращенных слов, этимологической справкой (с. 156) целесообразно поставить такое продуктивное и меткое пояснение, как глоссарий, которое характерно для революционно-демократической публицистики и для марксистской литературы. В русских переводах произведений К. Маркса и Ф. Энгельса он представлен так же широко, как и в научных, публицистических трудах В. И. Ленина. Требуется дальнейшего исследования ленинские пояснения-англизмы, один из сложных приемов лексической организации ленинского текста.

Проблемам потенциального слова в Словаре языка В. И. Ленина посвящена статья Л. П. Катлинской, написанная на материале приставочных образований с *не-*, *без-*, *анти-*, *противо-*. В ней автор излагает свою точку зрения на семантические и функциональные особенности производных слов, регулярно создаваемых по действующим в языке словообразовательным моделям. Мы вполне согласны с утверждением Л. П. Катлинской, что особенность отношений производности можно охарактеризовать «как специфичность значения таких производных, которое формируется не путем абстрагирования до уровня единого понятия в системе лексических тождеств и противопоставлений, а на уровне грамматических абстракций» (с. 212). К сожалению, автор статьи, так глубоко исследовав семантизацию потенциального слова, не рассмотрела в таком же ракурсе окказионализмы. Как индивидуально-авторские образования В. И. Ленина они именно в плане лексикографического описания ждут своего дальнейшего выявления и объяснения с позиции «речетворчества говорящего».

И с точки зрения теоретического изучения лексического и лексикофразеологического материала, и в плане составления Словаря языка В. И. Ленина важное место занимает проблема последовательного толкования однотипного материала, тем более, что представление об однотипности «может иметь самые различные интерпретации как в лексикографии, так и в смежных науках, да выводы которых лексикография опирается, в первую очередь, — в лексикологии» (с. 176). Исследованию однотипности при словообразовании посвящена статья В. Н. Хохлачевой. Предложенный автором принцип разработки типологии значений одноструктурных лексических единиц, проиллюстрированный на группе производных слов как объекте лексикографического описания их в Словаре языка В. И. Ленина, мы считаем перспективным и для лексикографической практики вообще, и для реализации поставленной задачи полного охвата лексического и лексикофразеологического материала в том объеме, как он представлен в 55 томах Полно-

го собрания сочинений В. И. Ленина.

Отбор иллюстративного материала при составлении Словаря языка В. И. Ленина, бесспорно, одна из сложнейших практических задач. Поэтому важно разработать конкретные рекомендации, касающиеся работы с цитатой, с иллюстративным материалом, притом такие, чтобы ими пользовались все составители Словаря языка В. И. Ленина. В этом плане несомненный интерес представляет статья Т. Ф. Ивановой, тем более, что в ней не только рассматриваются особенности иллюстрирования словарных статей в Словаре языка В. И. Ленина, но и предлагаются общие принципиальные рекомендации. Удачным считаем описание пословиц применительно к задачам лексикографирования их в Словаре языка В. И. Ленина в статье Л. А. Морозовой. Автором статьи предпринята попытка определить системообразующий принцип, предполагающий возможность не только полной, но и системной подачи пословиц в Словаре языка В. И. Ленина. Нельзя не согласиться с автором, что грамматический базовый компонент может повлечь за собой необходимость изменения по форме и составу других компонентов, что приводит к расширению синтаксического масштаба пословицы до уровня сложного предложения. Отсюда вопрос о возможности и целесообразности отражения всего разнообразия варьирования пословиц в Словаре языка В. И. Ленина. Хотя он и остается открытым, акцент именно на сложных моментах появления факультативных компонентов в структуре пословиц Словаря языка В. И. Ленина даст толчок для дальнейшего изучения образных «самозамкнутых целых» не только как таковых, но и в процессе трансформации, семантического углубления и лексического обрастания, разнообразного варьирования. Теоретический вопрос трансформации, связанный с проблемой вариативности, нашел определенное решение в статье Л. А. Морозовой не только в лексикографическом ключе, но и в лексикологическом. Это, несомненно, скажется на качественной стороне отражения в названном словаре фразеологического богатства языка В. И. Ленина.

Если описанию разнообразных групп слов в произведениях В. И. Ленина в сборнике уделено достаточно места, то парадигматическим отношениям в системной организации лексики его работ полностью посвящена только статья Е. М. АLEXИНОЙ и отдельные фрагменты статьи Л. Э. Князевой.

В общелитературном языке синонимы считаются одной из важных системоформирующих категорий. «Авторское использование синонимов, — пишет Е. М. АLEXИНА, — отражает общеязыковую синонимическую систему, но при этом характеризуется индивидуальными особенностями, свойственными только этому автору» (с. 118). А если так, то следует учитывать, что некоторые слова, зафиксированные в словарях синонимов современного русского литературного языка в составе одних синонимических рядов, в практике употребления В. И. Ленина относятся к другим.

Ждет своего определения и принцип отражения в Словаре языка В. И. Ленина терминологической синонимии. В частности, появившись в познавательном процессе как дифференцированный знак, общественно-политический термин в дальнейшем используется как средство познания, приобретая определенные семантические признаки, в связи с чем увеличивается или уменьшается степень его синонимичности. И как следствие — образование идеографических синонимов с несопадающей коннотативностью, употребляемостью, сочетаемостью. Как отразить все это в Словаре языка В. И. Ленина? Частичный ответ на этот вопрос находим в статье Л. Э. Княzewой, рассматривающей на примере слова *болото* в сопоставлении с немецким и французским языками динамику развития слова при семантическом калькировании. Однако некоторые положения Л. Э. Княzewой не представляются безупречными. Прежде всего это касается следующего суждения: «Однако важно учитывать, что процесс образования марксистской терминологии нередко пересекается с процессом иноязычных влияний» (с. 306). Во-первых, о терминологии какого языка идет речь, во-вторых, о каком пересечении можно говорить, если вся терминология марксизма формировалась на национальной и интернациональной основе? Влияние немецкой терминологии марксизма на формирование русской ощущалось сильнее, чем на формирование любой другой, потому, что первый перевод «Капитала» К. Маркса был сделан именно на русский язык, влияние которого в деле создания национальной терминологии марксизма ощутили все славянские языки, тем более,

что в русском языке она прошла фильтрацию и дальнейшую разработку в трудах В. И. Ленина.

Разгаданное наукой замечательное свойство слова (обобщать действительность, выражать определенный смысл и в то же время раздвигать до бесконечности свои потенциальные глубинные возможности), осмысленное авторами рецензируемого сборника применительно к лексическому богатству языка В. И. Ленина, предопределило единственно правильный системный подход к составлению Словаря языка вождя: научно обоснованные классификации ленинского словника на основании логического деления с учетом разнообразных коннотаций. Именно такой подход подтверждает слова ответственного редактора рецензируемого сборника П. Н. Денисова: «Словарь языка В. И. Ленина стоит на прочном теоретическом фундаменте» (с. 8) и в то же время раздвигает перспективы дальнейшего комплексного изучения, «анатомического» анализа средств выражения идеологического и фактического содержания всех многочисленных и многоплановых работ В. И. Ленина с учетом его индивидуальной авторской манеры на общем фоне достижений русского литературного языка его исторической эпохи.

Панько Т. И.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Слово в языке произведений В. И. Ленина. Отв. ред. Хохлачева В. Н., Горшков А. И. М., 1979, с. 6.

**Русса-башкортса, башкортса-русса ижтимағи-политик терминдар һүзлеге.** ◊ Русско-башкирский, башкирско-русский словарь общественно-политических терминов. Одобрен Терминологической комиссией при Президиуме Верховного Совета Башкирской АССР. Сост. Ассямов З. З. Под ред. Ураксина З. Г. 1-е изд. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1984. 160 с.

Рецензируемый труд представляет собой два самостоятельных словаря, объединенных в одной книге. Они отличаются не только национальным различием заглавного слова, но и характером лексикографической подачи материала. Первый словарь представляет собой переводной толковый русско-национальный терминологический словарь и относится к типу распространенных терминологических словарей. Второй — переводной национально-русский терминологический словарь — менее распространенный тип. Русско-башкирский словарь содержит 2033 словарные единицы (с. 14—121), а башкирско-русский — 1508 единиц (с. 124—160).

В башкирско-русском словаре исконные башкирские слова вместе с освоенными арабско-персидскими составляют 515 единиц, что равно 34% всего материала; интернациональные заимствования составляют 275 слов, или 18%; русские заимст-

вования — 78 единиц, или 6%; термины, образованные на базе сложения интернациональных или русских слов с башкирскими элементами, составляют наибольшую часть — 640 слов, или 42% материала. Процент интернациональных и русских слов в башкирской терминологии значительно повысился бы, если бы в башкирско-русскую часть были включены 798 интернациональных и русских заимствований, оформленных по правилам русской орфографии.

Общественно-политическая терминология в составе лексики современного башкирского литературного языка занимает значительное место, что находит отражение и в общеязыковых словарях.

Научная разработка терминологической лексики, в том числе работы по собиранию и совершенствованию общественно-политической терминологии, начинаются лишь в советское время — после победы Великой Октябрьской социа-

листической революции и установления советской власти в Башкирии, с обретением башкирским народом национальной государственной автономии.

Формирование социалистического общества, коренные преобразования, происшедшие во всех сферах жизни народа, активное участие трудящихся в общественной жизни республики и страны явились основой возникновения и интенсивного развития общественно-политической лексики башкирского языка.

На начальном этапе развития башкирской терминологии, особенно — общественно-политической, многие термины создавались на основе арабских и иранских заимствований. Как и ориентализмы в русском языке, эти заимствования вошли в словарный состав башкирского языка, понятны для широкой массы народа и никем, кроме специалистов-лингвистов, не воспринимаются как иноязычные слова. Например: *әйәлә* «семья», *гилми совет* «научный совет», *әскәри часть* «войсковая часть», *жилли* «национальный», *милли автономия* «национальная автономия» и др. В дальнейшем некоторые из них стали вытесняться неологизмами, созданными на базе средств национального языка, русскими и интернациональными словами, проникающими в башкирский язык, как правило, через русский, с которым башкирский, так же как и другие языки народов СССР, имеет наиболее тесные контакты.

Избавление башкирской терминологии от непонятных для широкой массы трудящихся слов, создание новых терминов на базе собственных ресурсов, широкое заимствование распространенных в языках народов нашей страны интернационализмов способствуют сближению башкирской терминологии с терминологией народов СССР, создают благоприятные условия в процессе обогащения общего лексического фонда на языках народов СССР.

Большую роль в пополнении общественно-политической лексики башкирского языка сыграл перевод с русского языка произведений классиков марксизма-ленинизма, важнейших партийных и государственных документов, учебных пособий, художественных произведений, что явилось своеобразной лабораторией, в которой отбирались, шлифовались новые термины, изживались последствия пуристических тенденций в терминопроизводстве. В башкирский язык вливались новые термины, отражающие общность многих реалий для народов СССР.

Начало создания башкирских терминологических словарей относится к 30-м годам. Эта работа усилилась с образованием в 1954 г. специальной терминологической комиссии при Президиуме Верховного Совета Башкирской АССР, которая в последние годы много сделала для разработки, совершенствования и внедрения общественно-политической и научно-технической терминологии.

В предисловии, в разделе о структуре словаря, за исключением последних пунктов (9 и 10), говорится лишь о русско-башкирском словаре. Составление национально-русского словаря имеет свою спе-

цифику и значительно отличается от составления русско-национального. Так, например, положение об оформлении имен существительных, которые, не изменяя своей формы в башкирском, так же как и в других тюркских языках, выступают в функции определения, соответствуя русскому относительно прилагательному, в равной мере действительно не только для исконно башкирских слов и ранних заимствований, но и для поздних интернациональных и русских заимствований.

В передаче русских общественно-политических терминов удачно используются как исконные национальные ресурсы: *һайлау* «выборы», *йәшәйеш* «бытие» и т. д., так и многочисленные старые, усвоенные заимствования из восточных языков: *назар* «постановление», *мажус* «специальный» и т. д.

В советскую эпоху большое развитие получили словообразовательные возможности башкирского языка, как аффиксальное словообразование, так и способ словосложения. На основе аффиксального словообразования создано множество естественных башкирских терминов, адекватно передающих русские и интернациональные термины: *тикшерәу* «следствие», *уйырма* «измышление», при этом в функции исходной основы выступают как башкирские, так и русские и интернациональные слова. Особенно много новых терминов образовано сочетанием башкирских словообразовательных аффиксов с заимствованными исходными основами: *европалаштырыу* «европеизация», *гражданлык* «гражданство», *идеялык* «идейность».

Значительно увеличилось количество сложных терминов, состоящих из двух и более слов. Здесь также успешно используются синтаксические модели башкирского языка, которые в свою очередь активизируются благодаря образованию новых терминов. Наряду с башкирскими словами, компонентами выступают также интернациональные и русские заимствования: *капитал айланеше* «оборот капитала», *дингә каршы пропаганда* «антирелигиозная пропаганда», *күп яклы договор* «многосторонний договор» и т. д. Немало сложных терминов, образованных по модели башкирского языка, но состоящих полностью из заимствований: *диверсия акты* (*әше*) «диверсионный акт», *бюджет резервтары* «бюджетные резервы» и т. д., где башкирский элемент — аффикс принадлежности, например, на основе производящей основы *закон* образовано 12 слов.

Многие слова стали активным компонентом образования новых слов. Так, на базе слова *етештерәу* «производство» словарь фиксирует 29 новых образований, из которых лишь одно слово образовано посредством аффиксации, остальные — посредством словосложения. Это говорит о том, что способ словосложения в башкирской терминологии стал ведущим при образовании новых терминов.

В словаре зафиксированы и такие актуальные термины, как *талык-ара көсәргәнешлекте йомшартыу* «разрядка международной напряженности» и т. д.

В башкирском языке, так же как и во

многих языках народов СССР, получили широкое распространение русские аббревиатуры и сложносокращенные слова, хотя полная расшифровка имеет национальный эквивалент, например: ВЛКСМ — Бәтә Союз Ленинсы Коммунистик Йәштәр Союзы и т. д.

Терминологический словарь свидетельствует о том, что многие термины, несмотря на то, что основная их часть уже устоялась, еще не закрепились, имеются колебания в их нормировании: *туплань* «концентрация, консолидация»; *касыу*, *касып китеу* «дезертировать», но «дезертирство» — *дезерттирлык*; *власть юкмиж* «безвластие». В подобных случаях происходит конкуренция терминов, пока какой-либо из них окончательно не станет основным для выражения данного понятия, данной реалии: *феодаль таролош*, *феодализм таролошо* «феодальный строй» — здесь еще не установлен выбор определенной модели из двух (см. также [1]).

Такие русизмы и интернационализмы, как *производство*, *промышленность*, *виза*, *президент*, *пособие* и мн. др., стали понятны широкой массе башкирского народа без перевода — они в словаре приводятся в русской орфографии. Эти слова стали уже плотью башкирского языка, о чем говорят и многочисленные сложные термины, оба компонента которых составляют русские и интернациональные заимствования.

Это свидетельство того, что в формировании современной башкирской общественно-политической терминологии большая роль принадлежит интернациональной и русской терминологии. Например, из 146 терминов на букву А 122, данные по правилам русской орфографии, являются заимствованиями, а созданные на башкирской или башкирско-арабо-персидской основе составляют лишь 24 единицы.

Рецензируемые словари не лишены и недостатков. Основные из них отражают состояние современной терминологической работы в республике.

В словарях имеются кальки, описательные термины, которые трудно отнести к числу удачных, например: *аналогичность* переведено словом *окишамлык*, которое означает «сходство, подобие» и вряд ли точно передает значение русского слова, несмотря на то, что слово *окишамлык* включено и в башкирско-русский словарь со значениями «аналогичность, аналогия»; кстати, *аналогия*, от которого произведено *аналогичность*, передается синонимами: *аналогия*, *окишамлык*. Русское слово *приказ* передается двумя словами: *приказ*, *бойорок*. Отсутствие в башкирско-русской части слова *бойорок* следует понимать так, что это слово является толкованием, а не термином. Однако это слово существует в общезыковом башкирско-русском словаре именно в значении «приказ» [2].

Отметим, что в русско-башкирской части не всегда дается точный башкирский эквивалент русского термина, некоторые переводы скорее всего представляют собой толкование.

Громоздкими представляются такие описательные наименования, как *саманан*

*тыш мактау* (яклау) в значении «аполония», *тәжрибәгә нигезләнгән*, *тәжрибәнән алда* в значении «априори» и др., а также многоэлементные термины, образованные на базе некоторых корней типа *күсәгилешлелек* «преemptивность» (от *күсә* «переходить, перемещаться») и т. д.

В ряде случаев наблюдается несогласованность между двумя словарями. Например, в русско-башкирском имеются башкирские термины *тәп* «движущий», *фәкер алышыулар* «дебаты», которые отсутствуют в башкирско-русском, что может поставить под сомнение их правомерность как соответствий русским. В башкирско-русской части имеется слово *тәртип* «порядок, дисциплина», а в русской части отсутствует слово *порядок* и т. д.

Хотя в общественно-политической терминологии синонимия не всегда вызывает особые трудности в понимании текста, обилие синонимов рассматривается как один из недостатков терминологии. Например: *гәмләдән сығарыу* // *юкка сығарыу* «аннуляция, аннулирование», *декларация яһау* // *декларация иғлан итеу* «декларировать» и т. д. Синонимия проявляется также в выборе производящей основы для целого ряда словообразовательных гнезд, ср., например, синонимичные основы *етештереу* и *производство*.

К недостаткам рецензируемого труда следует отнести отсутствие в нем целого ряда общественно-политических терминов. Так, в русско-башкирском словаре отсутствуют такие слова, как *бесхозяйственность*, *очковитирательство*, *штурмовщина* и др., обозначающие отрицательные общественные явления. Отсутствуют также термины, как *братство*, *высокоидейный*, *дружина*, *звено*, *комсорг*, *целинник*, *культпоход*, *ленинец* (*комсомолец* — есть), *пионер*, *политик*, *революционер* (есть: *Верховный Совет*, *Совет Министров* и т. д.) и др. Вместе с тем в словаре встречаются термины, которые представляются явно избыточными, ср. *аброгация*, *антропософия* и т. д.

В башкирско-русской части не находим ряд слов, которые даются в русско-башкирском словаре как перевод с русского на башкирский: *бәтәс* «дебаты», *етәкселек* «руководство» (есть: *етәкселек стили* «стиль руководства»), *йәшәйеш* «бытие», *синьф* «класс» (но есть словосочетания), *хожук* «право» (есть 16 словосочетаний).

Можно только сожалеть, что в башкирско-русский словарь не включены заимствования, оформленные по правилам русского правописания, что, кстати, оговорено в предисловии (с. 11).

Отсутствие многих слов в обеих частях словарей свидетельствует о недостаточной проработанности словарика до составления словаря. Думается, что всякое заимствованное слово, как и производные от него, обязательно должны быть включены в национально-русский словарь и занимать в нем свое место, поскольку они уже являются достоянием национальной лексики. Отметим, что большинство заимствованных (русских и интернациональных) общественно-политических терминов включается в национально-русские общезыковые словари, см., например, в

башкирско-русском словаре: *коммунист, ленинец, политика, социализм* и т. д. [2].

Многие заимствованные слова в тюркских языках выполняют функции двух частей речи — имени существительного и имени прилагательного, что связано с особенностями строя тюркских языков. Например, *комсомол* как башкирское слово на русский язык должно переводиться двумя частями речи: 1) именем существительным «комсомол» (разг. «комсомолец»), 2) именем прилагательным «комсомольский». Отсутствие подобных, совпадающих по форме слов в башкирско-русском словаре значительно обедняет его, оно также препятствует овладению башкирами терминологическим башкирско-русским двуязычием, научному осмыслению терминов данного типа в языке башкир.

Включение в национально-русский словарь общих по форме слов способствует унификации терминологии на языках народов СССР, облегчает задачу выявления общего лексического и терминологического фонда в языках народов СССР.

Значительную трудность при передаче на башкирский язык, так же как и на другие тюркские языки, русских терминов представляет адекватность передачи русских прилагательных. Существуют разные способы их передачи, которые встречаются и в рецензируемом словаре: 1) отсечение формы прилагательного русского языка: *кассационный* — *кассация, ударный* — *удар*; 2) замена русского суффикса национальным, образующим имя прилагательное от имени, с сохранением русской производящей основы: *плановый* — *планы*; 3) замена русской формы на интернациональную: *юридический* — *юридик*.

Это также говорит о том, что ряд принципов терминоворчества на башкирском языке еще не устоялся. В этом отношении представляют интерес способы передачи значения преф. *анти-*. Как известно, в башкирском языке, так же как и в других тюркских языках, префиксы сохраняются в заимствованиях как их неотъемлемая часть, но не воспринимаются как отдельный словообразовательный элемент: *антимилитаристик* «антимилитаристический» — единственное слово с преф. *анти-*, которое вошло в башкирско-русский словарь. А в русско-башкирском словаре слова с преф. *анти-* передаются двумя способами: 1) сочетанием имя + послелог *кашы* «против»: *халыжка кашы* «антинародный»; 2) прилагательным, образованным от заимствованного имени: *антимарксистик* «антимарксистский»; часто употребляются оба способа как синонимы: *антимарксистик, марксизмга каршы*.

Правописание ряда сложных наименований в словаре теперь урегулировано — это является положительным моментом. Вместе с тем одним из сложных вопросов, решение которых еще не достаточно аргументировано, является правописание заимствований, как полных, так и час-

тичных (производящей основы). Одно и то же заимствование в зависимости от ситуации пишется по-разному, например, *промышленность* принято как слово, имеющее в русском и башкирском языках единую форму, поэтому оно не включается в башкирско-русский словарь. Однако это же слово в составе сложного термина пишется по-другому при присоединении аффикса принадлежности башкирского языка: *табыу промышленность* «добывающая промышленность», ср. также *власть*, но *совет власы* и т. д. Здесь морфологический принцип вступает в конфликт с фонетическим. Подобное противоречие приводит к трудностям в распознавании слов и их основ, затрудняет обучение в школе.

Многозначные слова типа *башлык* «глава» требуют разъяснения в словаре. Русск. *глава* имеет значения 1) руководитель, 2) раздел в печатной продукции, а в словаре дано только первое значение.

Имеются и погрешности чисто технического характера: некоторые слова стоят не на своих местах (см., например, с. 125, 128).

Указанные недостатки словаря в основном отражают состояние терминологической работы не только в Башкирской АССР, но и в других автономных республиках, да и не только в последних, и подтверждают существующее мнение о необходимости координации терминологической работы в нашей стране путем создания центрального терминологического органа, занимающегося специально проблемами совершенствования терминологии на языках народов СССР (см. [3, 4]).

Наши критические замечания могут быть учтены при перепздании рецензируемого словаря (и, возможно, при составлении новых отраслевых терминологических словарей), который является полезным пособием для переводчиков, преподавателей и студентов, пропагандистов и агитаторов, поскольку в нем впервые собрана башкирская лексика по данной отрасли.

Мусаев К. М.

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Кагарманов Г. Г.* Вопросы нормализации общественно-политической терминологии башкирского языка. — В кн.: Развитие терминологии башкирского литературного языка. Уфа, 1981, с. 25.
2. Башкирско-русский словарь. М., 1958.
3. *Мусаев К. М.* Современная терминология литературных тюркских языков Советского Союза. — СТ, 1981, № 6.
4. *Степанов Г. В.* Современная научно-техническая терминология на языках народов СССР и за рубежом. — В кн.: Проблемы разработки и упорядочения терминологии в академиях наук союзных республик. М., 1983.

Успешное развитие социалингвистики в последние десятилетия не только повысило значимость диалектологии для решения многих общезыковедческих проблем, но и внесло значительные коррективы непосредственно в понимание теоретических оснований ареальной лингвистики. Актуальности диалектологической проблематики во многом способствовало изучение вариативности и системы в языке, невозможное или неполное без учета данных диалектов, как территориальных, так и социальных. В этой связи следует приветствовать выпускаемую издательством «Высшая школа» серию монографий (в рамках «Библиотеки филолога»), посвященных изучению территориальных диалектов европейских языков. В настоящее время вышли из печати описания современных английских территориальных и социальных диалектов (сленг) [1, 2]; последней в этой серии является рецензируемая книга Н. И. Филичевой, в которой дается исчерпывающий и оригинальный анализ диалектов немецкого языка. Следует выразить пожелание, чтобы диалектологическая серия «Библиотеки филолога» была продолжена: весьма желательно выступить, по крайней мере, очерки французской, испанской и итальянской диалектологии.

Монография Н. И. Филичевой состоит из шести глав, резко на немецком языке, а также приложения, содержащего образцы устной речи на немецких диалектах и текстов из современной немецкой и австрийской диалектной литературы. Список использованной литературы, приложенный к книге, содержит 125 названий на русском и немецком языках.

В книге дается синхронное описание наиболее важных структурных и функционально-типологических особенностей немецких диалектов, она знакомит с новейшей проблематикой и актуальными задачами диалектологии современного немецкого языка. Заслугой автора является его стремление рассматривать все явления и процессы развития и существования территориальных диалектов на фоне социалингвистических закономерностей и в тесной связи с ними. К сожалению, взаимопроникновение социальных и территориальных диалектов в книге нигде не показано на конкретном фактическом материале. Автор указывает, что со времени появления основополагающей монографии акад. В. М. Жирмунского «Немецкая диалектология» [3] «...возникла новая проблематика, связанная с применением современных методов изучения немецких диалектов и с развитием социалингвистики... Кроме того, за это время произошли существенные изменения в лингвистической ситуации в странах немецкого языка, в особенности в ГДР, где складывается социалистическая нация. Меняется соотношение между немецким литературным языком и диалектом, разрастается и приобретает исключительную значимость промежуточная прослойка

между ними. Вытеснение диалекта, наиболее интенсивно протекающее в социалистическом немецком государстве, сопровождается расширением сфер применения разновидностей обиходно-разговорного языка — от сближающихся с устной формой литературного языка до тесно смыкающихся с диалектом» (с. 5). При изложении материала автор опирается на собственный опыт чтения в течение ряда лет спецкурса по немецкой диалектологии на филологическом факультете МГУ. Кроме того, в работе учтены новейшие публикации зарубежных лингвистов по диалектологии немецкого языка. Общетеоретические положения, содержащиеся в рецензируемой книге, отражают успехи советской лингвистики в разработке проблем социалингвистики, а также вопросов соотношения диалекта, литературного и национального языка, нормы в языке в свете марксистско-ленинской теории соотношения языка и общества [4].

В главе I особое внимание обращается на выяснение лингвистической сущности диалекта. Как и другие диалектологи, Н. И. Филичева справедливо отвергает определение диалекта, даваемое представителями «порождающей грамматики», которые трактуют диалектную дифференциацию как варьирование на уровне поверхностной структуры при наличии общей с литературным языком глубокой структуры. Проведя строгую грань между территориальным диалектом и обиходно-разговорным языком, автор указывает, что диалект представляет собой по отношению к литературному языку особую языковую систему. Обиходно-разговорный язык, генетически сложившийся в результате взаимодействия литературного языка и диалектов, является вариантом языковой системы, отраженной в литературном языке. Он характеризуется прежде всего надтерриториальностью, поскольку возникнув в одном регионе, он может быть заимствован и распространиться в другом. По своей структурной организации обиходно-разговорный язык входит в одну диалектную систему с литературным языком как один из вариантов системы последнего, как его подсистема, в отличие от диалектов территориальных диалектов с их очень древними и специфическими языковыми системами. Деление сложной системы современного немецкого языка по структурным признакам на две диалектные системы (литературный язык — обиходно-разговорный язык, с одной стороны, и территориальные диалекты — с другой) не совпадает полностью с его членением на основании функционально-типологических критериев, в соответствии с которыми три формы существования языка, называемые также его регистрами или «субкодами», — литературный язык, обиходно-разговорный язык и диалекты — входят в объединяющую все их систему национального языка. Автор справедливо указывает, что носители современных немецких диалектов не являются

монологами, т. е. владеют не одной, а несколькими формами существования языка. При этом говорящий в зависимости от ситуации, состава собеседников или слушателей, предмета, характера и цели сообщения может произвольно переходить (переключаться) от одной формы проявления языка к другой. Это еще раз доказывает, что ни одна форма существования языка не представлена «в чистом виде»: носитель местного диалекта по необходимости является и носителем того или иного социального или городского диалекта, а также разговорно-обиходного языка и в той или иной мере литературного языка.

В той же главе дается интересный обзор основных этапов развития немецкой диалектологии, начиная с пионерских исследований И. А. Шмеллера (1785—1852) и кончая составлением лингвистических и словарных атласов немецких диалектов (вторая половина 20-х годов XX в. и вплоть до наших дней). Особо подчеркивается работа диалектологов ГДР и описывается развитие немецкой диалектологии в СССР, у истоков которой стоял выдающийся советский германист акад. В. М. Жирмунский. После описания специфических методов диалектологических исследований автор формулирует актуальные задачи диалектологии современного немецкого языка. Н. И. Филичева указывает, что одной из важнейших задач немецкой диалектологии в настоящее время является изучение разнообразных наддиалектных форм существования языка, в частности широкой сети территориально-окрашенных пластов обиходно-разговорного языка, из которых одни приближаются к разговорной форме литературного языка, а другие тяготеют к диалекту. Отсутствие внимания к этой обширной промежуточной сфере отчасти объясняется традициями германистики XIX в., исходившей из дихотомии «литературный (писменный) язык» — «диалект» (Mundart). В этой связи автор подчеркивает заслуги советской германистики, где изучение промежуточной прослойки между территориальным диалектом и литературным языком проводилось В. М. Жирмунским. Под полудиалектом он понимал складывающуюся в процессе поглощения диалектов национальным языком переходную ступень, в которой нивелированы первичные признаки местного говора при сохранении вторичных. Н. И. Филичева указывает также на исследования лингвистов ГДР, которые поднимают целый ряд актуальных социолингвистических вопросов, имеющих важное значение также для диалектологии, например: 1) какие социальные факторы в условиях социализма влияют на освоение языка, владение языком и языковое употребление; 2) в какой степени социальная структура социалистического общества воздействует на систему национального литературного языка и его применение; 3) как протекает процесс взаимодействия обиходно-разговорного и национального литературного языка на территории ГДР; 4) какую роль играют в этом процессе областные обиходно-разговорные языки; 5) существует ли раз-

говорный пласт, характерный для всей ГДР. В ФРГ в течение ряда лет ведется дискуссия о так называемых «языковых барьерах», причины которых кроются в капиталистических общественных отношениях с их глубокими социальными контрастами и соответствующей политике в области образования.

Глава II рецензируемой монографии посвящена функционально-типологической характеристике диалектов современного немецкого языка. Рассматривается, в частности, место диалекта в системе форм существования современного немецкого языка. Проанализировав функционально-типологические признаки противопоставления диалекта литературному языку, автор переходит к характеристике соотношения диалекта и литературного языка в ГДР и в капиталистических странах немецкого языка. Н. И. Филичева указывает, что новые общественные отношения в ГДР не только изменили социальную структуру населения, но и породили новые коммуникативные потребности, виды и способы коммуникации все большее влияние оказывает рабочий класс как господствующий класс в социалистическом обществе. При этом для языковой ситуации в социалистическом немецком государстве — ГДР характерно значительное расширение социальной базы литературного языка. В частности, в процессе социалистической индустриализации и социалистического преобразования сельского хозяйства, сопровождавшихся территориальным перемещением значительных масс населения, ярко обнаружилась коммуникативная неполноценность местных диалектов при решении крупных производственных и общественных задач, что привело к значительному сокращению их употребления. От описанной ситуации в ГДР отличается соотношение разных форм существования языка в капиталистическом немецком государстве — ФРГ. Хотя и здесь наблюдается вытеснение местных диалектов разновидностями обиходно-разговорного языка, развитие в условиях капиталистического государства не ведет к языковой интеграции всех социальных классов и слоев. Таким образом, в разных странах распространения немецкого языка наблюдаются различия в языковой ситуации, проявляющиеся в несовпадающем социальном статусе форм существования национального языка, в особенности литературного языка и диалекта, тогда как обиходно-разговорный язык почти повсеместно проявляет себя как динамичный, активный языковой тип. Далее в той же главе дается интересный обзор немецкой диалектной литературы и анализируются диалектизмы как социально и ситуативно обусловленные признаки немецкой речи.

В главе III рассматриваются основные структурные черты диалекта, в частности, соотношение диалекта и нормы, консерватизм и изменчивость диалекта, образность и эмоциональная окрашенность диалектной лексики (широкие возможности для синонимии, своеобразное значение суффиксов и др.), малая склонность

диалектной лексики к абстракции. В конце главы III дается характеристика структурных проявлений спонтанности речи (эллипсис, плеоназмы, нарушение грамматического согласования, аналогичные и гиперкорректные образования, контаминации).

В главе IV книги Н. И. Филичевой разбирается диалектное членение современного немецкого языка. Выделяются основные диалектные ареалы и приводятся соответствующие фонетические и грамматические изоглоссы.

Главы V и VI посвящены описанию фонетических и грамматических особенностей немецких диалектов соответственно. Эти особенности освещаются автором с опорой на материал, изложенный в книге В. М. Жирмунского [3]. При этом отбирались закономерности и явления, знакомство с которыми необходимо как для понимания структуры современных немецких диалектов и тесно связанных с ними территориальных разновидностей обиходно-разговорного языка, так и для чтения специальной литературы. При этом диалектные особенности в одних случаях сопоставляются с общегерманским (т. е. рассматриваются в историческом плане), а в других случаях — с современным литературным языком (т. е. чисто синхронно). Отметим, однако, что некоторые важные и интересные явления строя немецких диалектов не нашли, к сожалению, отражения в рецензируемой книге, например, явление потенцирования, конструкция типа *Ich kam gegangen, Ich kam geflogen* (ср. в английских диалектах: *I went to go*), ничего не сказано о способах отрицания в немецких диалектах, в частности о связи негативных конструкций с компаративными, об использовании префикса *ge-* в немецких диалектах (этот префикс в готском, видимо, был осколком вспомогательного глагола *gagan* вшедшей из употребления аналитической конструкции) и др. Недостатком рецензируемой книги является отсутствие в ней систематического изложения лексико-семантических особенностей диалектной лексики (процессы и результаты заимствования, сохранение слов и значений предшествующих эпох, своеобразное значение в диалектах слов, используемых в литературном языке, этимологический анализ лексики немецких диалектов) и установление внутригерманских лексико-семантических изоглосс). Практически полезным было бы включение в книгу хотя бы краткого словаря современных немецких диалектов с указанием ареала распространения отдельных слов

и переводом их на русский язык, а также хотя бы некоторых диалектных фразеологизмов. В этой связи совершенно недостаточны краткие списки диалектных немецких слов, приводимые в книге Н. И. Филичевой (ср. на с. 102: баварско-австр. *Har* «Flachs», *Brein* «Hirse», *Rauchfang* «Kamin», *Kuchel* «Kuche»; *Anze* «Gabeldeichsel», *Walger* «Feigholz», *Pfeit* «Hemd», *Fürtuch* «Schürze», *tenk* «links» или *Obse* «Vorhalle, Portal» (ср.: др.-сканд. *upsi* «Dachtraufe», др.-англ., гот. *ubizwa* «Vozhalle»; кстати, в др.-англ. находим не *ubizwa*, как в готском, а *cefes, yfes*). Нет в книге и разделов, посвященных синтаксису и словообразованию, важность которых для целостного понимания структуры современных немецких диалектов трудно переоценить. Следует, наконец, отметить, что в книге отсутствует авторское определение языковой системы и вариативности, хотя в своем изложении автор явно исходит из этих понятий.

Сделанные замечания не влекут на общую положительную оценку книги Н. И. Филичевой. Нельзя не подчеркнуть, что рецензируемая монография является первой в специальной советской литературе работой, посвященной синхронному описанию строя современных немецких диалектов. Необычайная полнота привлекаемого материала, опора на новейшую общетеоретическую литературу, последовательный критический подход к различным концепциям соотношения диалекта и других форм существования языка — все это делает рецензируемую книгу незаменимой для более полного овладения немецким языком в институтах и на факультетах иностранных языков. Значимость этой монографии, однако, выходит далеко за пределы учебного пособия. В связи с тем, что рецензируемая книга, не успев выйти из печати, стала библиографической редкостью, было бы очень желательно переиздать ее.

Маковский М. М.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Маковский М. М. Английская диалектология. М., 1980.
2. Маковский М. М. Английские социальные диалекты. М., 1982.
3. Жирмунский В. М. Немецкая диалектология. М., 1956.
4. Домашнев А. И. О границах литературного и национального языка. — ВЯ, 1978, № 2.

Кунина А. В. Англо-русский фразеологический словарь. 4-изд., перераб. и доп. — М.: Русский язык, 1984. 944 с.

Выход в свет четвертого, переработанного и дополненного издания «Англо-русского фразеологического словаря» А. В. Кунина, содержащего около 20 тысяч фразеологических еди-

ниц, представляет собой итог полувековой поистине подвижнической работы автора по сбору, изучению и систематизации фразеологии английского языка. Новое издание словаря сохраняет

ряд принципиальных установок, характеризовавших предыдущие издания. В словарь вошли устойчивые словосочетания самых разнообразных структурных типов как с переосмысленными, так и с непереосмысленными значениями. Составитель по-прежнему не включает в корпус словаря устойчивые словосочетания, входящие в узкоспециальную терминологическую лексику, носящие диалектный и табуированный характер. Словарь строится по принципу выделения вводимых вокабулами словарных статей, в рамках которых выделяются словарные гнезда. При этом в одном гнезде объединяются фразеологические варианты и фразеологические серии. Вместе с тем новое издание словаря отличается рядом существенных изменений и нововведений, среди которых в первую очередь следует отметить значительную модернизацию корпуса словаря. Если в предыдущем издании материал не был никак ограничен во времени и в нем встречались фразеологизмы, давно уже вышедшие из употребления, то настоящее издание ограничено периодом от Диккенса до наших дней (около 150 лет). Исходя из этого, составитель пересмотрел весь корпус 3-го издания, изъяв из него единицы, устаревшие ко второй четверти XIX в. Среди них такие архаичные выражения, как, например, *the bishop has played the cook* «блюдо подгорело», *carry an M by one's girdle* «прибавлять слово „мистер“ или „миссис“ к фамилии», шотландизм *cry barley* «списать пощады или перемирия», *set up one's pipes* «кричать, вопить». Само по себе решение установить временные рамки для используемого в словаре материала можно только приветствовать. Ограниченный объем словаря не дает возможности в равной мере отразить в нем язык прошлого и язык настоящего, и предпочтение должно быть отдано, очевидно, последнему. Однако у специалистов по английской фразеологии не может не вызвать сожаления тот факт, что среди изъятых оказались фразеологизмы, встречающиеся в произведениях таких широко читаемых авторов, как Байрон и В. Скотт. В то же время А. В. Кунин значительно пополнил словарь за счет неологизмов, собранных на материале английской и американской художественной литературы и публицистики и проверенных по новейшим словарям. Так, например, в новом издании мы находим такие новообразования, как *The silent majority* «молчащее большинство», политически пассивные американцы, *think tank* «мозговой трест, исследовательский институт или группа, занимающаяся разработкой правительственных проектов», *kiss of life* «оживление, возвращение к жизни», *shuttle diplomacy* «челночная дипломатия» и мн. др.

В большей мере, чем в предыдущих изданиях, составителю удалось учесть территориальную вариативность английского языка, включив в словарь значительно большее число американизмов и австрализмов. Так, например, в новом издании читатель найдет отсутствовавшие в предыдущих изданиях словаря американизмы *that's the way the ball bounces*, *that's*

*how the cookie crumbles* «такова жизнь, такие-то дела», *put in a cooler* «отложить в долгий ящик», австрализмы *waltzing Matilda* «бродажничество с покложей за спиной», *go bush* «скрываться в зарослях и жить разбоем» и др.

Словарь включает большое число сленгизмов. Составитель вполне обоснованно мотивирует это тем, что сленг широко проникает в английскую, американскую и австралийскую литературу и прессу. В этом явлении наша свое отражение известная «либерализация» нормы литературного английского языка. Разговорная литературная речь не отделена от сленга жесткими и однозначно определяемыми границами. Существует немало переходных случаев, статус которых по-разному оценивается лексикографами. Так, например, фразеологизм *whispering campaign* «клеветническая кампания» рассматривается в «Словаре американского сленга» Г. Уэнтуорта и С. Б. Флекснера в качестве сленгизма, тогда как популярный словарь «Рэндом хаус» не сопровождает его специальной пометой, тем самым относя его к нейтральной литературной лексике. Думается, что А. В. Кунин совершенно прав, когда считает, что словарь, важной задачей которого является фиксация современного фразеупотребления, должен отражать все многообразие фразеологии английского языка.

Особое внимание при отборе фразеологизмов автор уделяет учету реального речевого узуса. Так, в целом ориентируясь на выражения, зафиксированные в словарях, он счел необходимым в ряде случаев включать единицы, не зарегистрированные в них, не встречающиеся в произведениях английских и американских авторов. В качестве примера можно привести выражение *the joint in somebody's armour* «чье-либо слабое место, ахиллесова пята». Однако в таких случаях А. В. Куник особенно скрупулезно проверяет, не является ли такое выражение сугубо индивидуальной метафорой данного автора. Чтобы исключить такую возможность, составитель фиксирует указанное выражение в трех иллюстративных цитатах из Дж. Лондона, Г. Уэллса и Дж. Б. Пристли.

Большую работу проделал составитель и по расширению языковой базы словаря. Об этом наглядно свидетельствуют цифры. Если в предыдущем издании использовано 600 произведений 130 авторов, то в четвертом издании цитируется 1700 книг 370 авторов, среди которых мы находим имена таких видных современных писателей, как Дж. Алдайт, К. Воннегут, Г. Грин, Э. Доктороу, А. Мердок, Дж. Осборн, У. Сароян, А. Силлитоу, Ч. Сноу, И. Шоу и мн. др. Приложенный к словарю список цитируемых в нем произведений может служить прекрасным библиографическим указателем по современной англоязычной литературе. И вместе с тем, думается, что автор поступает совершенно правильно, не чуждаясь и произведений более легкого, развлекательного жанра. Ведь авторы этих произведений дают порой весьма ценный материал лексикографу — натуралисти-

чески точное, нестилизованное воспроизведение живой речи. Именно такой материал А. В. Кунин находит у некоторых неоднократно цитируемых им авторов детективных романов. Впрочем, в отборе этих произведений автор проявляет хороший вкус, останавливая свой выбор на таких вполне респектабельных именах, как А. Кристи и Э. Гарднер.

Нельзя не отметить и ту значительную работу, которая была проведена в связи с пересмотром и дополнением переводов фразеологических единиц и иллюстративных цитат. В отточности и безупречности переводов чувствуется рука литературного редактора М. Д. Литвиновой, опытного профессионального переводчика и блестящего стилиста.

Особо следует отметить значительное расширение страноведческих, этимологических, стилистических и иных комментариев, увеличение числа грамматических, стилистических и этимологических помет.

Существенно пересмотрены и принципы расположения материала. Так, по сравнению с 3-м изданием значительно изменена структура словарной статьи. В частности, автор отказался от предпринятой им в 3-м издании попытки выделять многозначные вокабулы (без дефиниций) и перевода на русский язык). Опыт показал, что распределение фразеологизмов под различными значениями вокабул не может быть проведено с достаточной последовательностью.

Поиск оптимальной структуры словарной статьи коснулся и самого принципа выделения вокабул. В предыдущих изданиях в качестве ведущих вокабул выделялись слова, рассматриваемые как структурно-семантические центры фразеологических единиц. Автор убедился в том, что выделение подобных «стержней» во всех типах фразеологических единиц невозможно и поэтому не может быть последовательно проведено в словаре. Так, например, не выделяется единый стержень в сочинительных оборотах типа *Darby and Joan* «старая любящая супружеская чета», *lock, stock and barrel* «полностью, целиком». Исходя из этого, автор решил в качестве вокабул использовать не стержневой, а константный элемент фразеологической единицы, т. е. тот ее элемент, который не варьируется и не поддежит эллиптическому опущению. Если в предыдущем издании в корпусе словаря приводились все фразеологические варианты, то теперь дается лишь один из них под константным элементом фразеологической единицы. Например, фразеологическая единица *not worth a bean* (*button, damn, farthing* и т. д.) в 3-м издании приводилась под каждым существительным со ссылкой на *worth*. В 4-м издании фразеологизм фиксируется только один раз под *worth*. Все же остальные фразеологические варианты приводятся в указателе, где они даются под соответствующими существительными со ссылкой на корпус словаря.

Рациональный способ расположения материала во фразеологическом словаре представляет собой сложную и еще далеко не решенную проблему. Способ, пред-

ложенный А. В. Куниным, пожалуй и более логичен и более последователен, чем некоторые другие. Вместе с тем, думается, что и он не безупречен. В самом деле, ведь найти фразеологизм в словаре оказывается не столь простым делом, поскольку неискушенному читателю неизвестно, какой именно элемент фразеологической единицы является константным. Разумеется, выручает указатель, но и его структура, на наш взгляд, несколько усложнена: если раньше все приводимые в словаре фразеологические единицы и их варианты располагались в алфавитном порядке, то теперь и в указателе принят принцип расположения единиц под теми или иными их компонентами, что, как нам представляется, не облегчает поиска.

«Два дела особенно трудны — это писать словарь и грамматику» — эти слова, приведенные в свое время акад. В. В. Виноградовым [1, с. 3], уместно вспомнить, оценивая словарь А. В. Кунина. В самом деле, как бы широко словарь ни отражал языковой материал, взыскательный читатель все равно найдет в нем пробелы. Есть они и в рецензируемом словаре. Так, например, в нем отсутствует широко вошедший в современную публицистику фразеологизм *corridors of power* «корридоры власти» (по названию романа Ч. Сноу). Нет в нем и таких широко употребительных неологизмов, как *generation gap* «конфликт поколений, проблема „отцы и дети“», *credibility gap* «кризис доверия», *launching pad* в значении «трамплин». Это вызывает удивление, поскольку все эти выражения приводятся в известном словаре неологизмов Барнхарта, фигурирующего на с. 22 в качестве одного из лексикографических источников.

Отдельные пробелы встречаются не только среди неологизмов, но и среди выражений, давно уже утвердившихся в языке. Так, например, в словаре нет *jam session* «джазовая импровизация», *dirt farmer* «фермер, лично обрабатывающий землю» (зарегистрировано в БАРС), *Boston tea party* «бостонский бунт» (также имеется в БАРС), *pig Latin* «кодированный жаргон с переставленными слогами».

Можно отметить и отдельные (к счастью, очень немногие) случаи неточной трактовки значений отдельных фразеологических единиц. Так, например, выражение *put something on ice* трактуется как «обеспечить успех чего-либо, выиграть». Вместе с тем в первом же иллюстративном примере этот фразеологизм употребляется в совершенно ином смысле (*why not put it on ice for a couple of weeks?*), о чем свидетельствует совершенно точный перевод: «Почему бы не отложить осуществление этого плана недели на две?». Это значение отмечено выше у предположительно именного сочетания *on ice* «отложено, законсервировано». Очевидно, следовало дать «отложить, законсервировать» в качестве одного из значений выражения *put something on ice*.

В Предисловии и во Введении автор знакомит читателя с основными отличительными чертами 4-го издания, с прин-

циями отбора фразеологизмов, со структурой словарной статьи и с расположением фразеологических единиц в словаре, с используемой в словаре формой фиксации фразеологизмов, системой словарных помет, путями перевода фразеологии, типами комментариев, системой ссылок, отражением в словаре многозначности фразеологизмов, источниками иллюстративных примеров и с приложениями к словарю (списком иностранных выражений и указателем). В целом эти разделы содержат интересный и информативный материал и не только ориентируют читателя в особенностях словаря, но и отражают эволюцию взглядов автора на фразеологию вообще и фразеологию английского языка в частности. Особенно хотелось бы выделить раздел, посвященный переводу фразеологизмов, в котором указано шесть основных способов перевода фразеологических единиц, а также окказиональные, ситуативные соответствия. Однако некоторые положения в этих разделах представляются спорными. Так, например, не совсем ясным кажется вопрос о целесообразности использования в такого рода изданиях новой классификации фразеологизмов (фразеологические единицы или идиомы, идеофразеоматизмы, фразеоматические единицы), к тому же без указания на то, чем обусловлен отказ от традиционной классификации и в чем состоит принципиальное отличие новых терминов. При этом следует указать, что значение этих новых терминов раскрыто не всегда достаточно убедительно. Так, идеофразеоматизм определяется как единица, совмещающая буквальные и переносные значения, причем буквальные значения носят терминологический характер или являются профессионализмами. Но приводимое в качестве примера выражение *lay down one's arms* в своем буквальном значении отнюдь не является военным термином, как утверждает автор, а относится к общеупотребительной литературной лексике.

Столь же спорен отказ от пометы

«сленг». Дело в том, что лексикографу, в значительной мере полагающемуся на иностранные словари, нельзя не считаться со сложившейся в данном языке и данной культуре терминологической традицией. Порой приходится мириться с некоторыми недостатками этих традиционных терминов, памятуя о том, что их замена элементами другой терминологической системы не может быть вполне адекватной. А. В. Кунин считает, что понятие «сленг» настолько разнородно, что оно «перестает быть языковым термином». Поэтому для характеристики фразеологизмов, не санкционируемых литературной нормой, но вместе с тем не ограниченных социальными или локально, он использует помету *жарг.* Но такая замена явно неравноценна, поскольку термин «жаргон» как раз относится к образованиям, ограниченным узкими социальными рамками и применяемым отдельной социальной группой с целью языкового обособления [2, с. 148].

Сделанные выше замечания носят, в основном, частный характер. Они неизбежно возникают при обсуждении любого словаря, тем более словаря фразеологического, представляющего собой относительно новый жанр в отечественной и мировой лексикографии. Одним из его пионеров, бесспорно, является А. В. Кунин, признанный авторитет в области общей теории фразеологии и фразеологии английского языка. Новое издание его фразеологического словаря — заметная веха на пути становления и развития этой важной отрасли словарного дела, видное событие в нашей лексикографии.

Швейцер А. Д

## ЛИТЕРАТУРА

1. Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1947.
2. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966.

**Lexikon der Afrikanistik. Afrikanische Sprachen und ihre Erforschung.** Hrsg. von Jungraithmayr H. und Möhlig W. J. G. — Dietrich Reimer Verlag, 1983. Bibl., Karten. 351 S.

Рецензируемая работа является попыткой, первой в африканистике, сжато, в форме краткого энциклопедического словаря, отразить терминологию, персоналии и проблемы африканского языкознания<sup>1</sup>. Африка представлена в Лексиконе всеми странами этого континента, за исключением его арабоязычного севера. Составители Лексикона старались отразить поступательное развитие африканского языкознания начиная с составления первых словариков, текстов и практических описаний XVII—XVIII вв. вплоть до

современного состояния развития этой дисциплины. В нем даются также характеристики отдельных языков и языковых семей.

По мнению составителей Лексикона, научное исследование африканских языков составляет четыре исторических этапа: 1) первая половина XIX в. — начальный период исследований (например, работы Г. Лихтенштейна, И. Крапфа и др.); 2) вторая половина XIX в. — первые подробные описания отдельных языков и попытки их сравнения (например, И. Шен, С. Келле, Р. Лепсиус и др.); 3) первая половина XX в. — капитальные сравнительно-исторические исследования (К. Мейнхоф, Д. Вестерман и др.);

<sup>1</sup> См. также две африканистических публикации, жанр которых до некоторой степени напоминает Лексикон [1, 2].

4) вторая половина XX в. — пересмотр прежних классификаций и возврат к подробному описанию отдельных языков на основе современных методов.

Лингвистические термины, если они общезыковедческие, оцениваются и дефинируются в Лексиконе прежде всего в рамках концепций, сложившихся в африканском языкознании, и снабжены конкретными примерами из африканских языков. Термины такого рода достаточно полно раскрывают специфику африканских языков и, в определенной степени, отражают проблематику африканского языкознания. Так, например, «орист» в африканском языкознании используется в повествовании для обозначения одномоментного действия и обычно принимает форму чистой глагольной основы, обязательно сочетающейся с субъектными приглагольными местоимениями. «Аспект» (англ. Aspect) или вид (более удачным термином представляется нем. Aktionsart), отражает характер, но не время совершения действия. Таких глагольно-видовых форм может быть несколько (например, в хауса) или две (например, определенный и неопределенный аспекты в центрально-суданских языках). «Артикль», или артиклеобразный суффикс, если таковой обнаруживается в африканских языках, обычно соответствует определенному артиклю в и.-е. языках. Неопределенный артикль в африканских языках, как правило, отсутствует, и ему, следовательно, соответствует нулевая форма. Некоторые исследователи склонны отнести к артиклю и препрефикс (Präfix) в языках банту.

Ряд терминов отражает особенности преимущественно африканских языков, например, термин «альтриокаль» (направительная глагольная форма), вероятно, впервые использованный А. Клингенхебом для описания языка фула; «мутация/альтернация инициального (префиксного) согласного» (нем. Anlautregulation) для западноатлантических языков; «идеофон» (вытеснил нем. Lautbild); «п/к-субстрат» (специальные морфемы ед. и мн. числа, обнаруживаемые в некоторых нило-сахарских, кордофанских и кушитских языках). Специфические особенности глагольно-видовой системы африканских языков вызвали появление серии специальных терминов: «аспект», «глагольный класс», «аппликатив» (также «бенефактив», или Präpositional, последний — из английского — использован Э. Эштон для описания языков банту), «фреквентатив» (также Repetitiv), «интенсив», «конатив» и др.

В некоторых терминах отражается специфический подход к проблеме, например, «массовое сравнение» (Massenvergleich от англ. mass comparison, по Дж. Гринбергу); «сравнение по сходству» (Ähnlichkeitsmethode — комбинированный метод, включающий методики М. Своден и Дж. Гринберга); «сравнительно-исторический метод», введенный в африканистику К. Мейнхофом и существенно развитый и дополненный другими африканистами.

Весьма информативны общие статьи, например, термин «африканистика», одно

из основных значений которого — африканское языкознание; «алфabetизация», «бантуистика», «диалектология», «лексикостатистика», «орфография», «языковая политика», «социолингвистика», «тонические языки» и др. В ряде статей отмечается особый интерес, который немецкие африканисты всегда проявляли к классификации африканских языков, их сравнительному изучению, социолингвистической проблематике.

Некоторые термины заимствованы из английского, поскольку в английской африканистике уже давно сформировалась специальная терминология, особенно для языков банту.

Из огромного числа африканских языков (приблизительно две тыс., по некоторым данным) составители Лексикона, ограниченные запланированным объемом и числом статей, выбрали только те языки, которые представляют, по их мнению, общелингвистический интерес. Наиболее полно в Лексиконе представлены языки межэтнического общения. Чтобы восполнить информационные пробелы, составители Лексикона ссылаются на другие издания и, в частности, на опубликованные списки языков как источники более подробной информации. К описанию языков составители Лексикона привлекли, помимо западногерманских африканистов, некоторое число зарубежных специали-

стов. В небольших по объему статьях отмечается стремление сообщить важнейшие сведения о языке — классификационные, фонетико-грамматические (иногда только одна-две специфические черты), социолингвистические, библиографические. В целом, хотя и с критическими замечаниями и дополнениями, составители Лексикона принимают классификацию Дж. Гринберга (см., например, описания макросемей, в частности, нило-сахарскую семью языков). Особенно много дополнений и уточнений содержится в описаниях чадских, восточносуданских, центрально-суданских и кушитских языков, т. е. в тех областях, в которых африканисты, особенно западногерманские, наиболее активно и плодотворно работают в настоящее время. Наличие основных этнонимов в Лексиконе облегчает поиск необходимого языка (см., например, давида, эве, кабре и др.).

В персоналии Лексикона были включены имена лишь покойных африканистов, и это, конечно, серьезный недостаток, который составители Лексикона, возможно, исправят в следующем издании. Все же необходимо заметить, что раздел персоналий в Лексиконе перегружен ничем не примечательными фигурами, известными порой лишь тем, что они собрали 20—30 слов из того или иного языка. Составителям Лексикона не удалось обнаружить библиографических данных о некоторых известных западноевропейских африканистах (Ч. Армбрустер, С. Сантандреа и др.), а сведения о советских исследователях (И. Ю. Крачковский, Н. В. Юшманов, Ю. Н. Завадовский, В. П. Старинин и др.), к сожалению, полностью выпали из раздела персоналий. Тем не менее, раздел персоналий Лексикона даже

в таком виде представляет определенный научный интерес, поскольку у африканистов-языковедов до сих пор нет «своего» справочного издания. Наиболее полно в Лексиконе представлены немецкие африканисты-языковеды, а также английские, французские, бельгийские, австрийские, итальянские, южноафриканские. Материалы персоналий помогают воссоздать историческую картину развития африканского языкознания, проблемы этой науки в прошлом и в настоящем.

Лексикон информирует читателя также и о некоторых научных публикациях, имеющих историческую ценность (словарь П. С. Палласа, *Mithridates, Polyglotta Africana*). Из важнейших современных публикаций выделены лишь энциклопедическая серия *Handbook of African Languages*, но недостаток подобного рода информации некоторым образом компенсируется в библиографическом разделе Лексикона. Из африканских хроник в Лексиконе упомянуты только хроники

<sup>2</sup> Африканское языкознание в СССР в настоящее время представлено главным образом двумя группами исследователей, работающих в Москве (Институт языкознания и Институт востоковедения АН СССР, кафедры африканских языков в ИСАА/МГУ и в МГИМО, ряд африканистов на кафедрах филологии в других столичных учебных заведениях) и в Ленинграде (ЛЮ Института языкознания и Института этнографии АН СССР, кафедра африканских языков Восточного факультета ЛГУ). Кроме того, отдельные африканисты-языковеды работают в некоторых других городах Советского Союза.

суахили. Имеются сведения о некоторых важнейших африканистических центрах, например, таких, как Международный институт Африки и Западноафриканское лингвистическое общество.

В целом подробно составлена Библиография (с. 282—351), которая, предположительно, отражает все четыре этапа развития африканского языкознания. Однако в библиографический раздел включены лишь несколько публикаций советских ученых (в двух случаях допущены неточности), что совершенно не соответствует действительному вкладу советской науки в африканское языкознание<sup>2</sup>. Из советских работ, не попавших в Лексикон, назовем лишь некоторые публикации, достаточно известные и потому доступные составителям Лексикона, например, серию *Africana* (Институт этнографии АН СССР), а также многочисленные монографии (см., например: Языки Африки. М., 1966; Проблемы африканского языкознания. М., 1972; Языковая ситуация в странах Африки. М., 1975 и др.). Составители Лексикона фактически игнорируют труды своих коллег из ГДР, опубликовавших за последние годы ряд интересных работ.

*Журковский Б. В.*

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Doke C. M. Bantu linguistic terminology.* London, 1935.
2. *Doke C. M. Bantu. Modern grammatical, phonetical and lexicographical studies since 1860.* London, 1945.

*Кубрякова Е. С., Панкрац Ю. Г.* Наука, 1983. 119 с.

Рецензируемая работа, как отмечают авторы, представляет собой попытку изложить в краткой форме основы морфологии как особой лингвистической дисциплины, дать ее новую функционально-динамическую концепцию, уточнить методику морфологического анализа и предложить собственную модель описания близкородственных языков. Работа состоит из двух частей — общетеоретической и конкретной, описательной, в которой излагается сущность морфологических явлений в современных германских языках, а именно, чередований гласных корневых морфем в системе имен существительных и глаголов. Хотя этот материал хорошо известен и достаточно подробно описан (с. 102), он не получил теоретического обобщения и не использовался до сих пор в типологической характеристике современных германских языков.

Зарождение морфологии как лингвистической дисциплины связывается с именем Н. С. Трубецкого, сформулиро-

Морфология в описании языков.—М.:

вавшего три главных задачи морфологии, а именно: 1) определение фонологических особенностей морфем разных классов, 2) выявление различных преобразований на стыке морфем, не имеющих фонологического объяснения, 3) определение морфологических функций звуковых чередований (с. 9). Е. С. Кубрякова и Ю. Г. Панкрац включают в морфологию лишь те фонологические особенности слов и морфем, которые коррелируют с их морфологическими функциями (с. 9). Отвергая известное высказывание А. А. Реформатского о том, что морфология «уже не относится к фонологии и еще не относится к грамматике» [1], они безоговорочно относят морфологические явления к грамматическим (с. 13).

Центральная проблема морфологии — вопрос о варьировании (альтернировании) морфем одной морфемы. Фонологическая петожественность морфем вскрывается в непосредственном наблюдении, но суть имеющей место альтерна-

ции становится понятной только после всестороннего рассмотрения этой альтернативы и условий ее существования (с. 12). Вопрос о том, какие альтернативы морфем считать морфонологическими в отличие от чисто фонологических и чисто морфонологических, остается спорным. Авторы рецензируемого исследования полагают, что основанием для такого разделения должна стать функциональная значимость альтернатив. Основная функция морфонологических альтернатив — помогать «сигнализировать о выполняемых ими грамматических ролях» (с. 16). Традиционно морфонологические явления исследовались исторически, при этом особый интерес вызывал переход фонетических и фонологических чередований в морфонологически значимые. Предлагаемая авторами концепция морфонологии призвана раскрыть сущность этих явлений в синхронии.

Сущность динамической концепции морфонологии раскрывается в третьей главе первой части монографии. Она строится на разграничении понятий морфонологической характеристики и морфонологических правил как понятий статистики и динамики. Варьирующиеся морфы одной морфемы образуют альтернативный ряд и демонстрируют разные степени чередования. Статика заключается в фиксации альтернирующих форм, например, нем. *Apfel/Äpfel*, в определении их удельного веса в языке, связи с тем или иным типом склонения или спряжения (с. 26), динамика — в том, что одна форма рассматривается как производная от другой, как результат определенного процесса или преобразования (здесь: выражение значения множественности). Альтернативный ряд рассматривается как парадигма альтернирующей морфемы (с. 25). «Место словоформ в такой парадигме занимают конкретные морфы, место флексий — члены альтернативного ряда как фиксирующие переменные компоненты в строении морфемы, место семантических этикеток, позиций парадигмы указывается обозначением тех ролей, которые выполняются данным морфом в грамматической системе языка» (с. 25).

Во второй части монографии известные исторические чередования гласных (аблаут, умлаут и преломление) рассматриваются как средства выражения грамматических значений в парадигмах склонения имен существительных, для выражения множественного числа существительных и в глагольной парадигматике германских языков. Скрупулезно подчитываются все выделенные альтернативы морфем и их ряды, при этом во внимание принимаются чередования, подсказанные характером синхронной морфонологической (т. е. грамматической) парадигмы, а не исторические чередования. Так, например, исл. *för* (ед. ч.) является исходной формой для формы мн. ч. *farir* (альтернатива  $\ddot{o} \rightarrow a$ , хотя исторически  $a$  является «доумлаутной формой», а  $\ddot{o}$  возникает в результате умлаута). Статистические подсчеты альтернативных рядов составляют основу типологических сопоставлений исследуемых языков. Так,

для выражения категорий числа альтернативы используются в исландском языке в 464 существительных, в немецком — в 304, в других германских языках (шведский, датский, английский, нидерландский, африкаанс) — от 28 до 4. Это дает основание сделать вывод о том, что в одних языках (исландский, немецкий) имеется развитая система морфонологических противопоставлений по числу, в других же они представляют собой единичные, уникальные явления. В составе выделенных существительных вычлениваются альтернативные ряды для каждого языка в отдельности. Так, в немецком языке их оказывается четыре [три способных к умлауту гласных ( $a, o, u$ ) и дифтонг *au*]. В альтернативном ряду  $a \rightarrow \ddot{a}$  — 142 существительных, в ряду  $o \rightarrow \ddot{o}$  — 53,  $u \rightarrow \ddot{u}$  — 78 и т. д. (с. 39). Аналогичным образом исследуются способы выражения категорий рода и падежа. Моделирование морфонологических изменений с помощью символов делает сопоставление очень наглядным.

Морфонологические характеристики германских глаголов выявляются в составе большой парадигмы, в которую включаются формы инфинитива, причастия II и малые парадигмы презентных и претеритальных форм индикатива и конъюнктива, а также формы императива. Такая парадигма может быть морфонологически маркирована и не маркирована. Морфонологически не маркированные парадигмы не рассматриваются. Особенно сложным оказалось описание парадигм сильных глаголов исландского языка, где для 175 глаголов устанавливается 25 моделей больших парадигм (с. 69), в немецком языке 173 глагола группируются в 10 моделей парадигм, т. е. здесь наблюдается существенное упрощение морфонологических схем (с. 88).

Типологический анализ германских языков по морфонологическим признакам позволил разделить эти языки на три группы: 1) языки со сложноразвитыми морфонологическими системами (исландский и немецкий), языки со слабо развитыми морфонологическими системами (датский и английский) и языки промежуточного типа (нидерландский) (с. 106).

Теоретическая и практическая части монографии хорошо согласованы. Субстанциональный и функциональный анализы помогли установить конечное число альтернирующих парадигм и их специфику в каждом германском языке. Динамический подход позволил увидеть в них не столько результат действия разрушительных сил (традиционное толкование), сколько упорядочивающее начало, продолжающее линию более четкого противопоставления грамматических схем, устанавливаемых системой конкретного языка. Такое понимание функций германских альтернатив в целом не вызывает возражений, если при этом все же иметь в виду исторически обусловленную ограниченность их использования. К сожалению, авторы иногда излишне жестко противопоставляют синхронный и исторический подходы, что приводит их, в угоду принятой схеме, к необходимости толковать направление альтернан-

ных чередований условно (ср. исл. *för* и *farir*, с. 36). Ввиду того, что в исследуемых языках учитываются лишь морфологически маркированные формы, их значимость в системах языка значительно преувеличивается. Несмотря на то, что в результате анализа огромного материала было обнаружено большое количество альтернирующих морфем, авторам исследования все же не удалось опровергнуть тезис А. А. Реформатского о «штучности» [2] морфологических альтернатив (с. 30).

Два ценных свойства монографии — ее теоретическая весомость и практическая завершенность — делают ее интересной и полезной как для теории языковедения, так и для практики преподавания германских языков.

Предлагаемая Е. С. Кубряковой и Ю. Г. Панкрацем концепция морфологии и методика описания морфологических явлений, успешно использованная для описания современных германских языков, несомненно, заинтересует исследователей и других языков.

*Макушева Ю. М.*

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Реформатский А. А.* О соотношении фонетики и грамматики (морфологии). — В кн.: Вопросы грамматического строя. М., 1955, с. 100.
2. *Реформатский А. А.* Фонологические этюды. М., 1975, с. 118.

## НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

## ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

7—13 апреля 1985 г. в Вороново (Московская обл.) работала Всесоюзная научно-практическая школа по нормативной лексикографии, организованная Научным советом АН СССР по лексикологии и лексикографии совместно с Институтом русского языка АН СССР. На пленарных заседаниях и 2 секциях было прослушано 19 докладов и 25 сообщений и выступлений, в которых обсуждались в основном две группы проблем: семантические категории в словаре; социально-стилевая дифференциация литературного языка и ее отражение в словаре.

Работу школы открыл председатель Оргкомитета директор Института русского языка АН СССР чл.-корр. АН СССР Ю. Н. Караулов. Отметив широкий размах лексикографической работы в нашей стране, он охарактеризовал те внутренние причины, которые стимулируют развитие словарной практики, и те направления, по которым осуществляется это развитие. Словарь в наше время выступает как посредник между человеком и человеком, человеком и обществом, человеком и миром в целом. Развитие лексикографической практики идет по трем основным линиям: 1) по линии составления обобщающих видов словарей, стремящихся охватить максимум лексики (большой академический словарь современного русского литературного языка, словарь русских народных говоров); 2) по линии расширения параметрической лексикографии (создание словообразовательных словарей, словаря служебных морфем, семантического словаря и других видов словарей по отдельным параметрам языка); 3) по линии структурно-функциональной лексикографии (составление учебных словарей, двуязычных словарей, словарей языка одного писателя). В заключение Ю. Н. Караулов подчеркнул все возрастающую роль лексикографических произведений в духовной жизни человечества.

Первое пленарное заседание открыл С. Г. Бережан (Кишинев). В своем докладе он развивал тезис о том, что осознанное словарное отражение системных семантических связей лексики, прежде всего таких, как омосемические, парасемические и мотивационные, имеет особое значение, так как в идеале толковый словарь призван быть тем лингвистическим произведением, которое должно, наряду с научной грамматикой, представить общую картину языка как системного целого. В совместном докладе

Е. А. Земской и М. В. Китайгородской (Москва) излагались принципы построения «Словаря современного русского просторечия». Авторы предложили критерии отбора словника и охарактеризовали основные источники для создания картотеки словаря. Т. Г. Винокур (Москва) в своем докладе охарактеризовала причины, обуславливающие принципиальное несоответствие объема и характера семантической и стилистической квалификации лексической единицы в словарной статье и вызванной этим асимметрии словарного текста общенормативного типа.

Доклады, сообщения и выступления, прочитанные на заседаниях секции № 1, были посвящены обсуждению вопросов отражения в толковых словарях лексической семантики, способов представления при описании слова грамматической семантики, взаимодействия лексических и грамматических категорий и отражения этого взаимодействия в структуре словарных статей. В докладе Н. З. Котеловой (Ленинград) шла речь о том, что требует уточнения область явлений, относящихся к семантической деривации, в связи с чем была поставлена проблема употребления пометы «переносное» только в случаях метафорического образования значений. В заключение Н. З. Котелова остановилась на случаях истинной и мнимой семантической деривации. П. Н. Денисов (Москва) охарактеризовал факторы, определяющие различную интерпретацию полисемии в словаре. Автор указал на наличие по крайней мере двух типов полисемии: дискретной и диффузной. В докладе А. Б. Пенковского (Владимир) были рассмотрены некоторые общие закономерности развития адвербиальной семантики в русском литературном языке XIX—XX вв. и обоснована необходимость описания и словарной кодификации уже сложившихся и складывающихся норм через ограничительные пометы различного рода. Ю. С. Мартеньянов (Москва), рассматривая значение словоформы со стороны высказывательного состава и терминологического статуса, дал определение трех основных элементарных категорий: валентного слова, дополнения и высказывания. Автор показал, что существует определенная операция, подчиняющаяся некоторым правилам, которая, с одной стороны, может превратить две первых категории в третью (*летит — самолет* → *летающий самолет*) и, с другой стороны, третью категорию — в од-

ну из двух первых (*самолет — водить* → *самолетовождение*). М. В. Ляпои (Москва) особое внимание обратила на статус прагматики в лингвистике. Есть такие аспекты лингвистической прагматики, которые неизбежно должны находить отражение в словарных толкованиях союзов и их аналогов.

Г. А. Золотова (Москва) посвятила свой доклад проблемам взаимодействия семантических и синтаксических категорий и их отражению в «Синтаксическом словаре русского языка». Г. Х. Ахунзянов (Казань) осветил проблему лексикографической разработки таких групп речевых единиц татарского языка (регулярно- и свободнообразуемых словосочетаний), которые в русском языке противостоят словные соответствия языкового уровня или которые переводятся на русский язык идиоматично, не по стандарту. Проблемам описания производных и непроизводных слов в современных толковых словарях были посвящены доклад А. Н. Тихонова (Москва) и сообщения Р. Г. Карунц (Самарканд), Е. Я. Шмелевой (Москва), О. Н. Чупашевой (Мурманск).

Результаты опыта системной интерпретации количественных данных о соотношении в лексике русского и английского языков мощности синонимических средств и, развитости полисемии были изложены в сообщении А. А. Полякарпова (Москва). Р. Г. Ахметьянов (Казань) предложил критерии разграничения омонимии и полисемии в тюркских языках: семантический, грамматический (или критерий цельноформленности) и этимологический. Е. Н. Лисицина (Мурманск) предложила в качестве одного из способов упорядочения показа иерархии значений в толковых словарях принять расположение различных типов значений в определенной последовательности: 1) главное значение, 2) прямые поминативно-производные значения, 3) переносные и т. д. Внутри этих типов значения следует располагать по мере убывания общих семных компонентов по сравнению с семной структурой главного значения. В сообщении Р. И. Розиной (Москва) было предложено использовать для выявления отношений гипо-гиперонимии способность видовых имен быть замещенными в связанном контексте родовыми именами без изменения смысла и характера референции. Проблема словарного отражения референциальных возможностей лексического значения существительного было посвящено сообщение А. Д. Шмелева (Москва). Т. З. Черданцева (Москва) изложила семантическую классификацию идиом (на материале испанского языка), опирающуюся на символику некоторых их компонентов и на семантическую структуру. Такая классификация, по мнению автора, будет способствовать решению упорядочения и сокращения словарной статьи. Проблемы лексикографической разработки полисемии префиксов современного русского языка (на материале слов с префиксом *кино-*) рассматривалась в сообщении С. И. Алаторцевой

(Ленинград). А. А. Залевская (Калинин) подняла вопрос о необходимости исследования особенностей восприятия словарных дефиниций пользователями словаря, что будет способствовать решению ряда спорных вопросов лексикографической теории и практики. В совместном сообщении В. М. Григоряна и С. Л. Симоняна (Ереван) были изложены некоторые процедуры формализованного описания семантики глаголов движения.

В выступлениях А. С. Белоусовой (Москва), Р. В. Мадояна (Ереван), А. М. Прищепчик (Минск), М. Г. Щур (Москва), В. К. Щербина (Минск), Е. М. Лазуткиной (Москва) были рассмотрены вопросы семантической классификации лексики в связи с созданием тематических и тезаурусных словарей, проблемы лексикографического описания отдельных частей речи, а также отдельных лексико-семантических групп.

В докладах, сообщениях и выступлениях, прочитанных на заседаниях секции № 2, обсуждались проблемы социально-стилевой дифференциации литературного языка и ее отражения в словаре. В докладе Г. Н. Склярёвской (Ленинград) была выдвинута задача разработки лексикографической стилистики, под которой понимается предпологаемый раздел теоретической стилистики, изучающий специфику отражения в словаре стилистической стратификации лексической системы. В. П. Мурат (Москва) посвятила свой доклад проблеме выявления стилистических признаков выполняющих различительную роль в системе лексики. В докладе Л. П. Калакуцкой (Москва) развивался тезис о необходимости отражения в словарях существующих параллельно в языке морфологических вариантов слова, наличие которых следует устанавливать не только по предшествующим словарям, но и по другим возможным источникам. Б. С. Шарцков (Москва) обратил внимание на возможность использования в лексикографии интуитивных функциональных характеристик, которые даются говорящими (пишущими) в процессе речи — эксплицитно в тексте — и относятся к самой речи (используемым средствам). В докладе Б. Ю. Городецкого (Москва) были охарактеризованы параметры словаря, зависящие от подязыков, и предложены принципы типологии подязыков на основе типологии текстов.

В сообщении Э. А. Столяровой (Саратов) была рассмотрена структура лексико-семантического поля оценки в разговорной речи. Г. Ф. Венторт (Минск) остановилась на явлении стилистической нейтрализации слов диалектного происхождения, входящих в литературный белорусский язык. Вопросы разработки терминологических стандартов освещались в сообщении И. Н. Волковой (Москва). С. Е. Никитина предложила проект словаря-тезауруса языка русского фольклора. Были заслушаны также сообщения и выступления Л. П. Катлинской (Москва),

Т. Л. Беркович (Москва), Л. Г. Самотик (Красноярск) Л. М. Лапп (Пермь), в которых рассматривались проблемы создания словарей разных типов.

На втором пленарном заседании был заслушан ряд докладов по общим проблемам лексикографии. В докладе В. П. Вомперского (Москва) на материале словарей XIII в. были рассмотрены основные вопросы истории лексикографии: типы словарей данного периода, приемы работы лексикографа, причины и стимулы развития лексикографической практики. Доклад Ф. П. Сороколетова (Ленинград) был посвящен проблемам создания нормативно-стилистического словаря собственно современного русского литературного языка, который должен отразить современное словоупотребление в более узких границах, чем предшествующие толковые словари. Н. Ю. Шведова (Москва) рассказала о работе над «Толковым словарем, систематизированным по лексико-семантическим классам слов» и над новым изданием однотомного толкового словаря С. И. Ожегова. Д. Н. Шмелев (Москва), говоря об отражении в толковом словаре системности лексики, подчеркнул, что лексика не в равной мере системна в различных своих частях. По мнению докладчика, вызывает сомнение сама возможность показать в алфавитном словаре системные отношения в лексике с достаточной полнотой.

На заключительном пленарном заседании было прослушано два доклада. Ю. Д. Апресян (Москва) в докладе «Типы лексикографической информации для толкового словаря» рассматривает словарь как компонент единого, или интегрального, лингвистического описания.

В рамках такого описания словарь должен включать два типа лексикографической информации — термовую (сведения о лингвистически существенных свойствах данной лексемы) и операционную (сведения о правилах, специфичных для данной лексемы или узкого класса лексем). Кроме того, лексикографически существенная информация делится на информацию об означаемом лексемы, ее морфологической структуре и свойствах, синтактике, семантике, прагматике и коммуникативных особенностях. В докладе В. М. Андрияшечко (Москва) «Вычислительная лексикография. Современное состояние, новые возможности и задачи» были охарактеризованы основные этапы становления новой научной дисциплины — вычислительной лексикографии как направления в вычислительной лингвистике.

На закрытии школы с заключительным словом выступил член Научного совета АН СССР по лексикологии и лексикографии Ф. П. Сороколетов. Положительно оценив результаты работы школы, он особо подчеркнул неразрывную связь и взаимозависимость теоретического языкознания и лексикографической теории и практики.

В решении, принятом на заключительном пленарном заседании, отмечалось, что школа помогла сконцентрировать внимание участников на наиболее существенных проблемах лексикографической теории и практики и наметить основные направления интенсификации лексикографических исследований.

Материалы работы школы будут опубликованы в специальном сборнике.

*Белоусова А. С., Китайгородская М. В.*  
(Москва)

28—30 января 1985 г. в Уфе состоялась V конференция по ареальным исследованиям в языковедении и этнографии, посвященная проблемам атласной картографии. В работе конференции приняли участие лингвисты и этнографы Москвы, Ленинграда, Киева, Мяска, Кишинева, Уфы, Новосибирска, Ужгорода и других научных центров, где ведется подготовка диалектологических, этнолингвистических, топонимических, историко-этнографических атласов, охватывающих различные регионы и языки Советского Союза.

В оргкомитет конференции было представлено около 150 докладов и сообщений, связанных как с практической работой по составлению и подготовке к изданию атласов, так и с общей теорией ареальных исследований, а также с частными вопросами интерпретации данных лингвистических карт. Эти материалы были своевременно опубликованы (см.: Ареальные исследования в языковедении и этнографии: Тезисы пятой конференции на тему «Атласная картография». Уфа, 1985). На пленарных заседаниях и на соответствующих тематических секциях было уделено внимание прежде всего выступлениям, затрагивающим основную проблематику конференции — подготовку атласов. Ряд докладов был посвящен конкретным задачам ареальных исследований, в частности — славянским и тюркоязычным ареалам. Всего было заслушано свыше 80 докладов и сообщений.

Конференцию открыл заместитель председателя Президиума Башкирского филиала АН СССР Р. Г. Кузеев. О задачах конференции говорил во вступительном слове председатель ее оргкомитета А. М. Решетов. Столетие со дня рождения С. И. Руденко, разностороннего исследователя — географа, археолога, этнографа, одного из пионеров ареальных исследований в отечественной науке, был посвящен совместный доклад Р. Г. Кузеева и Н. В. Бикбулатова. На пленарном заседании были представлены также доклады М. А. Бородиной («Ареалогия и типология ареалов»), Н. Н. Широковой, доложившей о ходе подготовки «Диалектологического атласа тюркских языков СССР (ДАТЯ)», и Н. Х. Максютовой, изложившей итоги и задачи, связанные с работой над «Диалектологическим атласом башкирского языка (ДАБЯ)». В частности, Н. Н. Широкова сообщила, что в настоящее время подготовлены справочные материалы ДАТЯ, составлены 226 карт и комментарии к ним, а также 275 таблиц, включающих дополнительные сведения по фонетике, лексике, словообразованию тюркских языков. Н. Х. Максютова обратила внимание на необходимость более пристального изучения явлений, характерных для относительно небольших диалектных зон башкирского языка, которые оказываются фрагментарными с точки зрения программы ДАБЯ.

На заседаниях лингвистической сек-

ции и в материалах конференции были представлены и другие атласы тюркоязычных территорий (в том числе предварительные проекты) — атласа тюркских топонимов Волго-Камско-Уральского региона (Н. В. Подольская, А. Г. Шайхулов), атласа тюркских языков Нижнего Поволжья и Ставропольского края (Л. Ш. Арсланов), исторического атласа тюркских языков (Н. А. Баскаков). Многие из докладчиков рассматривали отдельные проблемы ареальных исследований языка, быта и духовной культуры тюркских народов СССР (ономастика — Ф. Г. Хисамитдинова, М. Г. Усманова, С. У. Умурзаков, А. А. Камалов; обычаи, верования, обряды — А. Оразов, Ф. А. Надршина, Н. В. Бикбулатов; традиционные промыслы — М. Г. Муллагулов; одежда и украшения — Г. Г. Гареева; музыкальный фольклор — Ф. Х. Каммаев, Р. А. Султангареева, Л. П. Атанова; лингвистические изоглоссы разного порядка — М. И. Дильмухаметов, У. Ф. Надергулов, Р. Х. Халикова, Н. Х. Ишбулатов, Ш. Ф. Нафиков и др.).

Другая часть выступлений была связана с интерпретацией материалов и подготовкой атласов славянских языков, методика которых является наиболее разработанной. Здесь следует отметить представленный З. П. Здобной «Атлас русских говоров Башкирии», дополняющий серию атласов русских народных говоров Института русского языка АН СССР (из которых издан только атлас центральных областей к востоку от Москвы). В докладе особо были отмечены достижения московской лингвогеографической школы, которой по праву принадлежит ведущее место в разработке теории ареальных исследований в СССР. А. Ф. Иванова сообщила о составленном ею «Лексическом атласе Московской области», расширяющем словарную базу «традиционных» атласов русских говоров. Исследованию центральных говоров русского языка был посвящен доклад Н. С. Бондарчука и Т. В. Кириллова. О принципах подготовки лексических карт доложили И. А. Дзензелевский, который поделился опытом составления комментария к картам, а также И. А. Букринская и О. Е. Кармакова. Этнография славянских народов рассматривалась в докладах В. С. Титова, В. Я. Бабенко, Л. Ф. Артюх, Т. В. Косминой, М. Р. Селивачева, А. Н. Анфертьева, С. А. Милюченкова и др. В этой серии выступлений можно выделить доклад М. А. Членова об ареальном подходе к изучению систем родства. Заслуживает внимания и предложенная Н. В. Юхневой методика выделения этнических территорий и классификации этносов с учетом компактности и плотности их расселения. Представляется, что аналогичный принцип мог бы быть использован в социолингвистических исследованиях, в том числе для оценки спе-

цифических лингвистических ситуаций в условиях сосуществования разных языков и народов.

Широко были представлены на конференции и в лингвистическом и в этнографическом аспектах ареалы молдавского языка, языки Кавказа, Средней Азии, Прибалтики, народов Севера и Сибири (Дж. Рухадзе, Ю. Д. Каражаев, В. П. Кобычев, С. У. Умурзаков, Л. А. Думпе, Н. Н. Гуцол, Н. Х. Мамедов и др.). В частности, в докладе А. К. Байбурина и Н. Б. Вахтина были рассмотрены возможности совместного обследования лингвистами и этнографами ареалов Чукотского автономного округа, Камчатской области и прилегающих районов Восточной Сибири по единой программе с учетом социолингвистических данных.

Многие доклады явились своеобразными отчетами о ходе работы над историко-этнографическими атласами, которые представляют интерес и для языковедов, поскольку в них раскрывается культурно-исторический фон соответствующих лингвистических процессов и представлены реалии языка. Не случайно появление комплексных лингво-этнографических атласов в романском языкознании или атласов типа «Этнолингвистического атласа Полесья», работа над которым начата по инициативе Н. И. Толстого, «Общекарпатского диалектологического атласа», проект которого был выдвинут С. Б. Бернштейном. В программе последнего большое внимание уделяется специфическим хозяйственным занятиям и общекультурным реалиям в языке русского, украинского, венгерского, румынского населения Карпатской зоны. Конференция обсудила ход работы над историко-этнографическими атласами Грузии (Р. Читая и Дж. Рухадзе), Молдавии (М. В. Маруневич), Латвии (Л. А. Думпе).

Общетеоретические и частные проблемы ареальных исследований в языкознании и этнографии рассматривались в выступлениях В. А. Никонова, В. А. Михайлова и Н. Л. Сухачева, В. С. Титова, В. П. Иванова, А. Ю. Русакова и Е. В. Перехвальской, А. Г. Агаева, А. М. Решетова, Н. Н. Пшеничновой и др. Следует отметить выдвинутую И. А. Поповым задачу детального обследования лексики народных говоров на всей территории бытования русского языка, как и принципиальную возможность создания машинного фонда диалектологических данных русского языка. Реальность такой возможности показал доклад Н. Н. Пшеничновой, посвященный опыту введения в память ЭВМ данных сводного «Диалектологического атласа русского языка», подготовленного под руководством С. В. Бромлей диалектологическим сектором Института русского языка АН СССР. Поставленную задачу можно было бы решить на базе вычислительных центров Академии наук СССР или одного из университетских центров. Предварительные исследования возможностей обработки картографических данных ведутся,

например, на кафедре математической лингвистики Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова.

Как показала конференция, в настоящее время развернулась интенсивная работа по лингвистическому и этнографическому обследованию различных языков и народов Советского Союза. Результатом и целью этой работы является прежде всего создание атласов, которые в качестве первоисточников служат базой для дальнейших более глубоких исследований, основывающихся на всей сумме фактов, накопленных в языкознании и этнографии. Вместе с тем координация материалов существующих атласов, а также издание вновь подготовленных сводов тематических карт все еще остаются трудноразрешимыми проблемами.

С целью повышения результативности ареальных исследований необходим постоянно действующий координирующий центр, который объединил бы усилия академических и вузовских специалистов. Соответственно, конференция вынесла решение просить Секцию общественных наук при Президиуме АН СССР обсудить вопрос о работе над атласами в институтах Отделения истории и Отделении языка и литературы АН СССР, включая вопросы их подготовки и издания.

Обсуждение представленных на конференции докладов сделало очевидным, что объединение усилий лингвистов и этнографов целесообразно не только с точки зрения методики ареальных исследований — на «теоретическом» уровне. Целесообразно решить вопрос и о возможности организации совместных комплексных экспедиций, что представляется особенно перспективным в отношении территорий, еще не охваченных лингвистическими и этнографическими атласами, которые находятся уже в различных стадиях подготовки. Весьма плодотворной была бы организация машинного фонда данных по отдельным языкам и группам языков (например: русского языка, славянских; языков, тюркских языков), по отдельным культурно-историческим регионам (например: восточнославянский, поволжский, среднеазиатский регионы). Решению этих задач во многом способствовала бы и организация единой системы хранения полных материалов, обеспечения централизованной информации о накопленных массивах лингвистических (в том числе ономастических) и историко-этнографических карт. С другой стороны, такая централизация, наряду с использованием возможностей ЭВМ, могла бы отчасти снять проблему издания исходных рабочих карт с тем, чтобы концентрировать внимание на подготовку и издание атласов обобщающего содержания, т. е. изданий, в которых были бы представлены синтетические карты, охватывающие данные целого ряда исходных карт. Только развиваясь в этом направлении ареальные исследования могут преодолеть все еще проявляющийся прежде всего в анализе картографических данных эмпиризм и привести к новым результатам как в частных областях языкознания и этнографии, так и в осмыслении эт-

нолингвистических процессов, имевших место в прошлом и развивающихся в современных условиях взаимодействия языков и культур. Комплексный подход к изучению территориально дифференцированных явлений в языкознании и этнографии, повышение уровня обобщений в ареальных исследованиях, в свою очередь делает особенно актуальной задачу более полного целенаправленного привлечения данных сравнительно-исторического, типологического и си-

стемно-структурного анализа для интерпретации материала карт.

Очередную VI конференцию по ареальным исследованиям в языкознании и этнографии намечено посвятить вопросам составления карт обобщающего типа, раскрывающих динамику взаимодействия явлений различного уровня, отражающих наиболее существенные для языка и культуры особенности системного характера.

*Решетов А. М., Сухачев Н. Л. (Ленинград)*

22—27 апреля 1985 г. в Кутаиси работала школа-семинар «Семiotические аспекты формализации и интеллектуальной деятельности», организованная Всесоюзным институтом научной и технической информации ГНТИ и АН СССР, Вычислительным центром АН СССР, Научным советом по комплексной проблеме «Кибернетика» совместно с Институтом кибернетики АН Грузинской ССР, Информационным центром Минфина Грузинской ССР и Кутаисским политехническим институтом им. Н. И. Мухомелашвили. Школа-семинар объединила представителей двух разных научных сфер — специалистов по математической логике и лингвистов, занимающихся проблемами семантики, прагматики и моделирования языковой деятельности. Сотрудничество ученых, принадлежащих к этим областям науки, не случайно. Наша страна, как отметил в своем выступлении на открытии конференции Г. С. Поспелов (Москва), переживает сейчас период, соизмеримый по своей важности с индустриализацией 20—30-х годов. Речь идет о компьютеризации — внедрении вычислительной техники во все сферы общественной жизни. Одной из наиболее важных и одновременно наиболее сложных задач компьютеризации является передача машинам трудноформализуемых («интеллектуальных») функций человека. Поскольку человеческое мышление неразрывно связано с языком, на первый план выдвигается задача обучения машины естественному языку. Вот почему столь насущным становится союз логиков и специалистов по теоретическому программированию с лингвистами.

Сотрудничество логики и лингвистики длится не первый год и уже принесло реальные плоды. На лингвистической секции семинара (здесь мы ограничимся обзором только ее работы) было представлено два типа исследований, где непосредственно используется логический аппарат. К первому направлению принадлежат работы, в которых логические методы позволяют достичь большей строгости и полноты в решении конкретных лингвистических задач. Именно использование логических методов объединяет доклад А. К. Поливановой и В. В. Туровского (Москва). В первом предлагается описывать значения языковых единиц посредством перевода их на определенный логический язык, который снабжен формальной моделью (в математическом смысле слова), интерпретирующей его выражения. Во втором рассматривается механизм семантической деривации на основе исчисления типов соотношения между предикатами.

Другое направление сотрудничества лингвистики и логики ставит своей целью создание систем автоматической обработки текстов, реализованных на ЭВМ. Эта проблематика была отражена в сообщениях Л. Л. Цинмана и Н. В. Перцова (Москва), которые рассказали о системе перевода с английского

языка на русский, созданной под руководством Ю. Д. Апресяна.

Группа сообщений была посвящена диалогической речи. Классификация типов диалога с точки зрения характера движения информации от одного собеседника к другому предложена в докладе И. П. Белецкой (Киев). А. Н. Барановым и В. М. Сергеевым (Москва) рассматривается диалог с аргументацией. Выделяется три типа аргументации (эмоциональная, логическая и диалектическая), различающиеся тем, каким образом изменяется модель мира собеседника. Работы А. Е. Кибрика и О. Ю. Богуславской (Москва) представляют собой попытку применения теории языкового взаимодействия к материалу диалогов абонентов московской телефонной сети с операторами справочно-информационной службы. Анализ диалогической речи были посвящены также доклады Г. Е. Крейдлина и Е. В. Рахилиной (Москва) и доклад Т. Е. Янко (Москва).

Проблема пресуппозиций, впервые поставленная именно в логике, давно уже превратилась в одну из ключевых тем лингвистических исследований. Анна А. Зализняк (Москва) предложила уточнение понятия фактивной пресуппозиции на основе анализа природы повятий «знать» и «считать», которые автор трактует как неразложимые семантические элементы. Е. Н. Саввина (Москва) изучает соотношение противопоставлений «презумпция/ассерция», «тема/рема» и «данное/новое» и приходит к выводу, что два последних противопоставления следует считать своего рода поверхностными реализациями глубинного противопоставления «презумпция/ассерция». В докладе В. М. Труба (Киев) рассматривается тесно связанная с пресуппозициями проблема коммуникативной интерпретации отрицания.

Большое внимание на конференции было уделено прагматическим аспектам языке. В пленарном докладе Ю. Д. Апресяна (Москва) было высказано мнение, что реконструкция «наивной модели мира» начинает рассматриваться как сверхзадача современной семантики и лексикографии, и предложено описание части этой модели — «личной сферы говорящего».

Другой аспект наивной картины мира, который отражается в самых разных частях языковой системы, — это представление об упорядоченности тех или иных объектов или ситуаций действительности по какому-то определенному параметру. Наиболее важным из таких параметров является противопоставление «хорошо/плохо», т. е. оценочная, или аксиологическая, шкала [вопросу об устройстве этой шкалы и, в частности, проблеме асимметрии ее частей был посвящен доклад Е. М. Вольф (Москва)]. Другие параметры: противопоставление «свой/чужой», объясняющее замену единственного числа множественным [явление «мультипликации», рассмотренное в работе Т. М. Николасовой (Москва)]; представленные о социальной иерархии, отражающейся в значении не-

которых лексических единиц, а также в употреблении личных и притяжательных местоимений [доклад Л. П. Крыкина (Москва)], «естественная» линейная упорядоченность предметов [доклад Е. Г. Устиновой (Москва)], шкала «неожиданности», организующая значение таких слов, как *даже* [доклад И. М. Богуславского (Москва)]. В работе В. З. Саникова (Москва) прагматическая составляющая языка рассматривается с другой стороны: исследуется статус неопределенных утверждений с точки зрения теории речевых актов.

В ряде сообщений рассматривались вопросы теории референции — еще одной важной области исследований, пришедшей в лингвистику из логики. Два пленарных доклада — Е. В. Падучевой (Москва) и Н. Д. Арутюновой (Москва) — были посвящены проблеме референции непредметных имен. Е. В. Падучева показала, что инвентарь денотативных статусов выражений с непредметным значением задается комбинацией значений трех параметров — модальности, известности и квантификации. Н. Д. Арутюнова продемонстрировала различие семантико-синтаксических свойств выражений, обозначающих процессы и факты на примере их поведения в контексте оценочных операторов.

В докладах Т. В. Булыгиной и А. Д. Шмелева (Москва) был предло-

жен анализ референциальных характеристик таких нетрадиционных для теории референции единиц, как синтаксические нулевые элементы и производящие основы сложных слов [референциальные свойства морфем и их роль в построении словоформы рассматривались также А. Н. Барулиным (Москва)].

Были предложены уточнения ряда понятий теории референции — таких, как «определенность», «известность» и др. [доклады М. Г. Селезнева и С. А. Крылова (Москва)]; в частности, М. Г. Селезневым была показана связь между типом референции именной группы и ее синтаксической позицией.

Часть сообщений была посвящена проблематике, смежной с теорией референции, — анафоре и употреблению анафорических выражений [доклады А. А. Кибрика (Москва) о функциях местоимения *тот*, И. А. Муравьевой (Москва) о глагольных анафорических выражениях и Е. Г. Устиновой (Москва) о порядковых числительных, имеющих анафорическое употребление].

В заключительной дискуссии на тему «Пределы формализации и задачи прикладной математики и прикладной лингвистики», проходившей под председательством В. А. Успенского (Москва), речь шла о перспективах дальнейших контактов логики и лингвистики.

*Богуславский И. М., Зализняк Анна А.*  
(Москва)

22—24 апреля 1985 г. в Москве состоялась конференция «Сопоставительная лингвистика и обучение языку», проведенная Научным советом «Теория советского языкознания» и Институтом языкознания АН СССР. В ней приняли участие лингвисты из 24 городов Советского Союза, сотрудники академий наук союзных республик, филиалов Академии и вузов страны. Было заслушано 7 пленарных докладов.

В докладе В. Г. Гака (Москва) «Сопоставительно-типологический анализ и организация речевого высказывания» доказывалась необходимость сопоставительного изучения речевых актов разных типов. В каждом акте речи проявляются некоторые общие закономерности построения высказывания и организации речи, что может и должно послужить объектом тщательного сопоставительного анализа. В докладе В. Н. Ярцева (Москва) «Теория и практика сопоставительного исследования языков» отмечалось, что актуальным для современного состояния сопоставительного языкознания является его расширение в сторону сопоставительно-стилистических исследований, сопоставительного анализа терминологических систем, изучение фактов, предоставляемых многочисленными переводами с одного языка на другой. Доклад А. Д. Швейцера (Москва) «Контрастивная лингвистика и теория перевода» был посвящен проблемам соотношения этих двух дисциплин, вопросу о месте лингвистики в теории перевода. В. П. Нерознак (Москва) выступил с докладом «О трех подходах к изучению языка в рамках синхронного сравнения», в котором были детально рассмотрены типологический, характерологический и контрастивный подходы при сопоставительном изучении языков. В докладе Е. М. Верецагина и В. Т. Костомарова (Москва) «Сопоставительное лингвострановедение: филологическая проблематика и роль в преподавании иностранных языков» указывалось, что лингвострановедение избирательно изучает национально-культурную специфику языка и текстов, выявляет и оценивает преподавательские приемы и способы преподавания на уроках иностранного языка. В докладе А. М. Шахнаровича и А. С. Мамонтова (Москва) «Принципы сопоставления языков для целей обучения» излагаются требования к сопоставительному описанию языков на функциональной основе с учетом национально-культурного фона значения единиц разных уровней. Доклад С. Г. Бережана (Кишинев) «Значение сопоставительного изучения лексики родственных и контактирующих языков» был посвящен специфическим особенностям языка, проявляющимся в лексике, которые сводятся к количественным различиям в составе отдельных подсистем, к равному соотношению в них собственных и заимствованных лексических единиц и к способу организации последних на различных участках.

На секции «Русский язык и языки народов СССР» обсуждались проблемы

сопоставительного изучения этих языков в связи с повышением эффективности процесса обучения языку межнационального общения. В докладах рассматривались теоретические основы, принципы и методы сопоставительного описания русского языка и языков народов СССР (украинского, белорусского и азербайджанского языков). Произошел обмен мнениями относительно специфики сопоставительного описания разных языковых уровней.

Принципам использования социолингвистических данных в контрастивном описании, а также прикладным аспектам контрастивной лингвистики были посвящены доклады Н. Г. Михайловской (Москва), Б. Ю. Городецкого (Москва), А. А. Дарбеевой (Москва), В. Ю. Михальченко (Москва).

На заседаниях секции «Сопоставительное изучение родственных и неродственных языков» наряду с теоретическими проблемами сопоставительного анализа рассматривались практические вопросы перевода, терминологии и анализа текстов. Г. В. Рамиливили (Тбилиси) подчеркнул значение работ В. Гумбольдта для контрастивного изучения языка. Функционально-семантический подход к сопоставительно-типологическому изучению грамматических категорий глагола послужил темой доклада Б. А. Абрамова (Москва). Различные теоретические вопросы сопоставительной лингвистики нашли отражение в других докладах [проблема всеобщего и особенного в сопоставительном исследовании (М. Я. Блох, Москва), вопросы соотношения переходности/непереходности в разных языках и типологии средств их выражения (И. Б. Долина, Ленинград), соотношение синонимических рядов в разных языках (М. Г. Безяева, Москва), сопоставительное изучение побудительного предложения (Е. Е. Корди, Ленинград), сопоставительный анализ литовского и английского аспектов (Э. Ш. Генюшене, Вильнюс), вопросы сопоставительного изучения падежной системы русского языка (М. А. Шелякин, Тарту)]. Рассматривались также вопросы теоретического исследования паронимов в сопоставительном аспекте (О. В. Вишнякова, Москва), способы выражения ремы в английском и башкирском языках (И. Г. Илишев, Уфа), сопоставление конструкций глаголами зрительного и слухового восприятия в английском и немецком языках (Л. М. Ковалева, Иркутск).

Лингвострановедческий аспект в сопоставительных исследованиях был освещен Г. М. Томахиным (Москва) и А. Г. Остапенко (Москва). Проблемы сопоставительного изучения текстов затрагивались в докладе Е. В. Сидорова (Москва). Вопросы сопоставительного изучения терминов, двуязычия в терминоведении, вопросы целесообразности и путей создания научно-технической терминологии на новописанных языках были подняты в докла-

дах Ф. А. Циткиной (Ужгород) и А. Орусбаева (Фрунзе).

Комплекс проблем сопоставительной лингвистики в практике перевода (иерархизация рематизирующих средств, калькирование лексических и фразеологических единиц, способы передачи безэквивалентной лексики) был рассмотрен в докладах Г. В. Чернова (Москва), Н. Д. Приходько (Ростов-на-Дону), Е. М. Штайера (Москва) и др.

На заседаниях секции «Сопоставительное изучение языков в учебных целях» были рассмотрены актуальные проблемы сопоставления лексики и грамматики, являющихся основой описания языка как учебного предмета, затрагивались вопросы методики обучения переводу (Ю. Н. Марчук, Москва), сопоставления языков в учебном процессе (А. А. Брагина, Москва), пробле-

мы методического прогнозирования на основе сопоставления (В. П. Концака, Москва). В докладах отмечалось, что сопоставительный анализ языков может стать надежной основой оптимизации обучения неродным языкам.

Была отмечена и необходимость продолжения исследований по следующим направлениям: сопоставление лексических систем с учетом «фоновых знаний»; создание учебных грамматик, основанных на функциональном сопоставлении родного и изучаемого языков; выявление сходств и различий изучаемых и родных языков для методического прогнозирования в учебном процессе; унификация «школьной» лингвистической терминологии.

*Федосеева Н. Д. (Москва)*

## CONTENTS

**Articles:** B u d a g o v R. A. (Moscow). A. A. Potebnja as linguist and thinker (To the 150-th anniversary of his birthday); S m i r n i c k a j a S. V. (Leningrad). Jacob Grimm and Germanic linguistics; **Discussions:** S e r e b r e n n i k o v B. A. (Moscow). Why it is difficult to believe the adherants of the Nostratic theory; B e r n š t e i n S. B. (Moscow). Some remarks on the Nostratic theory; A n d r j u š e n k o V. M. (Moscow). Computational lexicography, its productive potentialities and prospects; M y r k i n V. J. a. (Arkhangelsk). In what measure may language (language system) be considered as reflecting reality?; S a v č e n k o A. N. (Rostov-on-Don). Linguistics of speech; M i r o n o v S. A. (Moscow). Stylistic split in the language of Dutch writers of the XVII century; **Materials and notes:** D e n i s o v P. N. (Moscow). On the notion of synchronic level and synchronic state in word-stock studies and lexicography; K o g o t k o v a G. S. (Moscow). Contemporary dialectal dictionaries: retrospects and prospects of lexicological studies; V a s i l e v i č A. P., S k o k a n J u. N. (Moscow). On the methods of contrastive studies (based on the materials words denoting colour); T a b a č e n k o L. V. (Rostov-on-Don). Concerning one trend in the development of adverbial constructions in the Russian language of the XI—XVII centuries; K u z ' m e n k o v E. A. (Leningrad). Labial assimilation in Middle Mongolian; **Trends in linguistic studies:** K o n o n o v A. N. (Leningrad). On academic grammars and dictionaries of Oriental languages; **Reviews; Scientific life.**

## SOMMAIRE

**Articles:** B u d a g o v R. A. (Moscou). A. A. Potebnja en tant que linguiste et penseur (Pour le 150-me anniversaire de sa naissance); S m i r n i c k a j a S. V. (Léningrad). Jacob Grimm et la linguistique germanique; **Discussions:** S e r e b r e n n i k o v B. A. (Moscou). Pourquoi il est difficile à croire aux adhérents de la théorie nostratique; B e r n š t e i n S. B. (Moscou). Quelques remarques sur la théorie nostratique; A n d r j u š e n k o V. M. (Moscou). Lexicologie calculative, ses potentialités et perspectives; M y r k i n V. J. a. (Arkhangelsk). Est-il vrai que la langue (système de la langue) reflète la réalité?; S a v č e n k o A. N. (Rostov-sur-Don). Linguistique du discours; M i r o n o v S. A. (Moscou). Différenciation stylistique dans la langue des écrivains néerlandais de XVII siècle; **Matériaux et notices:** D e n i s o v P. N. (Moscou). Sur la notion du niveau synchronique et de l'état synchronique dans l'étude du vocabulaire et dans la lexicographie; K o g o t k o v a G. S. (Moscou). Dictionnaires dialectaux contemporains: étude retrospective et prospective de lexicologie; V a s i l e v i č A. P., S k o k a n J u. N. (Moscou). Sur les méthodes de l'analyse contrastive (fondée sur l'étude des adjectifs de couleur); T a b a č e n k o L. V. (Rostov-sur-Don). Sur une tendance dans le développement des constructions circonstancielles dans la langue russe de XI—XVII siècles; K u z ' m e n k o v E. A. (Léningrad). Assimilation labiale en Moyen Mongolien; **Tendances dans les études linguistiques:** K o n o n o v A. N. (Léningrad). Grammaires et dictionnaires académiques des langues orientales; **Comptes rendus; Vie scientifique**

Технический редактор *Радина Т. И.*

Сдано в набор 28 02 86 Подписано к печати 22.04.86 Т-05885 Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>  
Высокая печать Усл. печ. л. 14,0 Усл. кр.-отт 83,2 тыс. Уч.-изд. л. 17,1 Бум. л. 5,0  
Тираж 5872 экз. Зак. 2330

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»,  
103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21  
2-я типография издательства «Наука». 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

## К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Объем статьи не должен превышать 24 с., объем рецензии — 10 с. Объем хроникальной заметки — 3—5 с. машинописи (хроникальные заметки должны представляться в редакцию в течение двух месяцев с момента описываемого события в лингвистической жизни).

3. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

4. Все формулы и буквенные обозначения величин должны быть четко выполнены чернилами (следует делать ясное различие между заглавными и строчными буквами).

5. Рисунки должны быть тщательно выполнены тушью: чертежи, сделанные карандашом, не принимаются. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными деталями, все надписи должны быть вынесены в подпись, а на рисунке заменены цифрами или буквами. На полях рукописи указывается место рисунка, в тексте делается на него ссылка. Фотографии принимаются в двух экземплярах (второй для редакции и ретушера в качестве контрольного). При изготовлении клише величина оригинала уменьшается в два-три раза, поэтому фотографии должны быть четкими и контрастными. Фотографии, выполненные в малом размере и нечетко, не принимаются. На обороте каждого рисунка должны быть проставлены фамилия автора, заглавие статьи и номер рисунка. Статью не следует перегружать графическим материалом.

6. Библиография в журнале оформляется следующим образом:

а) список использованной литературы дается по порядку номеров в конце статьи;

б) ссылки на литературу в тексте приводятся в квадратных скобках: [1, с. 3], [2—4], [1, 3]; в случае одноязыковой ссылки указание на страницу, если оно необходимо, дается в списке литературы; если же упоминаются разные страницы одного и того же источника, указание на страницы следует давать в тексте;

в) подстрочные примечания, которые сохраняются наряду со списком использованной литературы, имеют сквозную нумерацию.

7. Непринятые рукописи возвращаются по просьбе авторов.

8. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

9. Авторам публикуемых статей направляется копия наборного экземпляра, которая является окончательным вариантом сдаваемого в набор материала; корректура авторам не высылается.

**СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ РУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ  
И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ЖУРНАЛЕ  
«ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»**

- БЕ — Български език  
 ВДИ — Вестник древней истории  
 ВИ — Вопросы истории  
 ВСЯ — Вопросы славянского языкознания  
 ВФ — Вопросы философии  
 ВЯ — Вопросы языкознания  
 ЕИКЯ — Ежегодник иберийско-кавказского языкознания  
 ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения  
 ЗВО РАО — Записки Восточного отделения Русского археологического общества  
 ИАН СЛЯ — Известия АН СССР. Серия литературы и языка  
 ИКЯ — Иберийско-кавказское языкознание  
 ИОРЯС — Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук (Росс. АН), АН СССР  
 ИЯШ — Иностранные языки в школе  
 РЯНШ — Русский язык в нач. школе  
 РЯШ — Русский язык в школе  
 СбНУ — Сборник за народни умотворения  
 СТ — Советская тюркология  
 ФН — Доклады высшей школы. Филологические науки  
 ADAW — Abhandl. der Deutschen (Berliner) Akad. der Wissenschaften. Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst  
 AfslPh — Archiv für slavische Philologie  
 AGI — Archivio glottologico Italiano  
 AKGW — Abhandl. der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen  
 AL — Acta linguistica  
 AmA — American anthropologist  
 ANF — Arkiv for nordick filologi  
 AO — Archiv orientalni  
 APAW — Aphanl. der Preussischen Akad. der Wissenschaften. Philosoph.-hist. Klasse  
 BCLC — Bullétin du Cercle Linguistique de Copenhagen  
 BPTJ — Biuletyn Polskiego towarzystwa językoznawczego  
 BSLP — Bullétin de la Société de linguistique de Paris  
 BSOS — Bulletin of the School of Oriental studies  
 BzNf — Beiträge zur Namenforschung  
 CAJ — Central Asiatic Journal  
 CFS — Cahiers F. de Saussure  
 CJ — The classical journal  
 FPhon — Folia phoniatica  
 FuF — Finnisch-ugrische Forschungen  
 HR — Hispanic review  
 IF — Indogermanische Forschungen  
 IJ — Indo-Iranian journal  
 IJAL — International journal of American linguistics  
 JA — Journal asiatique  
 JASA — Journal of the Acoustical society of America  
 JEGPh — Journal of English and Germanic philology  
 JP — Język polski  
 JRAS — Journal of the Royal Asiatic society  
 JSFOu — Journ. de la Société finno-ougrienne  
 JФ — Јужнославенски филолог  
 KZ — Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen  
 LM — Les langues modernes  
 MM — Maal og minne  
 MSFOu — Mémoires de la Société finno-ougrienne  
 MSLP — Mémoires de la Société de linguistique de Paris  
 MSOS — Mitteilungen des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin  
 NSS — Nysvenska studier  
 NTS — Norsk tidsskrift for sprogvidenskap  
 PBB — Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur  
 PMLA — Publications of the Modern Language Assotiation of America  
 RES — The Review of English studies  
 RÉC — Revue des études grecques  
 RÉSl — Revue des études slaves  
 RF — Romanische Forschungen  
 RKJL — Rozprawy Komisji językowej Łódźk. t-wa naukowego  
 RKJW — Rozprawy Komisji językowej Wraclawsk. t-wa naukiwego  
 RLR — Revue de linguistique romane  
 RO — Rocznik orientalistyczny  
 RP — Revista de Portugal. Serie A: Lingua portuguesa  
 RS — Rocznik slawistyczny  
 SaS — Slovo a slovesnost

SDAW — Sitzungsberichte der Deutschen Akad. der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse  
 für Sprachen Literatur und Kunst  
 SFL — Studi di filologia italiana  
 SMS — Sbornik matice slovenskej pre jazykozpyt, národopies a literárnu históriu  
 SPAW — Sitzungsberichte der Preussischen Akad. der Wissenschaften  
 StO — Studia orientalia  
 SWAW — Sitzungsberichte der Wiener Akad. der Wissenschaften  
 TA — Traduction automatique  
 TCLC — Travaux du Cercle linguistique de Copenhague  
 TCLP — Travaux du Cercle linguistique de Prague  
 TIL — Travaux de l'Institut de linguistique  
 TPhS — Transactions of the Philological society  
 UAJb — Ural-Altäische Jahrbücher  
 UJB — Ungarische Jahrbücher  
 VR — Vox Romanica  
 WW — Wirkendes Wort  
 ZAS — Zentralasiatische Studien  
 ZCPh — Zeitschrift für celtische Philologie  
 ZDA — Zeitschrift für Deutsches Altertum  
 ZDMG — Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft  
 ZDPh — Zeitschrift für deutsche Philologie  
 ZNS — Zeitschrift für neuere Sprachen  
 ZPhon — Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft  
 ZRPH — Zeitschrift für romanische Philologie  
 ZSL — Zeitschrift für Slavistik  
 ZSlPh — Zeitschrift für slavische Philologie.

---

The Editorial Board of the journal «Voprosy Jazykoznanija» expresses its appreciation to the Publishers who send us their books for review. The Editorial Board regrets that it cannot guarantee the reviewing of all the books received due to space limitations. Two offprints of each review will be sent to the Publishers. Books received are not returned.

\*

Le Comité de rédaction de «Voprosy Jazykoznanija» tient à exprimer sa profonde reconnaissance à toutes les Maisons d'édition qui lui font parvenir leurs nouvelles parutions pour critique. Le Comité de rédaction ne peut pas garantir la publication d'un compte rendu pour chaque livre reçu à la rédaction. Les comptes rendus seront publiés selon les possibilités de la rédaction. Deux tirages-à-part seront envoyés en ce cas aux Maisons d'édition respectives. Les livres reçus à la rédaction ne sont pas rendus aux éditeurs.

\*

Die Redaktion der Zeitschrift «Voprosy Jazykoznanija» spricht allen Verlagen, die uns Rezensionsexemplare zukommen lassen, ihren aufrichtigen Dank aus. Die Redaktion gibt bekannt, daß leider nicht alle bei uns einlaufenden Bücher besprochen werden können. Die Rezensionen werden den Möglichkeiten unserer Zeitschrift entsprechend veröffentlicht. Der Verlag erhält zwei Sonderabdrucke. Die von der Redaktion erhaltenen Bücher werden nicht an den Herausgeber zurückgesandt.